О Викторе НЕКРАСОВЕ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

«Читатели старшего поколения помнят повесть Виктора Некрасова (1911—1987) „В окопах Сталинграда“. Вышедшая сразу же после Великой Отечественной войны, она была отмечена Государственной премией СССР и выдвинула недавнего фронтовика в ряды наиболее известных советских писателей. После того им были написаны повести „В родном городе“ (1954), „Кира Георгиевна“, очерки об Италии и Франции — „Первое знакомство“ (1958), сборник рассказов „Вася Конаков“ (1961) и др. В 1974 г. В. Некрасов вынужден был покинуть Родину. Умер в Париже. В книге представлены воспоминания о писателе его друзей, а также портретные зарисовки, принадлежащие перу самого В. Некрасова. Рассчитана на широкий круг читателей.» [издательство «Український письменник», 1992 г.]

- О Викторе Некрасове
  - ○
  - ○ Коллективный портрет
    - ■ Берзер Анна
    - ■ Быков Василь
    - ■ Ваншенкин Константин
    - ■ Гладилин Анатолий
    - ■ Глазов Григорий
    - ■ Гофф Инна
    - ■ Дзюба Иван
    - ■ Журахович Семён
    - ■ Кардин В.
    - ■ Кипнис-Григорьев Григорий
    - ■ Киселев Владимир
    - ■ Кондратьев Вячеслав
    - ■ Коржавин Наум
    - ■ Корнилов Владимир
    - ■ Лазарев Лазарь
    - ■ Лунгин Семён
    - ■ Мельник Валентина
    - ■ Озеров Лев
    - ■ Окуджава Булат
    - ■ Пархомов Михаил
    - ■ Славич Станислав
    - ■ Утевская Паола
  - ○ Виктор Некрасов
    - ■ Твардовский

        - Памяти Анны Ахматовой
        - Вас. Гроссман
        - Паустовский
        - Вишневский
        - Чуковский
        - Игнатьев
        - Платонов
        - Яся Свет
    - Об издании
- notes
    - 1
    - 2

О Викторе Некрасове

Коллективный портрет
Писатели о В. П. Некрасове

Берзер Анна
О Викторе Некрасове

1

«Маленькая печальная повесть» — последнее произведение Виктора Некрасова, написанное и напечатанное в Париже в 1984 году.

И хотя, по моим представлениям, он не думал о смерти, когда ее писал, а думал о жизни, но, как всегда, последняя вещь заставляет нас самих задуматься о конце, о трагическом пути к нему. В записках об Италии, которые он назвал «Первое знакомство», есть, как почти всегда бывает в его вещах, мгновенное возвращение к войне. В 1943 году на берегу замерзшей Волги, когда победой закончились бои под Сталинградом, Некрасов пошел на Тракторный завод, потом разыскал щель, в которой, не раздеваясь, прожил сорок два дня. И по дороге к штабу увидел пленных немцев, их вел командир роты. Некрасов рассказывает, как они выглядели, как несли за плечами рюкзаки. А один был без рюкзака.

«Говорит, что француз», — сказал ему командир роты. А Некрасов добавляет: «Это был первый в моей сознательной жизни француз… Француз оказался эльзасцем…»

И этот образ-символ возник, казалось бы, так нелогично в момент победы, на фоне сгоревшего, разрушенного Сталинграда.

Первый в жизни Некрасова француз… Еще так длинен и тяжел путь от Сталинграда к Парижу.

Но книгу, которую он выпустил в эмиграции под названием «Сталинград», он открыл фотографией: «В. Некрасов на Мамаевом кургане. 1973 год». Это было прощание с городом во всех смыслах этого слова — ведь от старого Сталинграда ничего не осталось. Некрасов стоит один на фоне огромного подъемного крана, не понимая и не узнавая ничего вокруг.

Еще в «Окопах Сталинграда» он написал: «Есть детали, которые запоминаются на всю жизнь. И не только запоминаются. Маленькие, как будто незначительные, они въедаются, впитываются как-то в тебя, начинают прорастать, вырастают во что-то большое, значительное, вбирают в себя всю сущность

происходящего».

И добавляет: «Я помню одного убитого бойца. Он лежал на спине, раскинув руки, и к губе его прилип окурок. Маленький, еще дымившийся окурок…»

Этот дымившийся окурок, прилипший к губам убитого бойца, после смерти Некрасова тоже совершил свой круговорот и приобрел для меня особый смысл. Я вижу его фотографию, которую он выбрал для журнала «Юность», — живое лицо с папиросой, зажатой в зубах. И вроде бы закончился путь.

Когда я позвонила ему в Париж в июле 1987 года и сказала, что веду переговоры с журналом «Юность» о публикации «Городских прогулок», он был доволен, но сначала говорил сдержанно. А когда я сказала, что нужна фотография, то тут по голосу его поняла, как он рад.

Конечно, у меня много его фотографий, но хотелось, чтобы выбрал он сам, я знаю, как он относился к фотографиям.

И он спросил:

— А можно помоложе?

Я ответила, что в выборе фотографий ему предоставляется полная свобода. Тут мы посмеялись громко, и он прислал мне фотографию с письмом и обращением к читателям «Юности». Получила я всё это из Парижа через три дня после разговора.

Я помчалась в «Юность» (это было в конце июля), уверенная, что он увидит будущий номер и себя в нем.

Но 3 сентября 1987 года Виктор Некрасов умер. А папироса, зажатая в зубах, всегда будет дымиться, как у того убитого бойца.

Вспоминая начало его пути, ища определения и эпитеты, я прежде всего хотела бы сказать о том, с каким великим достоинством вступил он в литературу. В сталинские победоносные послевоенные годы.

Повесть «В окопах Сталинграда» была напечатана в журнале «Знамя» в 1946 году.

Интересно, как начинается она: «Приказ об отступлении приходит совершенно неожиданно…» И встает перед нами Сталинград — черный город, красное от пламени небо — и Волга — красная, как кровь.

Так начинает он свою тему разрушенных городов — от Сталинграда к Киеву…

Да, много говорили о том, что это первая, необыкновенно правдивая, честная, прекрасная книга. Что от нее пошла наша честная проза о войне. К этому хотелось бы добавить: и не только о войне. Огромно было ее влияние на сердца людей. Бесценный вклад гуманизма…

«Мы терялись, путались, путали других, никак не могли привыкнуть к бомбежке». «А где фронт?» «А где сейчас немцы?» «Не нравится мне эта тишина». «Немцы летят прямо на нас». «Танки идут прямо на нас».

Солдаты, солдаты, солдаты — их лица, их образы проходят вереницей в книге.

С каким пониманием каждого шага описывает их Виктор Некрасов — их командир, лейтенант!

Это книга о солдатах и их командире. Некрасовский сталинградский окоп — это, может быть, и дом Грекова из романа Гроссмана «Жизнь и судьба» или батарея капитана Тушина у Толстого. Керженцев — Некрасов в окопах Сталинграда, его щель, его лопаты, его саперы и солдаты, мины, собственноручно заложенные им на Тракторном…

Благородство его воинского подвига надо уметь прочитать, понять и оценить в книге. На войне он был сначала лейтенантом, а потом капитаном и воинские свои представления, чувство чести передал с дворянско-декабристской простотой и прямотой.

Характерно, что в этой своей повести он часто вместо «я» говорит «мы»: «Мы даже не слышали выстрела. Пуля попала прямо в лоб…»

Особая некрасовская интонация — сплав мужества и доверия.

Как он написал своего Валегу, ординарца…

И я вспомнила, что в конце 60-х годов, приехав в Москву, Некрасов вдруг сказал:

— Знаете, нашелся Валега!

Это было чрезвычайным событием.

В «Окопах Сталинграда» Валега однажды сказал: «Когда кончится война, я поеду домой и построю себе дом в лесу. Бревенчатый. Я люблю лес. А вы приедете ко мне и проживете три недели…

Керженцев улыбается.

— Почему именно три недели?

— А сколько же? Вы больше не сможете. Вы будете работать. А на три недели приедете».

И оказалось, что все эти десятилетия дома, в Сибири, своим детям Валега рассказывал о своем «капитане».

А когда дети выросли, они стали повторять: «Что же ты, батя, всё о каком-то капитане рассказываешь, взял бы и разыскал его».

И Валега стал разыскивать своего капитана. Через киевскую милицию… И нашел. И написал письмо по адресу, который дала ему милиция.

Надо ли к этому добавлять, что Валега не знал, что капитан Некрасов стал писателем, не знал, что сам он стал героем его

книги, его фильма «Солдаты».

Связь восстановилась, и Некрасов вместе с актером Юрием Соловьевым — он играл в фильме роль Валеги — поехал на Алтай на встречу с Валегой («Живой, книжный, киношный» — так назвал он свой рассказ об этом).

И пишет, как теперь восхищают его милые, как он говорит, письма, написанные Валегой, которые неизменно начинались словами: «Дорогой и любящий друг Виктор Платонович!..»

Так завершилась эта история.

Книга Некрасова открыто и незащищенно противостояла всем законам и канонам тогдашней литературы. Вспоминая потом о ней, он говорил, что в его повести нет ни генерала, ни политработника. В ней нет фактически Сталина. Только солдаты и офицеры и его некрасовский сталинградский окоп.

Знаменательно, как появляется в этом окопе Сталин.

> «У Валеги и Седых, в их углу, даже портрет Сталина и две открытки: одесский оперный театр и репродукция репинских „Запорожцев“».

Моментальный некрасовский снимок — в углу Валеги — это надо увидеть и понять.

Смена фотографий, фотомонтаж — один из любимых приемов, выражающий некрасовский иронический взгляд на мир. В углу у Валеги (не у Керженцева — Некрасова), рядом с оперным театром и «Запорожцами».

В другой раз имя Сталина вмонтировано в текст листовки Гитлера о том, что Сталинград, город Сталина, должен пасть.

С этой книгой Некрасов вышел на острие ножа, тем более что читательский успех ее был необычайный, ни на что не похожий, объединяющий лучшие нравственные силы общества.

Против книги сразу же выступили критики-проработчики и Поликарпов — тогдашний идейный руководитель Союза писателей.

В самом Союзе было два резко критических обсуждения книги — на специальном заседании президиума и на совещании, организованном военной комиссией.

Главный редактор журнала «Знамя» Всеволод Вишневский, отправляя Некрасову стенограмму одного из них, писал: «В стенограмме много ерунды. Иногда делается просто больно, что люди, удравшие от боев за 600—700 километров, ни черта не понимающие в военном деле, трясут своим жиром и чему-то обучают Вас и редакцию».

Если даже не погружаться в историю нашей журналистики, нельзя не сказать, что журнал «Знамя» в военные и послевоенные

годы был лучшим журналом и напечатал много хороших вещей. При Вишневском и его заместителе Тарасенкове.

Была тогда надежда, вдохнувшая силы в этот журнал, надежда на то, что после войны в литературе нельзя будет лицемерить и лгать.

Надежда эта была грубо затоптана в августе 1946 года постановлением о журналах «Звезда» и «Ленинград». А повесть Виктора Некрасова печаталась в том же 1946 году в номерах 8—9 (сдвоенные номера) и 10. Значит, одновременно с постановлением. И, как видим, подверглась поношениям вполне закономерно.

Но длилось это недолго. И однажды ночью, когда решался вопрос о присвоении Сталинских премий, Сталин — лично — включил Некрасова в число лауреатов. Начались издания, переиздания.

Сейчас ясно, что присуждение Сталинских премий было для Сталина своеобразной дымовой завесой. Ведь он действовал как делец. Каждая премия имела свою цель — и сложную, и примитивную. Вот этот, 1946, год еще очень связан с подъемом душевных сил, отданных войне. Поэтому ему были нужны и Виктор Некрасов, и Твардовский с поэмой «Дом у дороги», и «Спутники» Веры Пановой. А рядом — пьеса Константина Симонова «Русский вопрос», пропитанная духом сталинизма. Этим же грубым расчетам служил и роман «Счастье» Павленко, не говоря уже о «Кавалере Золотой Звезды» Бабаевского.

Но Сталину нужны были крупные имена. Ведь был же у него такой послушный ему Толстой, почему бы не заполучить еще и Некрасова?

Прямая задача Сталинских премий, конечно, была и в отборе опричников для свершения всех настоящих и будущих заплечных дел — так были вытащены лично Сталиным и Сурков, и Бубеннов, и Первенцев — «диверсионная гвардия».

Но сам Сталин при этом еще хотел от писателей «сталинских чудес», мифов о «товарище Сталине». И добивался больших успехов. Не надо забывать, что только в книгах, а не на колхозных полях, по его приказу колосились хлеба! Поэтому в отношениях с писателями он, запутывая следы, спускал им мифы о себе.

Мы знаем на многих примерах из жизни даже очень хороших людей, что значил звонок «товарища Сталина» — простой звонок. А что такое премия! Как меняла она душу, как перекручивала чувства, как часто ломала жизнь.

Всё можно прочитать в нашей истории. Но пишу я это для того, чтобы сказать «во весь голос», что такого неблагодарного лауреата, как Виктор Некрасов, у Сталина не было никогда. У

Некрасова не шевельнулась бровь, не изменился голос, ни на секунду не дрогнуло перо в его руке. Он остался верен себе, своему будущему пути. Практически через год по указанию Сталина начался разгром журнала «Знамя». Стали топтать повесть «Двое в степи» Казакевича, растерзали в клочья «порочную» повесть Мельникова «Редакция» — молодого, одаренного, живо пишущего писателя. Сделали его скопищем всех бед.

Были сняты с работы и Вишневский, и Тарасенков. С того времени (казалось, что навсегда) назначили Кожевникова главным редактором журнала. Так кончилась эта «сказка о товарище Сталине».

И мне хотелось бы еще раз подчеркнуть, что поведение Некрасова не могло не войти в глубины этой истории.

После получения премии он не оправдал надежд Сталина. Не создал, например, как Павленко и Чиаурели, «Падения Берлина». Все написанные в эти годы рассказы (например, «Сенька», «Рядовой Лютиков» и другие) он спокойно включал во все последующие свои сборники, и том числе и в изданный потом в Париже «Сталинград».

2

Главным ответом Некрасова Сталину была повесть «В родном городе». Надо представить, что писалась она в годы подлинного успеха, особенной «моды» на него, настоящей славы.

«Трамваи ходили редко и были так переполнены, что Николай со своей раненой рукой предпочел идти пешком», — так герои войны, победители и инвалиды возвращаются в «родной город».

Николай Митясов отличается биографически от Виктора Некрасова, хотя оба они вернулись с войны капитанами, два раза ранены, с перебитой рукой. Некрасов не любил говорить о ранах, но в этом отделившемся от него Митясове передает боль неустроенности и просто физическую боль.

Он спит на чужом продавленном диване в огромной коммунальной квартире. У него нет вещей, нет семьи, нет квартиры. Очереди, очереди, очереди… И переполненные трамваи, пивные и толкучки.

«Он должен посыпать погоны нафталином и спрятать их в комод»; «К военной службе не годен. Подлежит переосвидетельствованию через шесть месяцев».

Эта нелепая формула сопровождала инвалидов войны почти всю их жизнь. Когда безногие люди должны были каждые шесть

месяцев приходить на переосвидетельствование, чтобы выяснилось, не выросла ли у них за это время нога.

Некрасов запечатлел это горько и печально.

Он поведал в этой повести жестокую правду о том, как Сталин обошелся с победителями, вернувшимися с войны. Солдаты были так же не нужны ему, как и маршалы.

Их никто не устраивает на работу, никто не думает об их квартире, пайке, об их жизни. Они получают крошечную пенсию, на которую нельзя прожить честным трудом. Их не учат, не лечат, они не имеют протезов и инвалидных колясок.

На наших глазах они собираются в пивнушках и начинают пить. Этот страшный момент запечатлен Некрасовым. А другие идут на легкие заработки, торгуют пивом, воруют. И тоже пьют.

Митясов с трудом получает паспорт, но «временный», управдом выкидывает его из квартиры как непрописанного. Но главное, что он не может жить нечестно. И с мизерной работы инспектора райжилотдела вынужден уйти, потому что там надо воровать. Потом он идет учиться в Строительный институт, где завязывается главный конфликт благородства и подлости.

Когда декан факультета Чекмень начинает выкидывать из института старого профессора (он, мол, в Киеве жил при немцах), Митясов выступает на защиту его и влепляет Чекменю пощечину, которая в те годы потрясла своим мужеством читателей повести.

Перечитывая эту вещь сейчас, после всего, что предстояло пережить Некрасову, зная его жизнь, не могу спокойно думать об этих страницах. Персональное дело Николая Митясова… Будто Некрасов прочерчивал свою будущую жизнь. Как вызывали на бюро, как решили исключить из партии — всё то, о чем, казалось, не подозревал тогда он сам. И речь Николая Митясова на общем собрании:

> «— Я не буду оправдываться. И не хочу. Я ударил человека и за это понесу наказание. Я должен был сдержаться, но не смог».

И потом: «…Нужно быть последней сволочью, чтобы… Простите меня, товарищи, но я прямо скажу: я не знаю еще, как бы каждый из вас, сидящих здесь, поступил, если бы в его присутствии человек, да еще коммунист, — нет, не коммунист, он только билет в кармане носит, — словом, если бы такой человек сказал вам, что три четверти людей, попавших в плен, пошли туда добровольно, что все, кто под немцами были, — все без разбора подлецы и мерзавцы… Не знаю, что бы вы сделали… Я ударил. Вот и всё.

Николай через плечо взглянул на Алексея: „Теперь можешь

ты говорить. Если у тебя совесть еще есть. Я всё сказал“».

Удивительно звучит и сейчас эта речь. А Чекмень стоит перед глазами как живой. Воплощение сталинского мира, его психологии и морали.

Влепив пощечину, Некрасов вместе с Николаем Митясовым по-своему побеждает его. И радуется этой победе. Такое впечатление от этой повести, напечатанной в журнале «Новый мир» в 1954 году.

Естественность мгновенных благородных человеческих реакций так характерна для творчества и жизни Виктора Некрасова. Не смолчать, не стерпеть, дать пощечину и вызвать на дуэль. Я бы могла привести целый список тех, кто подлежал «вызову».

Но характерно, что, рассказывая о том, как Николай Митясов дал пощечину, он добавляет, что герой испытал такую же боль, как тогда, когда его ранили. Удивительная подробность!..

Так эти произведения Некрасова определяли пути будущего развития литературы.

К этому надо добавить, что и война, и Мамаев курган, и Волга, как и разрушенный Крещатик и Андреевский спуск, никогда не исчезнут из его книг. Они будут возникать опять в новом повороте — и в таком классическом рассказе, как «Вторая ночь», и в такой лирической фантасмагории, как «Случай на Мамаевом кургане», и во многих других его вещах.

3

Я помню, как появилось «Первое знакомство» Виктора Некрасова — о трех неделях, проведенных в Италии в апреле 1957 года. Подзаголовок был неожиданный и непривычный и для нас и для Некрасова — «Из зарубежных впечатлений». Мы читаем:

> «В одно прекрасное солнечное утро, в последних числах апреля 1957 года, трое полицейских, несших службу на набережной Сены неподалеку от дворца Шайо, обратили внимание на подозрительного субъекта, который, прохаживаясь вдоль устоев моста Иена, время от времени приседал на корточки и что-то фотографировал.
>
> Полицейские окликнули его. Он не расслышал (или сделал вид, что не слышит), застегнул футляр фотоаппарата и быстро, через одну ступеньку взбежал вверх по каменной лестнице. Старший из полицейских

сделал знак своим товарищам и устремился за ним. Только у входа на мост удалось задержать незнакомца».

Так впервые появился Некрасов в Париже, преследуемый французскими полицейскими.

Всё кончилось, как он рассказывает, «идиллией»: «Трое полицейских, расправив плечи, выстроились в ряд, а иностранец, отойдя на несколько шагов, запечатлел их на пленке своей „Экзакты“».

В этот же день «иностранец» был в Москве (всё произошло за два часа до вылета) и показывал друзьям и знакомым «свеженапечатанную фотографию трех парижских „ажанов“ на фоне Эйфелевой башни».

Потом появится в книге и собственный его рисунок, забавный, с некрасовским юмором запечатлевший эту смешную сцену.

Что же главное в его отношении к Западу? И тут главное — правда: «…не надо глотать аршин… Надо быть самим собой» — и Риме, и в Неаполе…

При всей внешней легкости и шутливости его фраз в них выражена позиция. Твердая и неколебимая…

Грустно, что Некрасов не дожил до наших дней и не узнал, что его точка зрения победила и в этом.

Надо сказать, что зарубежные его впечатления опирались на исконную культуру чувств и широту интересов. В этом ясном определении — и на Западе быть самим собой, не врать, не притворяться, не льстить — заложена еще и четкая программа отрицания всех видов мещанского отношения к жизни, в том числе и западного пижонства, пустого подражательного звона, которых не выносил Некрасов.

Те немногие путешествия, которые ему удалось совершить на нашей земле, связаны еще и с особенной художественностью и артистичностью его личности.

И то, что он любил бродить по Киеву, Ленинграду и Москве, что был архитектором и отлично чувствовал живопись, скульптуру, архитектуру. Что любил знакомиться с людьми и узнавать их на улицах и бульварах. Ходить, бродить, смотреть…

И сам рисовал забавные картинки, пейзажи Рима и Парижа, был прекрасным фотографом — снимал, дарил и вешал на стены у своих друзей. (Например, дом Турбиных в Киеве, на Андреевском спуске, который он обнаружил сам, потом написал рассказ «Дом Турбиных» и сделал множество уникальных фотографий этого дома.)

«Первое знакомство» еще сошло Некрасову с рук. Но со

вторым и третьим знакомством начались мучения. Пишу это по праву редактора этих вещей в «Новом мире».

Конечно, в те годы Некрасову было трудно найти на Западе не врага, а друга. Но он вообще и в жизни любил встречи с друзьями, а дружбу считал высшим достижением человеческого духа.

«По обе стороны океана» — так назвал Виктор Некрасов свои новые зарубежные впечатления. Первая часть — «В Италии» — была напечатана в «Новом мире» в номере 11 за 1962 год. «В Америке» — в следующем — 12 номере.

Некрасов непросто «проходил» через Твардовского, что приносило мне и ему большие огорчения.

Могу только добавить к этому, что сейчас, как о чем-то дорогом и безвозвратно ушедшем, я вспоминаю страницу рукописи Некрасова и его фразу «Я побежал за свежим батоном», а на полях рукой Александра Трифоновича — уверенно и четко: «В твоем возрасте пора перестать бегать».

Я, грешная, становилась на сторону Некрасова, видя, как он обижен. И получала за это свое.

С того времени, как я сдавала в набор рукопись Некрасова, стоит перед глазами картина Паоло Учелло «Битва».

Как Некрасов описал ее, увидав во Флоренции, в Уффици. Как перевел на язык литературы…

> «Первое, что тебе бросается в глаза, когда ты входишь в зал, это брыкающаяся обеими задними ногами лошадь в первой части картины. И еще две лошади — поверженные, голубого цвета. Почему они голубые? Не знаю, но они должны быть голубыми».

И дальше: «Первый план — сражающиеся рыцари. В центре на белом коне — падающий от удара копьем воин. Копье невероятной длины, мощно пересекает картину по горизонтали. Слева и справа лес других копий, создающих редкой красоты, почти музыкальный ритм…»

И, прерывая свой рассказ, Некрасов спрашивает, прямо обращаясь к читателю: «Описал картину? Да разве опишешь?»

И эти то иронические, то шутливые, а иногда и сатирические сцены, диалоги и описания всегда перемежаются лирикой души: «Есть еще одно, что доставляет неизъяснимое наслаждение, — вторичные встречи».

А вторая часть записок Некрасова «По обе стороны океана» называется, как я уже говорила, «В Америке», куда он прилетал осенью 1960 года. Первый раз в жизни.

«Предвижу тысячу вопросов, — пишет он. — А правда, что Ку-клукс-клан всех терроризирует? А правда, что в Нью-Йорке каждые шесть минут совершается преступление? Что летом температура там поднимается до +45 в тени? Что на каждого американца приходится по четверти автомашины? Что… Нет, ни на один из этих и подобных им вопросов отвечать не буду. Буду говорить только о том, что видел собственными глазами. И по возможности никаких цифр, хотя в Америке их очень любят. А может, именно поэтому».

На этот раз декларация — даже с вызовом.

Некрасов едет в Америку с группой туристов. И тут возник и навис над жизнью Некрасова этот руководитель группы, «некто» — называет его Некрасов. И добавляет: «Назовем его для простоты Иван Иванович». Он трясся от волнения и «поминутно пересчитывал нас, как цыплят».

Не давал смотреть, не давал ходить, не давал гулять. «Просто погулять» по Бродвею — этого «он почему-то особенно страшился».

Образ вышел и конкретный, и нарицательный.

И, говоря об улицах, людях и домах, Некрасов возвращается вдруг в Москву — к двум памятникам Гоголю или рассказывает с любовью о фильме Хуциева «Застава Ильича», прочерчивая внутреннюю, собственную, некрасовскую связь между странами и континентами.

Интересны и очень злободневны (и сейчас) его размышления об особенностях архитектуры небоскребов.

А в конце возникает и эта тема — тема эмиграции: «Русский за границей… В большинстве своем это трагедия…»

Потом опять: «Все это трагедия. А сколько их на белом свете… Людям, помнящим свою родину, особенно тяжело».

Так важны были для нас эти вещи, так необходим его взгляд, его мир. После войны, после Сталина — пробивание железной стены.

Но при Хрущеве, при всех его великих заслугах в возвращении арестованных и сосланных, в разоблачении Сталина, была мучительная нестабильность в жизни интеллигенции, в судьбах писателей и художников. Казалось, что к нему в советники попали тяжкие и преступные завистники — неудачники.

«Дело Пастернака», «Дело Гроссмана», первый разгром «Нового мира» и первое снятие Твардовского, Манеж, уничтожение «Литературной Москвы»…

А сейчас ему на стол положили «Дело Некрасова». Мне в те годы сказали, что это «досье» — с доносами на Некрасова.

Вероятно, доносчик был не один, может быть, в их число входил и человек, названный Некрасовым «Иван Иванович».

Хрущев вдруг стал кричать, ругать и поносить Некрасова. «Некрасов, да не тот!» — раздался его крик.

Почти сразу после выхода двенадцатого номера «Нового мира» за 1962 год в «Известиях», редактируемых А. Аджубеем, появился издевательский фельетон о Некрасове «Турист с тросточкой». Написал его М. Стуруа.

Там были и такие слова:

> «В. Некрасову понравились небоскребы на Золотом берегу в Чикаго. Но можно дать справку: один квадратный фут земли стоит что-то около 20 тысяч долларов. Естественно, что квартирная плата в этом районе по карману только миллионерам, поэтому противопоставлять их архитектуру московским Черемушкам по меньшей мере нелепо. И даже совсем непонятно, как умудрился советский писатель не увидеть социальных контрастов и классовых противоречий американской жизни, военного психоза, разжигаемого империалистическими кругами. Вот уж, действительно, приехал турист с тросточкой».

Сейчас кажется, что это пародия. Но это подлинная статья. Наша беда, что всегда находились авторы для таких статей. А московские Черемушки, опасность которых с первой минуты отчетливо понял Некрасов (и боролся, как мог), далеко завели нашу архитектуру и жизнь городов.

Да, это было в «эпоху Манежа» — была у нас и такая эпоха, когда Никита Сергеевич кричал на художников, выставленных в Манеже.

Некрасов тут же в доме своих друзей Лунгиных, где он жил в Москве, нашел какую-то палку — трость и ходил по квартире только с ней, с ней и встречал гостей. А на книге, подаренной мне, он к своей фотографии пририсовал не только тросточку, но и цилиндр.

Юмор, конечно, не покидал его никогда.

Но статья эта и то, что стояло за ней, обрушилось на его жизнь и творчество.

Сразу же в Киеве было заведено первое персональное дело Некрасова — он должен был ходить на парткомиссии, собрания, терпеть разные проработки.

Считалось, что за низкопоклонство перед Западом его надо исключить из партии, дело тянулось долго. В тот раз не исключили.

И все-таки, как будто ничего не произошло, он пишет следующие вещи.

Мне в те годы казалось, что он дал пощечину своим критикам — изящную и победительно смешную — в рассказе «Из Касабланки в Дарницу». Маленький рассказ…

По дороге из Москвы в Киев Некрасов встречает разных людей — прежде всего двух солдат, с мгновенной нежностью показанных им. И вместе с ними едет и писатель, он возвращается домой из Касабланки. Писатель всё время рассказывает о Марокко.

> «Страна поразила его главным образом своими контрастами. На одном полюсе роскошь и богатство, громадные отели, „эркондишен“, на другом нищета, болезни, голод».

> «Весь остаток дороги писатель рассказывал о „контрастах Марокко“».

Образ писателя будто сошел со страниц газеты «Известия», как осуществленная мечта фельетониста.

«Месяц во Франции» — новые путевые заметки Виктора Некрасова.

Прохождение рукописи — тяжелее не бывает. Цензура насторожилась… Опять Некрасов. Опять путешествие. После всего, что было…

Послали в набор. Цензура остановила, и рукопись оказалась на столе Поликарпова. Сняли окончательно и, как мы думали, навсегда.

Замечания были странными. Например, нельзя было писать, что во французских газетах печатают карикатуры на президентов. Пришлось вычеркнуть, но, вычеркивая, добавляли новые подробности.

До сих пор не понимаю, почему посчитали крамолой слова Некрасова об аполитичности «среднего француза»…

И все-таки в апреле 1965 года «Месяц во Франции» появился в журнале «Новый мир».

«Отдельный оттиск» — так называлась у нас в журнале переплетенная в обложки «Нового мира» часть журнала с публикациями каждого автора.

В «оттиск» — для меня — Некрасов вложил яркую открытку, на ней — Париж, огромное дерево на берегу Сены. И написал: «… на память о нашей „многострадальной Франции“».

А на другой странице слова: «В моей книге, конечно, найдутся ошибки, но в ней нет намерения обмануть, польстить,

очернить кого-нибудь. Я буду говорить правду. В наше время это нелегкое обязательство, даже когда говоришь о колоннах и статуях…»

И добавил: «Стендаль. „Прогулки по Риму“. 1827».

С такой выстраданностью это переписал и вставил в экземпляр — мой, личный.

А в 1967 году в издательстве «Советский писатель» появилась книга «Путешествия в разных измерениях», куда вошли эти вещи. И мне хотелось бы привести ту часть его дарственной надписи, в которой запечатлена история печатания:

> «…Книжечка эта, результат 5-летней борьбы, впитала в себя столько… что впору приниматься за книгу об этой книге и нашей совместной борьбе, завершившейся победой!
>
> 8/VIII-67. Ура!!!»

«Победа» и «ура» — печатными буквами.

4

Победой Некрасова, трагической его победой окончилась и борьба за Бабий Яр.

Много лет длилась эта борьба. Он рассказывал, писал, выступал. И даже один раз — в «Литературной газете». Бабий Яр… Он стал частью собственной жизни Некрасова — личной, общественной, гражданской и писательской.

Сначала он пришел в ужас оттого, что Бабий Яр превращают в свалку. И не допустил, чтобы это произошло. Потом прорвались какие-то воды, Бабий Яр решили смыть, а на этом месте построить стадион. Некрасов не дал его смыть, не дал построить стадион. В буквальном смысле этого слова. А потом стал бороться за то, чтобы был поставлен памятник.

29 сентября — в годовщину расстрела — Некрасов всегда с цветами приходил на Бабий Яр. От годовщины к годовщине людей становилось всё больше. Я была с ним вместе один раз в эту годовщину и видела, как женщины целовали ему руки, как стеснялся он этого, какими глазами смотрели на него, когда мы с края огромной молчащей толпы пробирались вперед. Камня еще не было, ничего не было, только много цветов.

В 1966 году исполнилось двадцать пять лет со дня расстрела. В этот день людей было — неисчислимое море. Некрасов выступил с речью. Там были слова о том, что надо, надо поставить памятник…

После этого, через две недели, появился камень. Под нажимом Некрасова был открыт конкурс — он занимался этим упорно, был связан с художниками и архитекторами, знакомился со всеми проектами.

Но с этого дня — 29 сентября — началось новое персональное дело Некрасова.

Теперь его обвинили в том, что он «организовал массовое сионистское сборище».

Бабий Яр — трагедия и подвиг Виктора Некрасова, русского интеллигента-гуманиста.

Процесс «выживания» Некрасова из жизни пошел особенно активно именно после этих событий. Разбирали на партийных собраниях, травили, следили.

И все-таки он писал свои рассказы, «Маленькие портреты» и даже ездил на встречу с Валегой. Но при этом чернел лицом и быстро седел.

Состояние его резко и окончательно переломилось, он оказался в тупике после того, как в его киевской квартире произошёл возмутительный обыск.

Обыск длился сорок два часа. Этого унижения он стерпеть не мог. В протоколе обыска 60 страниц (пишу с его слов — устных и опубликованных) с перечислением изъятых материалов. Запечатали семь огромных мешков и унесли с собой.

Забрали книги, журналы, магнитофон, пишущую машинку, фотоаппарат.

Унесли все рукописи, альбомы живописи, которые он собирал всю жизнь, журналы «Пари-матч» и «Экспресс», альбом фотографий помпейских фресок, книги Мандельштама и многое, многое другое.

Вся его уникальная киевская квартира (что я могу засвидетельствовать точно) была разрушена, вся его писательская жизнь оскорблена и осквернена.

Потом шесть дней с утра до вечера он сидел у следователя на допросах.

Ему было сказано, что он из «окопов Сталинграда» перебрался в окопы врагов. Преследовали, изгоняли из жизни, оскорбляя честь и достоинство замечательного писателя, благородного защитника Сталинграда…

За ним ходили, его специально толкали на улицах, например, как-то раз, когда мы вместе шли по Садовой к метро на площади Маяковского.

В 1974 году он уехал в Швейцарию, а потом поселился в Париже.

Но не надо думать, что он изменился и стал другим. И в годы самых тяжких «персональных дел» он рисовал шуточные картинки, подбирал альбомы фотографий и делал забавные надписи на открытках.

Он разыгрывал и шутил. Побывав в Грузии и оказавшись в Гори, он вручил мне загадочный подарок. На листе ватмана он своим крупным почерком переписал нелепое стихотворение Сталина, украсил его ярким орнаментом, цветочками и листочками, точно так, как это делали культовые художники. Удивительная получилась пародия.

А марки! Чего он только не придумывал, наклеивая их. Какие сюжеты сочинял…

Я всматриваюсь в «Новый мир» с его камчатскими записками и «Случаем на Мамаевом кургане». Обложки оттиска он «оформил» для меня.

Марки в руках Некрасова — тоже форма искусства. Чего он только не придумал на этой обложке!

Марки — какие-то редкие, необыкновенные, а их расположение полно смысла и юмора. Сбоку на синей обложке наклеил дивной красоты голубые марки: сначала «Корякский вулкан», под ним — «Ключевская группа вулканов». Слева удивительная марка — «Карымский вулкан», под ней серовато-коричневая, с изображением морских котиков. На ней крупными буквами написано: «Охраняйте морских котиков!»

Марка эта имеет особый смысл, и, чтобы понять этот смысл, важно прочитать напечатанный здесь маленький рассказ-быль Виктора Некрасова «Котики». О том, как на острове Беринга охотники под свист дубинок («дрыгалок» на зверобойничьем языке) убивали несчастных котиков. Стоны животных, потоки крови. Нос — самое чувствительное место у котика. Бить надо в нос! Добивают с криком. А котики плачут настоящими слезами.

Но больше всего пугает Некрасова красавец охотник, залитый кровью, его горящие глаза. Когда «я думаю о нем», пишет Некрасов, «мне становится страшно».

Вот что таится под этой маркой. И боль, и пародия. И еще то, что рассказ «Котики» снимала цензура.

А внизу еще одна марка, «Мамаев курган», — постоянная тема жизни и творчества Некрасова.

Но марки не просто наклеены, на каждой нарисованы штампы разных почтовых отделений — от Петропавловска до Москвы. А дарственную надпись Некрасов вмонтировал в почтовые штампы.

Только адрес моего старого дома на улице Чайковского (который вскоре будет снесен) написан его рукой, как и собственный его обратный адрес на Крещатике, куда он тоже больше никогда не сможет вернуться.

Должна сказать, что желание разыграть, пошутить, подарить, что-то придумать и посмеяться вместе никогда не покидало его в годы жизни в эмиграции. Некрасовский юмор был всегда с ним.

Я помню, как однажды в очень трудные годы, спустившись к своему почтовому ящику, я вынула письмо Некрасова из Парижа. И что-то необычное остро поразило меня. Я взглянула на конверт внимательнее. Что такое? Оказалось, что рядом с французской маркой он в виде марки вмонтировал собственную фотографию. Цветную, отчетливо яркую, с загорелым его лицом, в голубой рубашке с открытым воротом. Штамп погашения вокруг собственного изображения сделан им так аккуратно, что не было ничего задето на фотографии.

Таким ярким и живым приплыл он тогда из Парижа в мой почтовый ящик. Через все кордоны и границы.

Я, конечно, была приучена к его шуткам, но такого не ожидала. И надо так проскочить по почтовым отделениям — из Парижа до Москвы.

Тогда было очень смешно…

А в конверте письмо. Мне хотелось бы привести его здесь, чтобы понятно было, как он жил в Париже.

Письмо он послал после нашего разговора по телефону:

> «…Поговорили, и сразу стало как-то легче… Жизнь полна всякой муры, и во всем этом вынужден принимать участие. Но вот поговорили, как будто и ни о чем, а становится хорошо.
>
> А? И вообще поговорили мы об Ив. Сер-че, и вдруг я понял, как мне его не хватает. Вот с ним можно было обо всём.
>
> Кстати, и с Вами тоже…
>
> Очень мне этого здесь не хватает…»

Иван Сергеевич Соколов-Микитов — речь идет о нем.

Из каких-то путешествий пришла один раз открытка. Сбоку крупно написано: «1942», от этой даты стрелка к другой дате — 20.V.82.

Несколько слов: «Надо мной щелкают соловьи… 40 лет назад они также щелкали в ночь перед днем моего первого боя…»

Во всех его письмах всегда живые вопросы и ответы: не читали ли, не встречали?

Вот, например, из письма 1982 года:

«Не попадались ли Вам в руки когда-нибудь где-нибудь воспоминания В. Полонской о Маяковском? Я только что их прочитал с громадным интересом. Как вы знаете, я к Маяковскому относился и так и сяк, но сейчас, столкнувшись через Полонскую с ним, вдруг жутко пожалел его… Все-таки трагедия из трагедий. При всём при том…

Вообще — ужас… Хотя поживи еще и… Ладно…»

И вдруг в тот же год опять приходит от Некрасова из Парижа совсем уж непонятный конверт-пакет. Толстый, в особой некрасивой упаковке, проложен изнутри картоном и какой-то губчатой бумагой.

Вскрываю — в руках портрет Чехова, но с длинной шеей, чуть розоватым носом, в лиловых тонах. Он окантован и даже застеклен.

А в письме:

«Так как, насколько мне не изменяет память, Вы не так уж плохо относитесь к Чехову — посылаю Вам его портрет работы Модильяни. Не говорите мне, что они нигде не встречались. Встречались! А если не встречались, то могли. Во всяком случае, я им помог».

И прислал собственный рисунок… А потом прислал еще автопортреты, один, перерезанный кубами и пирамидами, — под Пикассо, а другой (особенно печальный) с утверждением, что его, Некрасова, рисовал не только Пикассо, но и Юрий Анненков.

Кончалось письмо так: «А я на две недели — за океан! Оттуда черкну какую-нибудь восхитительную открытку. Главная цель — купаться в Карибском море».

Всё это — неповторимые его фразы, его характер, его сюжеты — как в жизни, так и в письмах.

В одном из писем Некрасов сказал:

«За всеми Вашими делами слежу внимательно и даже с какой-то верой во что-то».

Рассказывает, например, о фильме про Моцарта.

«Шел ли он у Вас? Я смотрел его вторично, но ужасно мешал английский язык, на котором говорят актеры, и французские субтитры, которые не успеваю прочесть. А вообще соскучился по русским дубляжам. А последние советские, которые видел, — это „Прощание с

Матерой“ и „Тема“. Ни от той, ни от другой в восторг не пришел.

Ждем — не дождемся „Покаяния“. Видели ли Вы его, и если да, то что скажете? И еще очень все хвалят что-то документальное под названием „Как трудно быть молодым“. Тоже ждем — не дождемся…»

Это отрывки из последнего письма Виктора Некрасова. Оно написано 14 июля 1987 года — за полтора месяца до смерти и исполнено живых чувств, живых порывов и надежд.

«Ждем — не дождемся…»

6

Могла ли я представить себе, что мне предстоит принести в редакцию журнала «Дружба народов» «Маленькую печальную повесть» Виктора Некрасова — последнюю его вещь, изданную в Лондоне на русском языке. Этим удивительным названием символически заканчивается его жизнь.

«Маленькая печальная повесть» печальна потому, что ее молодые герои проходят самую серьезную для Некрасова проверку — проверку на дружбу. И один из них не выдерживает ее.

Три ленинградских мальчика, «три мушкетера», встретились и соединились на берегах Невы. Читатели узнают, как они дружили, спорили, ходили по Ленинграду и мечтали вместе поставить гоголевскую «Шинель». И оживают прекрасные картины ленинградских улиц и домов в художественной памяти Некрасова.

Мушкетерские мечты об искусстве чисты и просты. Они хотят честно жить, играть, ставить и писать. И дружить. Но невыносимые для молодости семидесято-застойно-лживые годы наваливаются на них, вызывая то отчаяние, то гнев, то ярую ненависть. Они так беззащитны под злыми ветрами.

Некрасов понимает их жизнь, стремления и мечты, метания, категоричность их суждений, с такой доподлинностью воспроизводит речь, «трёп», прозвища и словечки, что кажется, будто он ни на один день не уезжал из нашей страны.

Но, и когда он писал «Маленькую печальную повесть», предчувствовал и даже понимал, что будет потом. Ведь ритм современной жизни так отличает его книги. И ощущение будущих перемен… Он хотел, чтобы его поняли и будущие читатели. Ведь это повесть не автобиографическая, как большинство его книг.

Редкий случай отделения героев от автора в творчестве Некрасова. Конечно, отделения — относительного.

И я еще раз хочу повторить, что он предчувствовал решительные перемены и ждал их. Ждал давно. И был бы счастлив, если бы знал, что его вещи печатаются одновременно с произведениями Василия Семеновича Гроссмана, который любил Некрасова и всегда в больнице, когда я приходила к нему, спрашивал: «Как Некрасов?»

«Маленькая печальная повесть» кажется еще печальнее, потому что сам Некрасов не сможет никогда приехать, дать интервью, написать вступительную статью.

Но все-таки «кодекс чести», заявленный в этой повести, еще не решен на нашей земле, его надо повторять и повторять: то, что нельзя бросать мать, нельзя забывать и обманывать друзей, нельзя продаваться — ни за доллары, ни за рубли. Нельзя терять честь и губить свой талант. Надо жить достойно во всех точках земного шара.

Москва, 1989.

Быков Василь
Несколько встреч и вся жизнь…

Летом 1989 года, почти четверть века спустя после написания, вышла наконец отдельным изданием моя давнишняя повесть «Мертвым не больно». Именно этой горемычной повести я обязан знакомству с Виктором Некрасовым. Вскоре после ее журнальной публикации в «Новом мире» он прислал мне в Гродно дружеские слова поддержки и несколько советов, среди которых было: «не обращать внимания, не читать, держать хвост пистолетом, потому что правда на нашей стороне, а это в литературе главное». Советы его были весьма кстати и как бы приглушили на время грохот критических залпов, прогремевших против повести в московской и местной печати. К тому времени я, конечно, знал имя Виктора Некрасова, благоговел перед его «Окопами», замечательными военными рассказами. Его слова, разумеется, были для меня лестны и укрепляли веру в правоту правды, которую тогда исповедовали не только писатели-фронтовики.

В последующие годы было несколько случайных встреч, короткие его письма или открытки из Киева и Ялты — все больше с советами и подбадриваниями, так как мои злоключения с «Мертвыми» не кончились, вернее — начались с другими повестями. О себе он почти ничего не писал, но слухи о его житье

в любимом им Киеве ходили по Москве, проникали в Минск, и я знал, что живется ему весьма не сладко. А потом стало и вовсе скверно. После того, как, преследуемый и гонимый, он уехал на Запад, всякое печатное упоминание о нем стало невозможным. Когда весной 1975 года на союзном совещании по военной литературе я назвал его бессмертные «Окопы», в Белоруссии поднялся литературно-чиновничий переполох, от меня потребовали объяснений… Но с тех пор много воды утекло и кое-что в нашей жизни все-таки изменилось, вышла наконец моя книга, сведшая нас в согласном писательском братстве. Но увы!.. Его нет, и мне уже не послать ее в Киев, на благословенный Крещатик, где некогда жил Некрасов.

Наверное, ангел справедливости всегда опаздывает.

Снова и в который раз мы оказываемся перед тем малорадостным фактом, когда истинное признание пророка происходит за пределами его земной жизни, когда по отношению к нему приходится употреблять глагол *был* вместо *есть*. Хотя, что касается Виктора Некрасова, это утверждение справедливо лишь отчасти: все-таки, не в пример многим другим, он изведал при жизни и читательскую признательность, и писательскую славу, и даже эфемерное, изменчивое и кратковременное одобрение властей. Но все же, все же… Как было бы хорошо, если бы не было того, что, к сожалению, было, если бы наша литература развивалась так, как ей полагалось бы развиваться в условиях цивилизованного, истинно демократического общества на основе единственно возможной для нее ценности — масштаба личности и таланта. Увы! Талант, как это у нас повелось с некоторых (впрочем, весьма давних) пор, — не гарант признания, чаще причина и повод для поношения, побивания камнями. Гарантом признания совсем еще недавно были иные, ничего общего с литературой не имеющие качества. Может показаться, что говорить обо всём этом спустя годы и годы не совсем подобает, но и не говорить, умолчать о, может быть, самом главном в трудной судьбе художника тоже невозможно. Это как раз тот случай, когда умолчание — синоним оскорбления его памяти, если не хуже.

Для меня, как для читателя, проза Виктора Некрасова — прежде всего честный, незамутненный человеческий взгляд на войну, на проклятую и великую нашу войну с немецким фашизмом. Не знаю, каким способом удалось ему в обстановке, так мало подходящей для человечности, воспитать в себе и сохранить этот взгляд и эту человечность. Как он его реализовывал и отстаивал в литературе, мы знаем, мы этому были свидетели и видели, что далось ему это ценой невероятного

упорства и противостояния столь же невероятному по силе давлению среды — бытовой, литературной, партийной и государственной. Далее для меня чрезвычайно важно, что Виктор Некрасов (может быть, первым в нашей литературе) явил миру правоту и высокую сущность индивидуальности на войне, значение личности — если не в противовес, то хотя бы наряду с правотой и сущностью класса, коллектива, общества… Хотя бы наличие индивидуальности в среде, менее всего для нее уместной, в той уродливой, противоестественной среде, какой является война и армия с их абсолютом подчинения одного всем, жестким нивелированием всякой разности.

Виктор Некрасов увидел на войне интеллигента и, в отличие от расхожего в нашей литературе взгляда на него как на хлюпика, жизненную никчемность, человека не от мира сего, утвердил его правоту и его значение как носителя духовной ценности в условиях, так мало способствующих какой-либо духовности. Впрочем, это правомерно и понятно: сам будучи в высшей степени явлением духовности, он и выразил то, что должен был выразить в литературе. Наверное, это было непросто: в стране, где уничтожено крестьянство, деклассирован рабочий класс, интеллигенция оказалась единственно возможным фактором духовного прогресса, и потому именно она испытывает на себе всё то, что судьбой уготовано испытать любому историческому авангарду.

Конечно, во многом В. Некрасов определил свое время и, как это нередко случается в искусстве (и не только в искусстве), в итоге был за это сурово наказан. Ибо нет пророка в отечестве своем — слова, принадлежащие земной вечности и более всего подходящие для того, чтобы значиться на его надгробии. И может ли нас утешить мысль, что не только на его надгробии? То, что случилось с Виктором Некрасовым, недавно еще было нашим национальным бытом, судьбой, главной сущностью политики государства по отношению к чести и достоинству вообще. Недавно еще казалось: иначе и не может быть, потому что иначе и не было никогда. И обелиски, кресты, струхлевшие пеньки на могилах лучших сыновей отечества рассыпались по всему необъятному пространству страны и за ее пределами — от заселенной безвестными могилами Колымы до не менее заселенного Женевьев де Бовуа под Парижем. Что ж, мы привыкли: это наша судьба и наша история, доселе, к сожалению, еще не воплотившаяся в нашу объективную историографию.

Незадолго до его кончины я оказался в Париже, и милые наши друзья Люся и Жан Катала позаботились о нашей встрече. Ненастным осенним вечером в гостиницу за мной заехал

профессор Ефим Эткинд, и мы с большим трудом пробились в автомобильной толчее через залитый огнями Трокадеро, переехали Сену. Уже из отрывочного разговора с Эткиндом можно было понять, что Некрасов известен и любим в Париже, много работает, душевно чувствует себя вполне благополучно, по крайней мере, лучше, чем последние годы на родине. Это меня несколько успокоило. Все-таки с момента нашей последней встречи прошло немало времени, и я опасался за его эмигрантскую жизнь. Четверть часа спустя в маленькой уютной квартире Катала меня встретил почти прежний, разве чуть постаревший, милый и как всегда остроумный Виктор Платонович. Полный самоиронии по поводу своей парижской жизни да и жизни вообще, он не таил нетерпения услышать, как там теперь у нас, что изменилось, а что осталось по-прежнему незыблемым, как бетон. Рассказывая ему и слушая его, я думал, как было бы хорошо, если бы в эти действительно судьбоносные для нас дни он оказался там, на родине, с нами. Насколько бы его присутствие укрепило силы добра и справедливости, столь шаткие и ненадежные в наше вообще малонадежное время. Увы! Увы! Теперь уже поздно и мечтать об этом.

В который раз мысль о нем превращается в чувство, и чувство это (конечно, при более-менее честном отношении к себе) не может не напомнить о покаянии. За то, что не вступились, не защитили, не завопили, в конце концов, когда с ним вершилась несправедливость, когда могли и обязаны были что-то для него сделать. Как, наверняка, сделал бы он по отношению к любому из нас. Но, как почти и всегда, раскаяние — чувство праздное, запоздалое, и потому, в общем, лишенное смысла…

Что ж, остается уповать на его книги. На его бессмертную художественную прозу о войне, его публицистику и его эссеистику. На его некогда потрясшие мир, исполненные прекрасной, особой некрасовской правды «Окопы Сталинграда». Это тоже немало. Даже очень и очень много, потому что книги — может, самое лучшее из всего, что способны оставить после себя сыны человеческие. Тем более такие книги. Может быть, они сослужат свою благородную службу в утверждении правды и справедливости — качеств и сегодня, как и всегда, весьма дефицитных на нашей святой и грешной земле.

Минск, 1989.

Ваншенкин Константин
Ведь я знал его

Летом 1987 года среди писателей прошел слух: возвращается Некрасов. Это известие вызвало интерес и оживление — и у тех, кто знал его прежде, и у тех, кто хотел, даже мечтал познакомиться.

Но почему? Думается, главная причина в одном: Виктор Некрасов — автор книги, которую невозможно замолчать или отодвинуть в сторону. Это давно уже очевидно. Вот мы часто повторяем: «Тут ни убавить, ни прибавить», но произносим эту формулу чисто теоретически, а ведь так оно и есть. Без преувеличения, из этой книги вышла вся последующая пронзительная литература о войне, та самая «проза лейтенантов», да и рядовых тоже. Так, по слову Достоевского, «все мы вышли из гоголевской „Шинели“». Так наша послевоенная «деревенская проза» произошла от яшинских «Рычагов» и «Вологодской свадьбы».

До «Окопов» я успел прочитать несколько книг о войне — и никудышних (не хочется называть авторов), и хороших, как мне тогда казалось (потом я их не перечитывал). Но если те книги были хорошие, то в этой была правда. Помню, демобилизовавшись, читал ее в журнале «Знамя», в старом еще «Знамени» небольшого формата. Если не ошибаюсь, повесть называлась поначалу «Сталинград».

Разговоры о возвращении Некрасова не подтвердились, заглохли, — вряд ли за ними было что-нибудь реальное, — зато в сентябре пришла вполне точная весть о его кончине.

И захотелось написать о нем, ведь я знал его, встречался, общался. Я и раньше, пока он был еще здесь, несколько раз упоминал о нем в книге «Наброски к роману», но сейчас возникла потребность рассказать подробней, по возможности подряд.

В мае 1954 года я участвовал, в составе совершенно грандиозной делегации писателей, музыкантов, артистов, в праздновании трехсотлетия воссоединения Украины с Россией. И вот перед началом открытия торжеств, за кулисами Киевского оперного театра, Николай Иванович Рыленков, которого я узнал за два дня до этого, познакомил меня с Виктором Платоновичем Некрасовым.

В сановной тесноте и сдержанном гуле собравшихся (за опущенным занавесом — переполненный зрительный зал) передо мной стоял крепкий, загорелый, худощавый человек в коричневом пиджаке и с широко распахнутым воротом белой рубашки. У него был умный независимый взгляд, тонкий хрящеватый нос, небольшие аккуратные, очень идущие ему усы; темные волосы кольцом ложились на лоб.

Он выглядел моложе своих лет. Ему оставалось жить

тридцать три года.

Через несколько секунд Рыленков шепнул мне:

— Правда, похож на белого офицера?

Я очень удивился:

— Почему?

Мне он показался скорее эдаким городским, чуть приблатненным парнем.

Свободного времени совершенно не было: беспрерывные встречи и выступления. Наша группа, которую возглавлял Николай Тихонов, ездила еще в Чернигов, в Переяслав-Хмельницкий.

И вдруг — почему-то интервал, окно, и мы, словно очнувшись, сидим в малолюдном ресторанчике в парке, обедаем вчетвером: Н. Н. Ушаков, Некрасов и мы с Рыленковым.

Николай Николаевич мягкий, интеллигентный, очаровательный. И соответственно разговор — о поэзии, об архитектуре — негромкий, вежливый. А вокруг цветут каштаны, слабеет синева гаснущего дня, где-то вдали золотятся церковные маковки.

Потом мы провожаем Ушакова до такси, прощаемся, усаживаем, он уезжает. Некрасов тут же приглашает к себе.

Он живет вдвоем с матерью в двухкомнатной квартире на Крещатике.

— Где же мама? — удивляется он, едва мы входим, и тут же вспоминает и огорчается, что она сегодня дежурит: мать у него врач.

Во второй комнате он показывает нам какие-то книги и фотографии, и отчетливо помню его слова:

— А это мамино детское распятие…

Он из семьи политических эмигрантов, в самые ранние годы жил в Швейцарии, его держал на коленях Ленин.

Потом мы сидим за столом, пришли еще какие-то люди, одни малый работает на заводе, слесарь, имеет влечение к литературе.

Там я впервые обратил внимание на удивительный и такой естественный интерес Некрасова к собеседнику, особенно к каждому новому человеку. Он подходил к моему стулу, опускался на корточки, живо расспрашивал. А вообще-то разговор был общий.

Потом он подарил мне книгу. Было уже очень поздно, глубокая ночь. Они всей компанией отправились нас провожать на бульвар Шевченко, в гостиницу, и не успокоились, пока мы не вошли внутрь.

В гостинице, заполненной только участниками празднеств, кафе работало круглосуточно — ведь та или иная группа могла

прибыть с выступления в другом городе в любое время.

Мы с Николаем Ивановичем завернули туда, сели в уголке и разлили на двоих бутылку кефира. В кафе никого не было. И тут отворилась дверь и шумно ввалилась припозднившаяся бригада. Они устроились вдалеке от нас, и вдруг раздался характерный голос Суркова, возбужденный дор**о**гой, успехом, не знаю, еще чем:

— Посмотрите, посмотрите, вон Рыленк**о**в с Ваншенкиным кефир пьют!..

Мы потом часто, смеясь, это вспоминали. А тогда мы напустили на себя скромный вид: да, мы такие…

Я стал рассматривать дарственную надпись на книге. Она и сейчас предо мной:

> «Косте Ваншенкину,
> чтоб он был таким же хорошим,
> какой он есть.
>
> *В. НЕКРАСОВ*
>
> *15.V.54. Киев».*

На обороте титульного листа напечатано:

> «Постановлением Совета Министров Союза ССР
> *Некрасову*
> *Виктору Платоновичу*
> за повесть „В окопах Сталинграда“
> присуждена Сталинская премия второй степени
> за 1946 год».

Затем я встретил его в «Новом мире» — вероятно, уже поздней осенью. Там шла его повесть «В родном городе». Твардовский был смещен с поста главного редактора (это ведь с ним случалось дважды), но Симонов привечал прежних авторов.

Некрасов стоял посреди редакционной гостиной, рядом с ним — грузный, молодой, весело смеющийся человек на костылях.

Я подошел.

— Костя! — воскликнул Некрасов и тут же спросил, есть ли у меня «Тёркин на том свете». Получив отрицательный ответ, он на мгновенье задумался, а затем осведомился: — Вы знакомы?

Его смеющимся собеседником оказался Марк Щеглов.

Я потом не раз коротко общался со Щегловым — в Коктебеле и в Москве, бывал у него в Электрическом переулке, возил его на

такси к себе, знал его мать Неонилу Васильевну, надолго пережившую сына.

— Марк! — сказал Некрасов тоном, не терпящим возражений. — Дай Косте эту гениальную поэму, он перепечатает и тебе вернет.

Щеглов тут же полез в портфель, лежащий рядом на стуле.

У меня не было тогда пишущей машинки, и я переписал всю вещь от руки. Мы жили на Арбате (теперь многие говорят: «Старый Арбат», как будто есть еще какой-то другой), а поблизости, кажется, в Хлебном переулке, поселился тогда Тендряков. Я встретил его, гуляя, и к слову сказал о поэме. Володя попросил перепечатать и один машинописный экземпляр вручил в благодарность мне. Так они у меня и сохранились — от руки и на машинке.

Нет, это не был так называемый «самиздат». Это был живой интерес к литературе, тяга людей, близких к «Новому миру», к Твардовскому.

Кстати, через девять лет поэма была опубликована. Мне сразу бросилось в глаза, что автор еще поработал над ней — не в смысле смягчения острых мест, а просто кое-что изменил, как я полагаю, не в лучшую сторону.

А в тот раз, когда мы встретились в редакции, Виктор пригласил вечером меня с женой к себе в гостиницу «Советская», которая только что открылась после реконструкции. Некрасов с гордостью демонстрировал свой номер, и особенно ванную, сверкающую плиткой и никелем. Были еще приглашенные, и главный из них — дорогой лихой однополчанин, выведенный в «Окопах» под именем Чумака. Они, как видно, отмечали встречу уже не первый час. Спустились в ресторан. Виктор с Чумаком оба были без пиджаков, в рубашечках-безрукавках, явно не по сезону.

И в том же году, в декабре — Второй съезд писателей. Какое событие, если Первый был в тридцать четвертом году!

Оторопь брала.

Я оказался в числе делегатов. Вероятно, ввиду моей относительной молодости и того обстоятельства, что я был членом Союза, а большинство моих литературных сверстников кандидатами, — этот институт был позднее упразднен.

(Тогда наша организация называлась: «Союз советских писателей СССР». Потом слово «советских» сократили, — а каких же еще, если СССР?)

В первый день съезд работал в Кремле, все еще десятилетиями закрытом для общих посещений. Что там, за его таинственными воротами? И вот писательская толпа спешит по припорошенному утренним снежком двору. Это ведь сейчас

обычное дело. А тогда — глазам своим не веришь. В голове у меня звучит:

Кто Царь-колокол подымет?
Кто Царь-пушку повернет?..

Внутри Большого Кремлевского дворца обязанности гардеробщиков выполняют солдаты. Вмиг забирают пальто и суют номерок.

А наверху, перед несколькими входами в Зал заседаний, дежурные распорядители в который раз проверяют паспорта и мандаты. Хотя нет, здесь уже только мандаты, вернее, временные удостоверения.

Дежурные привыкли к заведенному порядку: звонок на заседание — все входят в зал, звонок на перерыв — выходят. Поначалу так и было. Но потом: скучный выступающий — повалили курить, объявлен интересный — обратно. Дежурные сперва грудью вставали, не пускали, но не выдержали, сникли, отступились. Смотрели потрясенно, растерянно, их даже становилось жалко.

И зачем открыли заповедные двери для такой несерьезной публики?

Но вначале всё в новинку: и длиннейший зал, и наушники у каждого делегата, и, ух ты, правительство в президиуме!

Открывала съезд старейшая писательница — Ольга Форш. Это ведь теперь открывает руководство. А тогда какие корифеи были в секретариате, но нет, открывает старейший. Достойно подражания.

И все это было смешано с шуткой, розыгрышем, забавой. Ведь творческие же люди, писатели. Да и время было такое, хотелось сбросить оцепенение. Один писатель из Средней Азии опоздал на минуту, сел, отдышался. Говорит Форш, медленно, основательно.

Писатель подождал немного, спрашивает у соседа:

— Кто это?

Сосед (им оказался Казакевич) объясняет небрежно:

— Фадеев.

Опоздавший молчит потрясенно, думает и наконец произносит:

— А-я-яй, как постарел!..

Тогда Казакевич сочувственно говорит о необходимости вести размеренный образ жизни.

В большие перерывы писатели, уже освоившись, болтая, гуляют по дворцу: Георгиевский зал, терема Грозного, Святые сени, Грановитая палата…

В последующие дни съезд, как и было предусмотрено заранее, проходил в Колонном зале. Какой-то бесконечный съезд: длинные обзорные доклады, отчеты, вспыхивающие сшибки в прениях, бурлящие фойе и буфет, часто меняющаяся стенгазета съезда, возле которой тоже толпы, остроты, обиды, знакомства, встречи, объятия.

Пришелся на это время и мой день рождения — двадцать девять лет. Я заранее пригласил Некрасова, Рыленкова и не знакомых с ними двух моих испытанных институтских друзей — Винокурова и Трифонова.

Ехать уговорились вместе, прямо отсюда. Да что там ехать — одна остановка на метро от «Площади Революции».

Однако, ближе к вечеру, подошел Виктор и сказал, что хотел бы послушать выступление Б. Агапова, который собирается долбать его новую вещь и называет его прозу планктоном. Об этом Некрасова предупредил какой-то доброжелатель.

В принципе такая оценка не была новостью. Некрасова, как это не раз бывало в литературе, чаще всего критиковали за его сильные стороны. Он впитывал жизнь во всех ее подробностях, был ее ценителем, что ли. Он всё подмечал, видел, слышал и бесхитростно хотел поделиться этим с читателем.

После первой книги наиболее удачны у него вещи очеркового плана, **как бы** очерки — об Италии, о Дальнем Востоке. За них его называли печатно «туристом с тросточкой» и как-то еще в этом же роде.

Демократичность его описаний квалифицировалась как бытовизм.

Там, где он начинал писать **художественно**, выдумывать психологию, он сразу терял. Но живые, жизненные детали оставались, западали. Помню, много было сломано копий вокруг мимоходного взгляда вернувшегося с войны героя, увидевшего на полочке в ванной не одну зубную щетку, а две.

В дальнейшем, в Париже, он утратил эту свою безошибочную точность детали в настроении. Да и не хватало запаса художественной памяти, столь свойственного Ивану Бунину.

А тогда, в фойе Колонного зала, я ответил ему весьма кисло:

— Ну что ж, конечно. Подождем…

Остальные мои гости, я чувствовал, уже испытывали нетерпение, настроились. Но объявляли одного оратора за другим, а обещанного Агапова всё не было.

Наконец не выдержал и Некрасов:

— Было бы чего ждать! Поехали!..

Особняк стоял посреди двора. Нужно было подняться по опасносбитым ступеням, пройти через неухоженную

коммунальную кухню, темный коридор и отворить дверь в наши две смежные комнатенки (9 и 7 кв. м.), но уютные, из другого мира — с книжными полками, горкой, тахтой, письменным столом. Занимая всю первую комнатку, стоял раздвинутый и соответственно накрытый, уже готовый стол, вызвавший ликование гостей, особенно Некрасова.

Инна скромно улыбалась.

Таким образом, я впервые познакомил своих гостей между собой, и, нужно сказать, они очень понравились друг другу.

Сидели поздно, шумно, с удовольствием, но утром как штык были к началу заседания. Тогда это в охотку шло.

Назавтра я спросил:

— Ну, что Агапов? Тебе рассказали?

Он посмотрел с недоумением:

— Наверно, не выступал. Не знаю.

Наконец съезд, к которому мы уже привыкли, окончился, и в Кремле состоялся торжественный прием.

Сейчас это обычно а ля фуршет — стоя, неудобно, но тоже не жалуются. А тогда — настоящий, солидный, **сидячий** ужин, с несколькими переменами блюд, множеством напитков, с официантами за спиною. Что называется, на старый лад.

Столы были нумерованные. Нам с Инной места достались не в Георгиевском зале, а в Грановитой палате — не потому, что я был молод, — рядом с нами сидели и маститые. Мне здесь даже больше нравилось, в близости к другим, под картинно расписанными сводами.

Но по мере течения этого долгого ужина захотелось размяться, встретить кого-то еще, посмотреть, что делается на белом свете. Оставив жену на попечение знакомых соседей, я отправился в путешествие.

Георгиевский зал слепил глаза. Первоначальная торжественность приема была уже нарушена, кое-кто тоже болтался между столами. Слышались шум, смех, чоканье. Мне махали, приглашали присесть, но я удерживался.

У дальней торцовой стены стоял поперек стол президиума. Вернее, не вплотную к стене — за ним еще была возведена эстрада, выступали артисты, шел концерт. Я запомнил Райкина и Рашида Бейбутова.

Выступающие, естественно, находились лицом к залу, а внизу, под ними, спиной к ним, сидели члены правительства. Изредка они поворачивали головы и аплодировали — через плечо. А вообще-то непроизвольно растущий гул огромного зала глушил голоса актеров, посылаемые через микрофон.

Мне хотелось подойти поближе, меня обуяла дурацкая идея:

посмотреть, кто как пьет. Но чем дальше, тем продвигаться было всё труднее, меня выручало только то, что я время от времени подсаживался к знакомым.

Наконец я оказался метрах в пятнадцати от главного стола.

Не помню, был ли Маленков, в середине стола сидел Никита Сергеевич. Каганович не пил, Молотов едва пригубливал, краснолицый Булганин пил маленькими рюмками водку. Микоян — коньяк. Зато Хрущев чередовал то и другое, да еще вдруг налил себе фужер красного вина.

Спич в честь писателей и литературы провозгласил Молотов.

Я двинулся обратно, за Инной. Хотя никто не давал никаких сигналов или рекомендаций, столы неожиданно быстро начали пустеть. Лишь отдельные художники слова проявляли склонность задремать, уронив голову между бутылок. Но и их тоже можно было понять: в кои-то веки попали сюда, в святая святых не только отдаленной, но и самоновейшей истории, и захотелось отметить этот факт от души.

Но им уже помогали те, в чьи обязанности это входило.

И тут мы увидели Некрасова. Он целовался с чехом, толстяком Яном Дрдой, о котором, по его словам, был не самого высокого мнения. Но вот они отпустили друг друга, Дрда пошел в одну сторону, а Виктор остался на месте, похоже, слегка потеряв ориентацию.

Я приблизился к нему и взял его под руку. Он слабо удивился, но выразил полнейшее удовлетворение. Когда мы спускались по широкой парадной лестнице, мне пришлось напрячь руку почти до предела. Инна мужественно держалась рядом.

Потом он долго искал номерок, все же нашел, и бодрый солдатик бросил на стойку гардероба его пальто.

Мы в числе последних вышли на Кремлевский двор. Воротник пальто и рубашки у Некрасова как всегда были распахнуты.

Стоял поздний зимний вечер, хрустел снежок под ногами. Идущие поблизости наши коллеги разговаривали негромко, все еще ошеломленные небывалыми впечатлениями этого длинного дня.

И лишь Виктор Некрасов не снижал голоса:

— Костя! — кричал он. — Да ты не бойся. Что нам эти писатели! Нет, ты скажи! Что нам это правительство! Да ты не бойся!..

На тихом Кремлевском дворе от нас только шарахались. Я по-прежнему крепко держал его под руку.

Звучали ли здесь до этого такие слова? Может, уж очень давно. Что сказать в его оправдание? Что ряд членов тогдашнего

правительства вскоре оказались членами антипартийной группировки?

Он, правда, не подозревал об этом, но ведь — факт.

Мы вышли через Спасские ворота, пересекли по диагонали Красную площадь и расстались у гостиницы «Москва», где я отпустил его руку, и он исчез за дверьми.

Назавтра в Доме литераторов было заседание Правления. Некрасов встретился мне еще на улице.

— Низко тебе кланяюсь, — сказал он серьезно и, действительно, поклонился в пояс. И тут же, засмеявшись, добавил: — Сейчас прошел Василий Семенович Гроссман. Спрашивает: «Кто это вёл вас вчера в Кремле?» Отвечаю: «Ваншенкин». А он: «А я-то думал, охранник».

Дело в том, что на мне была длинная болгарская дубленка, ничуть не являвшаяся тогда модной или престижной вещью, скорее, наоборот.

Он много раз бывал у нас на Арбате. Это была и его трасса: вблизи Киевского вокзала жил Твардовский, на углу Смоленской — работавший в «Новом мире» Игорь Александрович Сац, потом, ближе к началу, мы. Он, гостя в Москве, часто забегал к нам запросто, по дороге, — телефона у нас не было. Иногда Инна заранее приглашала его на обед. Он обычно приводил с собою Саца.

Он вообще имел манеру кого-нибудь с собой притаскивать. Однажды, когда Инна была в отъезде, он заявился с киевским приятелем, плотным, очень компанейским, глядящим выпуклыми добрыми глазами. Это был Миша Пархомов. Как выяснилось, он обладал замечательной способностью к адаптации и скоро был уже своим человеком в домах многих московских писателей.

Не помню уже почему, но в тот вечер оказался у меня и Володя Тендряков. Я, разумеется, их познакомил. Сели ужинать и уничтожили почти все запасы, оставленные мне уехавшей в командировку женой. Тендряков всё восклицал, вскрикивал: — Неужели Инка это сама готовила!

Некрасов восторгался последними работами Тендрякова, и особенно повестью «Не ко двору». Он говорил о том, что у него, Некрасова, очень образованная и много читающая тетя, замечательная женщина, она поклонница Тендрякова, написала ему восторженное письмо, но не получила ответа. Володя обещал эту ошибку исправить.

Через некоторое время Тендряков пожаловался мне при встрече, что он и вправду решил, что тетя образованная, а она пишет слово «шофер» с двумя «ф». Я объяснил ему, что это раньше так писали, на французский манер, и не через «ё», а через

«е», чем снял с его души сомнения.

Тогда в разговоре выяснилось, что по повести «Не ко двору» отснят уже фильм, — правда, он назывался по-другому. Но главное в том, что автора сценария убедили изменить конец и сделать, чтобы герой не уходил из дому.

— Как! — закричал Некрасов. — И ты согласился?

Тот потупился. Некрасов схватил со стола небольшое такое яблочко и в ярости запустил в Тендрякова, но не попал.

Володя даже не обиделся, хотя отличался в ту пору чрезвычайно вспыльчивым нравом. Впрочем, они тут же примирились. Уже в дверях Виктор сказал мне:

— На днях зайду, поедем к Юре. Мы же давно обещали.

Да, Трифонов звал и ждал давно.

И на этот раз Некрасов прибыл с другом, с фронтовым другом, живущим постоянно где-то на Севере и направляющимся отдыхать в зимний Крым. Это был крупный молчаливый человек, уже несколько оглушенный их встречей.

Замечательное это у Некрасова было качество — верность фронтовому товариществу, не формально, а всей душой, всеми печенками.

Война, однополчане, воспоминания в мельчайших подробностях — это в нем сидело. Его тянуло к тогдашним солдатам и к сегодняшним работягам, он испытывал к ним жгучий интерес, растворялся в них, был такой же, как они.

Он мог бы сказать тоже:

Пусть нас где-нибудь в пивнушке
Вспомнит после третьей кружки
С рукавом пустым солдат.

Я потом часто думал: как он там безо всего этого? Конечно, там, в бистро или в кафе, тоже есть, наверное, простые симпатичные ребята, но ведь всё другое, и психология тоже.

Мы тут же вышли на улицу, позвонили из автомата, сели в такси, — их было тогда полно, на каждом шагу, — и поехали.

Трифонов жил на Масловке у своего тестя, старого художника, в специально построенном доме, где помещались и квартиры, и художественные мастерские. Этот дом описан им в позднем рассказе о посещении Шагала. В 1951 году Юра получил за повесть «Студенты» Сталинскую премию и вскоре женился на солистке Большого театра Нине Нелиной. Она, видимо, предполагала, что он и дальше пойдет щелкать премии одну за другой, как тогда не раз бывало. Но у него дело застопорилось,

заколодило, да и другие появились неприятности, он стал сбиваться с тона, но держался, упорствовал.

От того, последующего, настоящего Трифонова, которого все знают, его отделяло почти целых пятнадцать лет.

А пока что жить было негде, Нинины старики уступили им квартиру, а сами устроились в мастерской. Маленькой Олечке было, думаю, года три-четыре. Она до сих пор, или, вернее, с тех пор, называет меня: «дядя Костя».

Наш приезд вызвал оживление: еще бы, знаменитый Некрасов! Нина с матерью накрывали на стол, друг, похоже, уснул в уголке, в кресле, а мы вели беседу об искусстве.

Один наш поэт в телевизионной передаче о Трифонове охарактеризовал его так: «Молчун, думающий валун».

Совершенно неверно — кроме, разумеется, второго слова. Юра был очень остроумен, бывал весел, даже смешлив. А если бы вы видели, как он слегка тяжеловато, но изящно отбивал чечетку!

Разговор сразу повернулся к живописи. Старик блаженствовал: Некрасов прекрасно знал импрессионистов и постимпрессионистов. Трифонов тоже во всем этом неплохо разбирался, он был образован достаточно глубоко и разносторонне. А я вспомнил лекции Тарабукина и тоже вставил словечко о французской живописи, назвав имена Лоррена и Лебрена, чем несколько удивил Некрасова и заставил старика воскликнуть:

— Да, да, конечно! Были такие…

Мы все находились в разной степени готовности к общению, но это сглаживалось естественностью Некрасова.

Зашла соседка, дочь известного поэта и художника, села к столу, заслушалась Виктора, не скрывая своего восторга. Олечку уже уложили в соседней комнате. И вдруг непосредственная Нина издала вопль. Нужно сказать, что в столице было тогда время разнообразного изобилия. Но, как у нас бывает, какой-нибудь дефицит обязательно обнаруживался. Теперь это были апельсины.

Так вот, в стороне, на столике, стояла ваза с апельсинами — для Олечки, наверное, по одному в день. Некрасовский молчаливый друг, желая более активно участвовать в теплой встрече, вынул перочинный нож и один за другим вскрыл все апельсины, взрезал фигурно, в виде раскрывающихся бутонов. Его действия были замечены хозяйкой слишком поздно. А он недоумевал — что же, собственно, произошло?

Потом мы долго прощались. Виктор обнимался со стариком, а соседка безуспешно пыталась выудить у Некрасова его телефон.

Завезли однополчанина к его родственникам, куда-то на Пресню, ночевать поехали ко мне. По дороге Некрасов сказал, что

нужно заехать в магазин, я отвечал, что всё уже закрыто. Тогда он велел шоферу повернуть к Киевскому вокзалу.

На ступеньках стояло несколько забулдыг, внутрь пускали только по железнодорожным билетам. Некрасов крикнул:

— Я лауреат Сталинской премии! — и его, как ни странно, пропустили. Вскоре он появился с тремя бутылками пива.

— Последние, — объяснил он, сев в машину, помолчал и спросил: — Ты слышал?

— Да, — признался я.

Он стал тыкать себя кулаком в лоб:

— Какой позор!..

Я постелил ему на раскладном кресле. Отопление у нас было печное, в тот день я не протопил, и он проснулся утром стуча зубами… Впрочем, это описано у меня в «Набросках к роману».

Он пристрастился ездить зимой в Малеевку — тяга южанина к морозу, к слепящему снежному простору. Прибывал с матерью своей, милой и интеллигентной Зинаидой Николаевной, только недавно вышедшей на пенсию. Он, человек достаточно безалаберный, относился к ней с исключительной сыновней почтительностью и вниманием.

Рядом с Зинаидой Николаевной гулял по дорожке перед фасадом высокий красивый старик, вполне еще прямой и бодрый Иван Сергеевич Соколов-Микитов. Это было время, когда он как раз колебался, пора ли ему уже вешать свое охотничье ружье на гвоздь. Не здесь, разумеется, — у себя в Карачарове.

А Некрасова Володя Тендряков приобщил к лыжам. Тот прежде не знал, что это такое, — только так, со стороны. А тут выбрал ботинки по ноге, и крепления оказались удачные, — и пошел, не оттянешь.

Тендряков, как всегда, много писал, работал зверски и, пробежавшись, оставлял Вику на лыжне одного. И вот выйдешь из лесу и видишь: пашет кто-то по полю, да быстро, ближе, ближе, и вот он, крепкий, жилистый, только пар валит.

Крикнешь ему:

— Пожалей себя! — или что-нибудь в этом же духе, а он уже мимо. От души катался.

Недавно нашел снимки: мы — Некрасов, Солоухин и я — выступаем в близлежащей воинской части. Вика, когда видел солдат, прямо-таки таял. На одной из фотографий он, развернув, держит перед собой только что врученную ему «Почетную грамоту».

В нем сидел огромного заряда интерес — не только к общению, к собеседнику. Он очень много читал, чуть не все.

Порой звонил по поводу прочитанного или присылал телеграмму. Впрочем, в стихах он не слишком разбирался. Иногда просил Твардовского высказать мнение о том или ином стихотворце. На вопрос, как пишет один и ныне здравствующий, нравящийся Некрасову поэт, Твардовский ответил:

— Как все!

Вика, смеясь, мне об этом рассказывал.

Что же касалось прозы, здесь ему не требовалось консультаций. Вот открытка.

«17/VI-62.
Привет, Костя, из жемчужины Крыма — Ялты.
Жалеем, что пьем без тебя.
От души радуемся твоей прозе. Ей-богу, хорошо!
Как оно там в Варшаве? Как бимбер? С кем пил?
Не забывай.

Вика».

Тут же еще и другие приложили руку. Ниже: «Миша» (это Пархомов). А внизу — уже слегка дрожащим почерком:

«Привет и от меня тоже! З. Некрасова».

Типичный Некрасов: хочет похвалить, но, словно смущаясь и не желая выглядеть мэтром, тут же снижает, переходит на пресловутый «бытовизм».

Речь идет о моей повести «Авдюшин и Егорычев» («Новый мир», № 5 за 1962 г.). Варшава упоминается в связи с тем, что я там был в составе делегации в мае того же года.

Сколько людей было всегда вокруг него — тянулись встречно: Хуциев, Шпаликов, молодые артисты.

Когда снимался фильм по «Окопам Сталинграда» (название было другое), он по своей непоседливости и дотошности тоже часто крутился в группе. На первом же черновом просмотре обратил внимание на артиста, исполняющего роль Фарбера. Тот играл потрясающе точно и правдиво. Спросил у режиссера — фамилия ни о чем не говорила. Это был Иннокентий Смоктуновский.

Я уже упоминал: он любил писать письма — вероятно, особенно когда не писалось другое. Так вот. Моя дочь художница, рисует с детства. Однажды, — мы давно жили в другом месте, — он начал внимательно рассматривать ее рисунки, помещенные за стеклами книжного шкафа. Ей было тогда, наверное, лет двенадцать или меньше.

— Послушай, — спросил он, — почему они у тебя все такие грустные? Ты что, грустная?..

— Нет, — ответила она беспечно, — я не грустная, это жизнь такая…

Через какое-то время, может быть, через год, меня как-то познакомили с Виталием Семиным.

— О! — воскрикнул он живо, услышав мою фамилию. Я грешным делом подумал, что он хочет что-то сказать о моих стихах. Но у него было совсем другое:

— Мне о вас Виктор Платонович писал. Ведь это ваша дочка сказала: «Я не грустная, это жизнь такая»?..

Потом мы стали встречаться реже, только случайно. Без всякой видимой причины, просто так. В нем уже не наблюдалось той его шумной открытости. Всё шло как-то туго, в Киеве у него были неприятности. Некоторые, слышал, советовали ему перебраться в Москву. Но и здесь у него рассыпали набор двухтомника, да и слишком он был киевлянин.

В одну из годовщин массового расстрела он пришел в Бабий Яр. Там клубились толпы народа, никто к ним не обращался, и он взял это на себя. Он обещал людям, что здесь будет мемориал, памятник и всё, что этому месту подобает. Потом им были недовольны. А ведь всё случилось, как он говорил, да и могло ли случиться иначе!

Об его отъезде жалели многие. Я думаю, не ошибусь, если скажу: литература жалела. Еще в 1975 году в Минске на совещании, посвященном тридцатилетию Победы, Василь Быков сказал с трибуны о том, как много значит для всей литературы о войне книга Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда».

Сейчас Некрасова нет, но ясно, что книга эта осталась, ясно, что и останется. Несокрушимая сила искусства, как всегда, перевешивает. Тем более что в лучших его творениях столько света и добра!

Москва, 1988.

Гладилин Анатолий
Последние дни

Впервые Говоров заподозрил что-то неладное, когда Виктор Платонович отказался поехать в Шотландию. Приглашает университет, всё оплачивает, интересно, но не хочу. Это было так не похоже на Вику, обычно он пользовался каждым удобным случаем, чтобы сбежать из дому, особенно в путешествие за

казенный счет. Может, подумал Говоров, для Вики после Австралии, Новой Зеландии, Японии и Бразилии Шотландия кажется близкой и скучной провинцией, вроде Курской области, а может, начинают сказываться годы? Все-таки Вика в возрасте, когда мелькание пейзажей за окном утомляет.

Впрочем, он даже был рад, что Вика остался в Париже. Ведь теперь каждый номер «Нового мира», «Знамени», «Дружбы народов» и других толстых советских журналов приносил сенсацию. Печатались «Белые одежды» Дудинцева, «Ночевала тучка золотая» Приставкина, рассказы Битова, ожидались «Дети Арбата» Рыбакова. Если раньше Говоров требовал, чтоб ему, как главному куратору (или чтецу, как хотите) советской прессы, добавляли молоко за вредность, то нынче журналы рвали из рук, за ними выстраивались очереди. Если Говоров не успевал первым распечатать конверт с «Огоньком» и припрятать журнал в стол, то «Огонек» бесследно исчезал, испарялся в воздухе. Концов не найдешь, хоть полицию с розыскными собаками вызывай. И это «Огонек», который при Софронове можно было заставить читать разве что по приговору народного суда! Пришлось Говорову завести железный ящик, складывать туда журналы и запирать на ключ.

Обозревать, комментировать советские журналы стало одним удовольствием, и Вика был идеальным партнером для таких бесед.

Как и следовало ожидать, многие на Радио, особенно авторы из парижской «Вселенной», встретили горбачевскую политику в штыки, считая ее обманом, надувательством и пылью в глаза доверчивому Западу. Виктор Платонович и Говоров заняли иную позицию: если в экономике мало надежд на положительные сдвиги, то в искусстве, особенно в литературе, результаты налицо, число ранее недозволенных, невозможных публикаций растет, как снежная лавина, поэтому перестройку надо всячески поддерживать и приветствовать. В Гамбурге у них был союзник, Сережа, зав. культурной редакцией. Говоров и Сережа старались заказывать рецензии тем авторам, чье мнение они могли предсказать заранее. Самые интересные вещи предлагались Вике. Так постепенно менялась политика Радио.

Однажды Толя с мрачным видом заглянул к Говорову.

— Андрей, пойди послушай, что Платоныч натворил.

Говоров утром подписал скрипт Вики «Обзор „Нового мира“». Всё было в порядке. Наверно, у Шафранова очередной приступ усердия, когда Толя начинал вырезать малейшие паузы, крошечные запинки. Цель — доказать, как он горит на работе. Но для «горения» Толе требовался зритель, иначе — кто же оценит.

Говоров вздохнул и пошел в студию.

Прослушав пленку, он понял, что дело — швах. Вика читал с трудом, не выговаривал слова, голос срывался. Толя прав, в таком виде передачу нельзя пускать в эфир.

— Мы отдыхали, я поил его чаем, он перечитывал фразы… — Толя словно оправдывался. — Я думал, что вытянем… Но сам видишь.

Говоров вспомнил: утром Вика показался ему больным — глаза слезились, много кашлял. Но раз Вика ничего не сказал, Говоров решил, что это от перекура.

— А не съездил ли Вика втихаря «в Гонолулу»?

«Съездить в Гонолулу» — означало, что Виктор Платонович позволил себе маленький запойчик. Лет пять тому назад Вика был в отключке, а в Гамбурге потребовали его передачи. Тогда в редакции кто-то предложил: давай скажем, что Платоныч уехал в Гонолулу. С тех пор этот термин прижился…

Шафранов отрицательно покачал головой:

— Уверен, что нет. Ведь врачи категорически запретили ему пить.

— И курить тоже.

— Но Вика сегодня мне похвастался, что идет на побитие мирового рекорда: полтора года на сухом законе.

— А пиво?

— Пивом, конечно, иногда балуется.

Говоров набрал номер Вики. Трубку подняла Галя, жена В. П.

— Андрюша, я как раз собиралась тебе звонить. Уговори Вику вызвать врача. Несколько дней он какой-то не такой… Он прилег. Если не спит — позову.

— Ну что, начальничек, — спросил Вика бодрым голосом, — Галка тебя накрутила?

— Нет, невинный вопрос. Ты случайно вчера не погулял по пиву?

— Комиссару по трезвости товарищу Говорову отвечаю: к сожалению, не гулял. Пил, как последняя сука, минеральную воду. А давно надо бы пропустить сто грамм с прицепом, потому что ты из меня пьешь кровь стаканами, загнал старика, заставляешь работать и работать.

— Заставляю зарабатывать деньги, — машинально ответил Говоров. Его поразило, как за время произнесения нескольких фраз утончился Викин голос, перешел в срывающийся фальцет, тот, который был слышен на пленке.

— Викочка, на этот раз я прошу тебя не работать. Сегодня ты плохо читал. Не волнуйся, мы зачтем этот скрипт в зарплату. Возьми бюллетень. Придешь через неделю — перечитаешь.

Отдохни, Вика.

Наверное, Говоров пережал. Вика почувствовал, что его жалеют, и взбеленился…

— Вика, ты сначала реши, кто ты — Зоя Космодемьянская или Александр Матросов.

— Почему? — заинтересовался Вика.

— Потому что ты одновременно хочешь ходить босиком по снегу и закрывать грудью пулеметы. Не беспокойся, в жизни всегда есть место подвигу.

Говоров удачно сменил тон, и разговор наладился. Вика сказал, что он просто немного устал. Вот и прекрасно, завтра по почте я пришлю тебе журналы и свежие газеты. Сиди, читай, выбирай темы. Только вызови врача. Пусть оформит бюллетень. Бюллетень мне нужен для Беатрис, тогда ты ничего не потеряешь в зарплате. Смотри телевизор и радуйся жизни. Когда придешь в бюро, мы спустимся в кафе и я ставлю пиво. Зажмешь, сказал Вика. Клянусь, ответил Говоров, вот тебе крест на пузе.

Вика не пришел ни через неделю, ни через месяц. Больше никогда он не появлялся в бюро.

* * *

В хорошем застолье у Говорова была любимая новелла про Виктора Платоновича:

В. П. приезжает в Женеву к друзьям — писать книгу. Друзья, швейцарцы русского происхождения, выделяют В. П. самую большую комнату, приносят утром горячие круассаны, подают кофе, ходят на цырлах, не смеют дышать — писатель работает. Условия лучше, чем в любом советском доме творчества. В. П. с вдохновением отмахивает страниц пятьдесят. Однажды за ужином В. П. распивает с хозяином бутылку вина. Хозяин в восторге: В. П. такой прекрасный собеседник, знает кучу смешных историй! Утром В. П. исчезает из квартиры и появляется лишь вечером, пошатываясь, но еще бодрый. Серия рассказов продолжается, правда, хозяин только успевает открывать бутылочки с пивом. На третий день энтузиазм хозяина улетучивается: В. П. в мрачном настроении лежит на кровати, ничего не ест, потягивает из горлышка коньяк. Хозяйка в панике звонит в Париж жене В. П. Галя в ужасе: все признаки того, что В. П. «едет в Гонолулу». Галя дает категорическое указание: убрать из квартиры всё спиртное. Напрасно В. П. шарит по буфету и холодильнику — там лишь молоко, соки, лимонад и прочая мерзость. Тогда В. П. нетвердыми шагами направляется прямиком в ванную. Очистить

ванную комнату швейцарцам в голову не пришло! Методично В. П. опустошает запасы райских напитков — одеколон, туалетную воду, лосьон, духи, лак для ногтей. Потом в прекрасном расположении духа садится к телефону и, пользуясь автоматической связью, обзванивает пол-Москвы. Особенно оживленно происходит разговор с Юликом Кимом. После обмена новостями и объяснениями во взаимной любви (у В. П. это звучало так: «Умираю, соскучился по тебе, з…….») В. П. упрашивает Кима спеть несколько новых, а потом несколько старых его песен. Ким поет, В. П. на другом конце провода подпевает. В соседней комнате хозяйка в третий раз стаскивает хозяина с табуретки, ибо тот уже намастырил петлю и упорно пытается повеситься: после такого телефонного счёта не только семейный бюджет — швейцарский банк лопнет.

— И что вы думаете? — спрашивал Говоров. — Швейцарцы, которые готовы удавиться за каждый свой твердый франк, рассорились с В. П., отказали ему от дома? Куда там! Остались лучшими друзьями, зовут к себе, ждут не дождутся, когда В. П. снова осчастливит их своим посещением.

Гости (когда-то у Говоровых бывало много гостей) обычно сползали под стол, а Вика, участник подобных сборищ, жмурился и невозмутимо повторял:

— Про лак для ногтей — перебор, это, Андрюха, твоя чистая писательская фантазия!

Может, фантазия, хотя Сима Маркиш, преподававший в Женевском университете, клялся, что так оно и было, и подозревал, что В. П. употреблял лак не в состоянии беспамятства, запойной горячки, нет, это был акт протеста или злостного хулиганства — дескать, раз вы так со мной, то я так, и не смейте мне запрещать, меня спасать, беречь мое здоровье — сам разберусь, давно вышел из пеленок.

Вика всегда удивлял Говорова полной свободой своего поведения. Казалось, в характере Вики вообще отсутствует понятие «должен», которое давило на Говорова и определяло его поступки. Вика делал то, что хотел, тогда, когда ему было удобно, писал то, что хотел (и писал много, легко, не мучаясь), встречался с теми, с кем хотел встречаться (для него не существовало обязаловки, мол, иначе люди обидятся. Обидятся — черт с ними!). Весь ритуал ответных визитов, ответных звонков, необходимых присутствий Вика откровенно презирал. И ему не только прощали то, что никогда бы не простили другим, его все, за исключением активных подонков с больным самолюбием, любили. Видимо, люди чувствовали, что в тот момент, когда Вика с ними, это не вежливость, не отработка номера, нет, они ему

действительно интересны. Вика не суетился, не налаживал связи, не устраивал жизнь, но у него была квартира в Женеве (тех самых швейцарцев), куда он мог приезжать, запереться и работать; вилла на Лазурном берегу (принадлежавшая бывшему французскому послу, но всегда в распоряжении Вики); за Вику хлопотали доброхоты, устраивали ему выступления в Америке, поездки за моря и океаны; когда Вика болел или «путешествовал в Гонолулу» (последнее время все реже и реже), вокруг него сама собой сплачивалась команда спасателей; у Вики был свой госпиталь (около Нанси), свой личный русский врач…

Вот этот врач и позвонил Говорову через пару недель после того, как Вика лег к нему в больницу на обследование.

— Мы сделали всё, — сказал врач, — всё возможное и невозможное, мы будем его лечить, проведем курс интенсивного облучения, но будьте готовы к тому, что **это** может случиться в любой день, лично я даю ему срок не больше трех месяцев…

— Он паникер, — ответил Савельев. — Он и мне звонил, всему Парижу раззвонил. Ты был еще в Москве, когда здесь враги приговорили Вику к смерти. А он выкарабкался. Я верю в Платоныча. Он выберется и на этот раз.

— На что они будут жить? — спросил Говоров. — Я не уверен, что он в скором времени сможет работать.

— А вот теперь мы запустим твой вариант, который ты давно предлагал. Сделаем Вику консультантом с постоянной зарплатой. Солдат спит, служба идет.

— Ты думаешь, в Гамбурге поймут? — усомнился Говоров.

— Я думаю, что только такие вещи американцы и понимают.

* * *

Раньше Говоров плутал в лабиринтах Ванва, теперь маршрут был освоен наизусть. И ритуал тоже. В девять вечера Говоров подъезжал к многоэтажному корпусу, где жил В. П. От дальней, освещенной высокими уличными фонарями двери отделялась фигура, и Кира спешила навстречу, чтобы взять Вику под руку. Мелкими шажками, — то нагоняя свои тени, то обгоняемые ими, — Кира с Викой приближались к машине. Тем временем Говоров как бы одевал маску: деловая озабоченность? Да! Дружелюбие? Естественно! Внимательность? Конечно! Но никакого болезненного сочувствия Вика не должен был заметить на его лице. Говоров не должен был подниматься за Викой в его квартиру («сцены у постели не будет», — раз и навсегда отрезал

В. П.), не должен был помогать Вике пересечь двор («я до Парижа сам добираюсь, не инвалид»), однако от Кириной поддержки Вика не отказывался. Кира сразу находила какие-то ничего не значившие, но ласковые слова, и на заднее сиденье они забирались, как два воркующих голубка. «На порт Версаль, шеф!» — говорил Вика, как давал приказ таксисту, и они колесили по темным парижским пригородам, пока не врывались в огни Версальских ворот, и тут, у кафе с прыгающими разноцветными лампочками, Говоров тормозил. Кира осторожно выводила Вику из машины, а Говоров рулил дальше и поисках стоянки.

Припарковавшись, Говоров не торопился в кафе, делал круг по ближайшим переулкам, якобы, как он объяснял Вике, проветрить голову — на самом деле проверял, прочно ли прикипела маска. Ведь недавно Говоров чуть не сморозил глупость, с его языка чуть не сорвалась фраза: «Скоро на этом кафе вывесят мемориальную доску», — в последний миг он спохватился, проглотил слова, даже покраснел. Впрочем, Говорова особенно и не ждали. Вика явно предпочитал общество Киры, она была для него идеальным собеседником, все старые байки про Корнейчука и Соколова-Микитова выслушивались с неподдельным вниманием, они ее искренне развлекали. Говорову казалось, что Кира разговаривает с В. П., как с Денисом, — о чем бы ни болтал Денис, для Киры это было важным.

При появлении Говорова Вика заказывал еще пива. Официанта В. П. подзывал несколько по-барски (в Париже официанты отвыкли от такого обращения), но молодой испанец (или бразилец), нисколько не обижаясь, отвечал колкими шуточками, взамен получал такие же — и с официантом у Вики был свой, особый, контакт, официант как должное принимал манеру поведения В. П.

Говоров извлекал из чемоданчика свежую советскую прессу. Разговор переходил на профессиональные рельсы. Теперь Говоров чувствовал себя в своей тарелке, будто, как раньше, они сидят в редакции и совместно намечают для Вики темы дальнейших выступлений по Радио. «Это я никому не отдам, оставляю за тобой, как сможешь — сделаешь два скрипта». — «Андрюша, будь спокоен, как кончат меня облучать, с удовольствием напишу». И тут не было игры или притворства ни с чьей стороны — В. П. был уверен, что, как соберется с силами, напишет, а Говоров — что рано или поздно получит этот материал. Кончалась публикация «Детей Арбата», и В. П. с нетерпением ждал последних номеров «Дружбы народов». Как только журнал приходил в редакцию, Говоров прочитывал его за вечер и на следующий день сам доставлял Вике или передавал через Савельева и Шафранова,

тоже встречавшихся с В. П. в том же кафе. О романе Рыбакова спорили в редакции, и отголоски этой дискуссии вспыхивали за столиком у Версальских ворот. В который раз мнения В. П. и Говорова совпадали: роман написан так себе, но образ Сталина очень интересен, особенно для советского читателя, в этом и основная ценность «Детей Арбата». Ну, Савельев и Шафранов — максималисты, требуют от советского писателя невозможного, мы-то с тобой были советскими писателями, помним всю обстановочку. А никто из «Вселенной» не прорезался, сам Лева Самсонов голос не возвысил? Прорезались, но я сказал, что «Дети Арбата» за тобой. Товарищ Самсонов, разумеется, свой руководящий голос возвысил. Четко выразился в том духе, что Рыбаков написал роман по заказу КГБ, дескать, теперь у них такая установка. Даже ко всему привыкший Боря принес мне его скрипт несколько потрясенный. Я выбросил его в корзинку. За что люблю Леву, так это за постоянство. С ним никаких неожиданностей. Я о Рыбакове сделал беседу с Мишей. Он против романа, но он профессор-историк, у него серьезные аргументы. Побил он тебя? Не думаю, в конце концов, у нас свободная трибуна. Вот я приступлю к работе, и мы вернемся к этой теме.

И, обсуждая так редакционные дела, Говоров всё больше убеждал себя, что, конечно, врач — паникер, вышел же Вика из больницы, вон как у него прекрасно работает голова, ну да, слабость, но это от облучения, курс скоро кончится, Вика выкарабкается, иначе быть не может, иначе это нелепость, глупость, бред собачий!

Иногда вдруг голос Вики срывался, на глазах выступали слезы. Вика вытирал лицо платком, закуривал, круто матерился.

— Извините, ребята. Мучают меня врачи. Говорят, осталось месяц терпеть. Потом заживу как человек.

И тогда Говоров думал, что если советские товарищи увидят В. П. в таком состоянии, то кто-нибудь непременно напишет, мол, плакал В. П. от тоски по Родине, затюканный нищетой и эмиграцией. Неужели не поймут, что слезы — от боли, от физической немощи, от того, что тело твое перестает тебе подчиняться? Но мысль, что Вика мог плакать в предчувствии смерти, Говоров начисто отметал: не знал В. П. диагноза своей болезни и был уверен, что проживет до ста лет.

А если знал, да только вида никому не показывал?..

Упрямо, вопреки всем медицинским рекомендациям, просиживал В. П. почти каждый вечер в кафе у Версальских ворот. Потом это место ему надоело, устроил себе вечернюю «резиденцию» на Монпарнасской площади. Чаще всего на свиданку к В. П. приезжали молодые ребята, Сережа и Женя. В. П.

нравилось, что ребята общаются с ним запросто, без подобострастия и сюсюканья, принимают за своего. Не забывали В. П. Савельев и Шафранов. Бывали там его старые друзья из Москвы. А вот из «Вселенной» никто ни разу не появился.

Плотно опекал В. П. его приемный сын Витя. Привозил в кафе и отвозил домой. Возникал в середине вечера, как бы проверяя. Шутил:

— Ну что, старый Мазай, разболтался в сарае?

Исчезал куда-то, возвращался к одиннадцати, заказывал себе пива, смотрел на часы:

— Напозволяли себе, Платоныч, ох, напозволяли. Ладно, погуляли, и хватит.

В. П. соглашался, не капризничал. Он и впрямь уставал к этому времени. Витя вел его к машине, слегка поддерживая плечом.

Это то, чему свидетель был Говоров. Наверно, так происходило и в другие вечера. Во всяком случае, Говорову хотелось, чтоб когда-нибудь Денис так же заботился о своем отце.

* * *

Гамбург, после письма Бориса Савельева и бесчисленных переговоров с Парижем, утвердил для В. П. должность консультанта. Говоров присутствовал при последнем разговоре, когда всё уже было подписано и Боря благодарил какого-то высокопоставленного американца за чуткость и внимание к больному русскому писателю. Как бы между прочим, Борис сказал:

— Вы же понимаете, что, в сущности, это формальность, на несколько месяцев…

Говорова неприятно кольнули эти слова, но он решил, что Борис прав, с американцами так и надо, пусть думают, что дешево отделались. Теперь В. П. получит зарплату за все месяцы болезни, а дальше будет, не напрягаясь, что-нибудь пописывать или комментировать. Раз ставку выбили — ее не отберут. Вика прошел Сталинград, тяжелое ранение в Польше, две серьезнейших операции, где ему пророчили смертельный исход. Вика — везунок, у него железный организм. Он подмигнет и покажет фигу врачам, а гамбургская бухгалтерия может повеситься в полном составе от тоски и перерасхода фондов.

Потом прошло две недели, когда Говоров был абсолютно замотан личными делами и Вику не видел.

Однажды вечером Кира предложила:

— Давай подъедем на Монпарнас.

— Ты уверена, что он в кафе? Может, позвонить домой, проверить?

— Не надо. Если не застанем, будет у тебя повод для прогулки.

Все столики внизу были заняты, к стойкам прилипла публика. Они поднялись по лестнице в верхний зал. Пустыня, освещенная блеклым светом ламп с красными пластмассовыми абажурами. И лишь в углу, спиной к ним, сидел человек в старой выцветшей ковбойке, знакомый коротко остриженный затылок. Человек читал «Литературную газету». На их шаги человек обернулся. У него было совершенно мертвое лицо.

— Ребята, — сказал Вика, — вы приехали? Вы приехали! Отвернитесь, я сейчас вставлю челюсть, приведу себя в порядок.

Они позвали официанта, что-то заказали, начались тары-бары-растабары. Потом, сославшись на головную боль, Говоров отлучился минут на двадцать сделать круг по улицам. На самом деле ему нужно было время осознать очевидную истину: **это** не только возможно, **это** неотвратимо. И еще он понял, что не хочет видеть Вику таким, пусть навечно в его памяти В. П. останется прежним. Говоров понимал, что этой мыслью ни с кем не поделишься, выглядит не очень красиво, и постарался загнать ее куда-то под ворох первейших дел и обязанностей, что крутились в его голове.

Вернувшись, он увидел, что у Вики оживленные глаза, и вообще, кажется, всё нормально. Говоров малодушно поспешил отогнать мрачные предчувствия. Мало ли что померещилось? Вечер покатился по привычному кругу. К одиннадцати возник улыбающийся Витя. Расставались с шутками. Договорились почаще встречаться…

Вскоре Вику опять положили в больницу на обследование, и Говорову это показалось разумным и естественным — поближе к врачам, так спокойнее.

Первого сентября, листая советские газеты, Говоров обнаружил в «Московских новостях» статью писателя Вячеслава Кондратьева. Кондратьев писал, что книги В. П. входят в золотой фонд советской военной литературы, и надеялся на их скорейшее переиздание в Союзе.

В кабинете Говорова собралась вся русская редакция. Газета переходила из рук в руки. Праздник! Впервые с момента эмиграции В. П. о нем хорошо отозвалась советская пресса. Говоров сделал одобрительный комментарий к статье Кондратьева и послал корреспонденцию по телефону в Гамбург — пойдет в сегодняшней программе. Кто отвезет «Московские

новости» в больницу к Вике? Толя Шафранов вызвался поехать сразу после работы.

Говоров чувствовал, что надо бы ему самому. Ведь он не был у Вики с того вечера.

— Поздравь Вику, — сказал Говоров Шафранову, — и передай от меня, что я замотался, но обязательно навещу его на днях.

Утром Шафранов рассказывал, как радовался Вика, даже заплакал. Просил не забывать, привозить побольше советских журналов и какого-нибудь легкого чтива. Желательно Сименона.

На следующий день, третьего сентября, Вика умер. Последние слова он успел сказать сыну:

— У меня ощущение, что я ударился мордой об пол…

Париж, 1989.

Глазов Григорий
…Оставались людьми

Был конец сороковых. Два года как закончилась война. В будни и в праздники еще носили единственную, но привычно-удобную одежду — гимнастерки, сапоги. Еще вольно, необесцененно и незастенчиво позвякивали ордена и медали на груди. Появились первые книги о войне. Но в них покуда не была сказана та правда, которая потом придет, как исповедь, и отверзнет людям очи при чтении обжигающих повестей Василя Быкова, Григория Бакланова и иных авторов «лейтенантской» прозы.

Между тем многие из нас, и сочинитель этих заметок в том числе, не догадывались или не понимали, что уже высоко поднята планка, на которую потом, корпя над своими рассказами, повестями, романами, будем задирать голову: как достичь? Этой планкой уже стала в ту пору книга «В окопах Сталинграда». Автором ее был Виктор Некрасов. Кто мог думать тогда, что лучшие книги о войне выйдут из «Окопов Сталинграда»?

Повесть эту я прочитал тогда же, особого впечатления она на меня не произвела по странной аберрации души. Значительно позже я понял, в чем дело: книга была о нас, о той окопной правде, которой я насытился по горло, которую знал, испытав на собственной шкуре, а мне, только-только смывшему с себя грязь траншей и бездорожья, повесть эта снова напоминала то, что я хорошо знал. «Я бросаю гранату наугад вперед, во что-то чернеющее. Бросаюсь рывком. Чувствую каждую мышцу в своем теле, каждый нерв. Мелькают в темноте, точно всполохнутые птицы, фигуры. Отдельные выкрики, глухие удары, выстрелы, матерщина сквозь зубы. Траншея. Осыпающаяся земля. Путаются под ногами пулеметные ленты. Что-то мягкое, теплое, липкое… Что-то вырастает перед тобой. Исчезает…» Всё знакомо. Зачем же мне всё это опять? Хотелось иной правды — парадно-романтической, мы жаждали отвлечься от крови, смертей, тяжкого окопного быта, жаждали красивой сказки. И потому первые книги о войне с полуправдой деталей и ложью мыслей и чувств героев были милы разуму и сердцу, еще не начавшим тосковать по той трудной юности, которая осталась для одних в окопах Сталинграда, для других — по иным городам и весям лежавшей в развалинах страны и дальше — за ее пределами. Еще свежа была радость, что вернулся живой, качала на своих волнах эйфория Победы, воспринималось только то, что совпадало с таким настроением души…

Я думал об этом, не без повода вспомнив те наивные ощущения спустя почти двадцать лет, стоя у львовской гостиницы «Интурист» в ожидании автобуса, в котором должен был приехать Виктор Некрасов.

Накануне вечером из Киева позвонил писатель Михаил Пархомов:

— У меня к тебе просьба: во Львов автобусом поехал Вика Некрасов. Кажется, с какими-то спортсменами. Оказия. Ты встреть его, найди, покажи город. У него во Львове никого нет. Проследи, чтоб всё было в порядке. Он на сутки.

— Но я с ним не знаком, — заколебался я, не очень представляя себя в роли опекуна человека, чье имя гремело по всей стране, чья писательская слава заслуженно и прочно была утверждена книгами, в адрес которого вместе с тем летела официальная ругань с газетных полос, несмотря на то, что для миллионов людей Виктор Некрасов стал символом писательской совести и гражданского мужества. — Он может меня послать… — еще раз усомнился я.

— Не пошлет… Познакомишься. Он знает про тебя, — сказал Пархомов.

— Как я его узнаю?

— Худощавый, смуглый, черные усики, в ковбойке, галстук не носит…

В общем — звонок как звонок, ничего необычного в просьбе оказать внимание человеку, который впервые едет в город, где у него никаких знакомых. И все же, как я догадался, была и причина для беспокойства у Пархомова, дружившего с В. Некрасовым с предвоенных лет и много рассказывавшего мне о своем приятеле как о человеке веселом, компанейском, легко, может быть, даже слишком, шедшим на знакомство с разными людьми, нередко корыстно пользовавшимися широтой его натуры, доброжелательностью и отзывчивостью. В силовое поле его характера, как стружка на полюса магнита, налипали пожилые и юные, искренние и недобрые, единомышленники и провокаторы. Кое-кто из этих «доброжелателей», как я понял из разговора с Пархомовым, увязался за Некрасовым и в эту поездку. Именно от них просил меня Пархомов уберечь его известного друга…

Я узнал его сразу, едва автобус припарковался в переулке за «Интуристом» и из створчатых дверей автобуса начали выходить спортсмены. Он выделялся по возрасту и облику — человек с тонкими усиками над губой, смуглый, узколицый, в вылинявшей ковбойке, в серых брюках, пузырившихся на коленях, и в стоптанных сандалиях.

— Виктор Платонович! — окликнул я, подходя.

— В чем дело? — резковато спросил он, разглядывая меня пытливыми, воспаленными от усталости глазами.

Я назвался.

— А, это ты! — он протянул руку, сухую, сильную, представился: — Вика.

Разница между нами была в четырнадцать лет. Я не представлял себе, как смогу обратиться к нему «Вика». Но он как бы устранял всё это, легко и естественно переходя на «ты», ненарочито приглашая к этому других. В нем было естественно всё: короткая стрижка с челочкой, очень неприметная одежда, манера общения. Никаких вещей он не имел.

— Куда пойдем? — спросил сразу.

— Может, позавтракаем? — предложил я, не сомневаясь, что с этого положено начинать, дабы проявить гостеприимство. — В Стрыйском парке есть ресторанчик.

— Ладно, веди. А знаменитое львовское пиво там есть? Пить хочется. — Он оглянулся: приблизились два патлатых парня, выскочивших из автобуса. — Я с приятелем, — обратился он к ним. И уже мне: — Пошли?

Проблема была решена…

Мы двинулись по городу. Шли медленно. Он разглядывал здания, иногда отступая с тротуара на дорогу, задирал голову, чтобы охватить взглядом заинтересовавший его дом или какие-нибудь детали. Я понимал: как архитектор, он любовался профессионально, оценивал, сравнивал. Иногда бросал едкое замечание, крепкое словцо.

— Какой ж… пришло в голову влепить сюда эту витрину? Дамские ночные рубашки под такие волюты?! Это же восемнадцатый век!

Мы уже были на полдороге, когда он вдруг спросил:

— Почтамт далеко? Нужно маме позвонить.

Я удивился, с какой серьезностью произнес это далеко не молодой и не слывший сентиментальным человек. Много позже я узнал, как он дружен с матерью, как заботлив, предупредителен, галантен, с каким добрым юмором выслушивает ее просьбы и наставления, исполняет прихоти не очень терпимой, старомодной в хорошем смысле женщины…

После почтамта я предложил сесть на трамвай — до Стрыйского парка было не так близко, но Некрасов настоял идти пешком — хотел видеть город, о красоте которого был наслышан. У входа в парк, не выдержав зноя, остановились у желтой бочки на колесах с надписью «пиво». Выпили по кружке, не спеша, покуривая, разговаривая…

Столики в парковом ресторанчике были под открытым небом, над ними провисала выгоревшая ткань зонтиков. Мы взяли что-то поесть, от водки В. Некрасов отказался — жарко, сказал:

— Давай еще пива, а? Воблы бы, — и рассмеялся. — Приедешь в Киев, какую-нибудь тараньку найдем.

Речь его была проста, в ней напрочь отсутствовало желание и потребность изъясняться литературно. Первое впечатление о человеке врезается в память особо. Потому, быть может, и запомнилось, что даже о вещах серьезных говорил он языком бытовым, я бы сказал, языком улицы, не чурался сленга, послушать со стороны — могло показаться, что этот небрежно одетый мужчина и есть «человек улицы»…

Потом мы шли по парку, по полого поднимавшейся аллее, он часто останавливался, чтобы прочитать надпись на табличке с названием породы дерева или кустарника и говорил о парковой архитектуре старых русских усадеб, Англии и Франции. В его простую речь легко, непринужденно входили классические термины и названия из высокого штиля, необходимые для предмета разговора, он тонко отмечал детали, составлявшие в целом красоту того, о чем шел разговор. Не просвещал меня, а рассказывал как бы для своего удовольствия о различиях во французских и английских принципах парковой архитектуры.

Так мы поднялись к выходу на Стрыйскую улицу, и тут я привлек его внимание к еще одной городской «достопримечательности» — недавно воздвигнутому монументу Славы. Это — стена из черного мрамора с барельефным изображением почти в человеческий рост отдельных моментов из истории Советской Армии. Перед стеной рядышком застыли две гигантские скульптуры — солдат в каске и молодая женщина.

В. Некрасов долго смотрел на эти циклопические существа, выражением своих лиц, вернее, полным его отсутствием, безмыслием в позах, — они торчали, как на плацу, — не взывавшие ни к мысли, ни к чувству. Ни к радости, ни к скорби. Фигуры просто подавляли своими размерами.

— Как можно было во Львове, с его архитектурой, ставить таких мастодонтов! — покачал головой В. Некрасов. — Они же бесполые! — Худощавое лицо его стало злым, глаза еще раз обвели весь монумент, как бы удостоверяясь напоследок, что он прав в своей оценке.

Он что-то еще сказал о времени, в котором только и могло возникнуть подобное направление в скульптуре. И тут же начал читать стихи. Тогда я запомнил лишь отдельные строчки. Сконфуженный, будто я был создателем этого монумента, даже не спросил его, кто автор этих стихов. Года через два или три

ленинградская поэтесса, ныне покойная, Елена Рывина прислала мне эти стихи с просьбой не распространять, дабы у автора не было неприятностей. А написал их прекрасный поэт-ленинградец, в ту пору еще молодой и, слава Богу, ныне здравствующий и широко печатающийся Александр Кушнер. С его любезного разрешения привожу стихотворение полностью:

У парка культуры в простенке,
борясь молчаливо со злом,
спортсмены стоят и спортсменки.
Тот с парусом, этот с веслом.

И видно, что мощное тело
гораздо важней головы.
Кто каменных вас понаделал?
И что означаете вы?

Когда-нибудь лет через тыщу,
споткнувшись о каменный пуд,
потомки такую бабищу
из праха на свет извлекут.

Неправда, мы были иными —
и легче, и тоньше, пойми!
Нас сделать хотели такими,
а мы оставались людьми!

Пешее путешествие по Львову мы заканчивали под вечер. Некрасов был неутомим. Он ничего не записывал, отказался, когда я предложил купить путеводитель, снабженный иллюстрациями и хорошим комментарием к ним знатока Львова, искусствоведа Г. Островского.

— Где мы еще не были? — спросил В. Некрасов, улыбаясь и утирая ладонью капельки пота со лба. — Или устал уже? — посмеивался, как человек, привыкший в своих путешествиях помногу ходить самостоятельно, выискивая для себя что-то важное, незнакомое, но очень нужное.

За все время, что мы бродили по городу, он ни разу не остановился возле магазинной витрины, ни разу не высказал желания войти внутрь, словно магазины для него не существовали. Впрочем, лишь однажды он придержал шаг возле магазина канцелярских товаров.

— Заглянем? — спросил. — С детства люблю писчебумажные, — старомодно назвал он магазин с вывеской «Канцтовары».

Мы вошли. Он не стал ничего покупать и, как я понял, не собирался, но с мальчишеским интересом разглядывал всё, что лежало под стеклом прилавка и на полках.

— Фирма «Хаммер» или «Фабер», — засмеялся он, показав пальцем на коробку цветных карандашей со странным названием «Тактика». — Это были карандаши! Никогда не пользовался?

— В детстве отец покупал, — вспомнил я.

— Я б и сейчас купил, — как-то сокрушенно сказал он. — Пошли отсюда…

Завершали мы этот день на тихой узенькой улочке Армянской, в одной из самых старых частей города, где две легковые машины едва ли разминутся и где почти на каждом доме висят таблички с напоминанием, что это — памятник архитектуры и он охраняется законом. Такая табличка висела, да и поныне висит, на шедевре средневекового зодчества Армянском соборе, который создавался в 1363—1370 годах. Мы осмотрели собор с обеих его внешних сторон — с улицы Армянской и Краковской, а затем спустились по лестнице во дворик. Некрасов был поражен, он оживился:

— Вот это да! Восток в Европе! Сюда надо было сразу идти, а ты меня повел смотреть эту бабу с солдатом! — он ходил вдоль стен, разглядывал здание, каждую, казалось, его грань, любовался красотой, строгим изяществом и необычностью этого строения для европейского облика Львова.

В нишах во дворике стояли хачкары из песчаника — надмогильные памятные плиты с вязью полуисчезнувших от времени надписей, и Некрасов, чуть склонившись, приближал к ним лицо и водил пальцем, словно пытался прочитать слова, начертанные алфавитом Месропа Маштоца.

Несмотря на то, что собор, как вещала табличка, считался памятником архитектуры и охранялся законом, он являл собой пример бесхозности и варварства. Запущенный до предела, со следами ранних и нынешних разрушений, некоторые хачкары были разбиты, валялись куски отломов, было ясно, что со временем они исчезнут навсегда. В некоторых местах стены исцарапали любители оставлять свои автографы, вроде «Вася + Лиля = любовь».

— Во! Видал! — В. Некрасов указал пальцем. — След пещерного человека. — Он был зол, потрясенный гибнущей красотой. — На всякое монументальное г… гробим миллионы. А чтоб сберечь такое, — кивнул он на собор, — крохоборничаем… Ладно ваши местные культуртрегеры с нищим бюджетом… Но министерство культуры!.. Армяне тоже хороши! Скинулись бы с Украиной, с министерством культуры на реставрацию. Хотя бы

хачкары армяне увезли в Ереван. Кто знает, что на них записано? — он сказал именно «записано», а не «написано», как бы охватывая этим словом века и эпохи, в которые народ вел летописи своей истории. Он тонко чувствовал нюансы слова.

Я заметил, что местные власти обращались в какие-то инстанции, вроде были обещания изыскать средства.

— Лепет! — оборвал меня Некрасов. — Обещали! Знаю я эти обещания!..

С тех пор, как мы с Некрасовым покинули дворик Армянского собора, прошло четверть века. Собор продолжает разрушаться. Хачкары куда-то исчезли. Куда? Хочется верить, что кто-то совестливый укрыл их, чтоб сохранить. Я не раз говорил армянским друзьям-писателям, деятелям культуры, они собирались объединить усилия с реставраторами Украины. Но воз и поныне там.

Когда мы вышли в центр, Некрасов вдруг спросил:

— «Интурист» далеко?

— Нет, в двух шагах.

— Ладно, ты иди домой. Я сам доберусь. Спасибо тебе, — как-то торопливо сказал он. — Будешь в Киеве, звони.

Попрощались.

Через месяц я получил от него бандероль — однотомник избранного. Книга была потрепанная, надорванный титульный лист был аккуратно подклеен полоской бумаги, на нем дарственный автограф, в скобках приписка: «…ремонт за счет автора».

Следующая наша встреча произошла в обстоятельствах необычных, в совсем уж трудные для Некрасова времена. Да и не только для него. Хрущевская «оттепель» окончилась вовсе. Началась слякоть. Вольнолюбивые надежды и деяния, очнувшиеся после XX съезда, были загнаны в мрачный тоннель, в конце которого погасили свет. Охота за ведьмами шла по всей стране. В Белоруссии топтали Василя Быкова. На Украине тоже шли идеологические погромы. Заталкивали кляпы в рот прекрасным поэтам, прозаикам, критикам: Лине Костенко, Дмитру Павлычко, Ивану Драчу, Миколе Винграновскому, Борису Харчуку, Ивану Дзюбе и многим другим.

В этой атмосфере однажды в Киеве было назначено республиканское идеологическое совещание. Все понимали, что это не **совещание**, совещаться с нами не собирались, а скликали для морального избиения одних в назидание другим. Специально упоминаю об этом подробно, поскольку В. Некрасов в этом действе один из главных героев.

В Киев я приехал около девяти утра и с вокзала отправился не в гостиницу «Москва», где Союз писателей бронировал приезжим номера, а по привычке поехал на улицу Полупанова, 10, где в ту пору размещался корпункт «Литературной газеты», возглавляемый тогда писателем Владимиром Киселевым. Там был своеобразный клуб, где часто собирались «потравить» близкие по духу, по мысли и слову, в той или иной мере дружившие между собой люди: Виктор Некрасов, Николай Дубов, Михаил Пархомов, названный уже Владимир Киселев, второй корреспондент «Литературки», ныне возглавляющий корпункт Григорий Кипнис, заглядывал сюда и элегантный Владимир Владко.

В то утро все они были там.

— Ну вот, наконец-то объявился «третий», — весело сказал Некрасов, хотя он отлично знал, что в сессионном зале Верховного Совета, где должно проходить совещание, на его долю веселья достанется мало. И все же… — Кто пойдет за закусоном? — подмигнув, заключил он.

Самыми младшими были я и Григорий Кипнис, потому не мешкая мы отправились к гастроному на углу и к ларьку напротив.

— Не забудьте минеральной воды и пива, — напомнил В. Некрасов.

Закуска была нехитрая: неведомо когда и где выловленная и изжаренная рыба, плавленые сырки и банка маринованной тюльки. Когда вернулись, стол уже был сервирован — накрыт старой газетой, выдранной из подшивки, на ней стояли две бутылки водки, лежал нарезанный крупно хлеб и куски вареной колбасы. За разговорами время текло быстро. У Киселева и Кипниса были свои служебные заботы: из «Литгазеты» на это совещание прибывало их высокое начальство, — совещанию на Украине придавалось большое значение, ждали выступления самого Подгорного, первого секретаря ЦК КП Украины, — решалось по телефону, в каком объеме и как давать отчет в газету об этом идеологическом событии, и Кипнис куда-то уезжал, то ли в Союз писателей, то ли в гостиницу, — проверить, чтоб не было накладок с номерами для руководства «Литгазеты».

Прежде чем мы разошлись, Некрасов попросил меня завтра, когда должно было открыться совещание, сесть поближе к трибуне и по возможности подробней записать всё, что будут говорить о нем. Все понимали, что он будет одной из главных мишеней.

Не буду приводить здесь цитаты из выступлений разных мелких литературных приспособленцев, в чьих речах в большей или меньшей степени Некрасов фигурировал как идеологический

враг. Хотя это и любопытно, но все-таки мелочь. Имена этих людей, многие из которых здравствуют и поныне, закатились за литературный небосклон в небытие. Интерес представляют персоны иного масштаба, именно их присутствие, их слова подчеркивают степень страха, который испытывала тогдашняя идеология перед Некрасовым.

Не помню уже, в какой день совещания выступил Н. В. Подгорный, человек невежественный, грубый, безапелляционный. Он раздавал налево и направо ярлыки, которые, в сущности, обрекали многих талантливых писателей Украины либо на молчание, либо — как альтернатива — на покаяние. И, конечно же, большой залп этого «главного калибра» бил по «пособнику наших идеологических врагов» Некрасову. В основном, ругань в его адрес шла за опубликованные в «Новом мире» великолепные путевые очерки «По обе стороны океана» («В Италии», «В Америке») и «Месяц во Франции». Инкриминировалось и то, что Некрасов поддержал официально обруганный на всю страну превосходный фильм режиссера Хуциева «Застава Ильича», который якобы вбивал клин между поколениями отцов и детей. В ту пору это было расхожее обвинение.

Некрасова потребовали на трибуну. Он шел не спеша по проходу, внешне спокойный, в аккуратном костюме, но все же без галстука, белый воротник сорочки «апаш» свободно лежал поверх воротника пиджака, оттеняя смуглую жилистую шею. Он взошел на трибуну. Зал затих, ожидая, что скажет, как станет каяться главный обвиняемый. Некрасов выдержал долгую паузу и начал говорить. Фразы были четкие, лаконичные. И суть того, что он говорил, и форма, и абсолютно ровный — без пафоса или захлебывания — голос свидетельствовали о высочайшем чувстве собственного достоинства. Кто знает, чего ему стоила эта сдержанность? Позже, в перерыве, в кулуарах, даже недруги или просто люди, не очень симпатизировавшие ему, уважительно отмечали мужество Некрасова, отмечали, может быть, завистливо, тайно сознаваясь себе в собственном малодушии.

Здесь я приведу не по стенограмме, а по своим записям часть этого выступления.

— Я не молод, — начал Некрасов. — Отношу себя к категории отцов, а не детей. Я — 1911 года рождения. Но как писатель отношу себя к семнадцатилетним. За время своей работы я понял, как она трудна. Писателя слушают миллионы. Поэтому прежде, чем что-то напечатать, нужно подумать. И я всегда помнил об этом… Кое-кто говорил: «Выйди на трибуну, признай ошибки, это будет самое правильное». Но если бы я сделал хотя бы только это, я перестал бы уважать себя. Я еще раз

прочел очерки… Меня упрекнули, что я за огнями Бродвея не увидел трущоб. Я понял это фигурально. Но я постарался увидеть, что в Америке хорошего, что плохого. Мне, как архитектору, была интересна архитектура. Мне нравился народ. Но я говорил и об упадке духа, культуры. Я говорил о трагедии американской молодежи… Я очень доволен, что Хуциев вернется к своей картине, и мы получим удовольствие…

В этом месте Подгорный бестактно перебивает:

— Это мы еще посмотрим, какой она будет, а вы писали о том, какая она есть…

Кто-то поддакнул с места:

— Мы читали, что вы писали!

— Я прошу меня не перебивать! — резко бросил в зал Некрасов. — Я отметаю клеветнические утверждения, что чернил нашу действительность. Заявляю с этой трибуны: это нечестно по отношению к коммунисту и согражданину… Меня обвиняют, что я не так описал Мамаев курган…

Подгорный (опять перебивает):

— А вы его видели?

— Да! — усмешливо отвечал Некрасов. — Я хочу закончить тем, с чего начал…

И тут его перебивает Скаба — секретарь ЦК КП Украины по идеологии:

— У вас есть более серьезные срывы. Вы заявили, что вы ньюреалист (?!), а не социалистический реалист.

— Прошу меня не перебивать! — парировал Некрасов, повернувшись к президиуму. — Я как писатель и коммунист ставлю перед собой одну задачу: писать правду и только правду, за которую мы сражались в окопах Сталинграда…

Он поправил челку, сошел с трибуны и с высоко поднятой головой направился к своему месту. Его провожало гробовое молчание. Зал на какое-то мгновение обомлел. А потом, как обвал, — аплодисменты. Помню деталь: многие «храбрецы» аплодировали, опустив руки вниз, упрятав их между колен.

Вот еще один образчик из выступления Подгорного, точно отражающий полицейский и «интеллектуальный» уровень того совещания:

— Профессор Киевского политехнического института Фаерман, теплотехник, занимается пропагандой абстракционизма. Недавно он прислал в ЦК письмо с обвинением в том, что партия губит искусство: «Мы должны по-большевистски овладеть методом абстракционизма, диалектически разработать и дать марксистское толкование». Мы вызвали его и беседовали. Не знаем, поможет ли ему…

И опять Некрасову:

— …Все убедились, что Некрасов не признал критики. Он путается в оценках порочного материала Хуциева… Товарищ Некрасов или ничего не понял, или не хотел понять. А говорил так же беспринципно, как и его писания. «В окопах Сталинграда» Запад не печатает, а вот «Киру Георгиевну» и другое схватил. Вот вы и подумайте, о какой правде вы хотите писать. От его выступления веяло мелкобуржуазным анархизмом. А критика всё время молчала. Молчала и писательская общественность… — злобно науськивал Подгорный.

Под вечер мы опять собрались почти в том же составе на корпункте «Литгазеты».

— Ты всё записал? — спросил меня Некрасов.

— По возможности.

— Читай!

Все понимали, что в том состоянии, в каком он сходил с трибуны, несмотря на внешнее спокойствие, он едва ли запомнил в деталях всё, что говорил сам, что говорили ему, да и саму атмосферу зала.

Достав блокнот, я по беглой записи воспроизвел. Все сидели удрученные, понимая, что грядет. Сталинизм вновь поднимался на свои уцелевшие баррикады…

Через несколько лет в моей семье случилась беда: заболел отец жены, диагноз оказался самый страшный, сделали палиативную операцию. Мы понимали: отец обречен. В беседе врачи сказали: «Вы же знаете, против этого никаких лекарств нет… Правда, швейцарцы вроде создали недавно препарат, на котором больной может продержаться год-другой. Но мы этот препарат и в глаза не видели…»

Я вспомнил, что у Некрасова в Швейцарии жил дядька. После долгих колебаний и раздумий, оправдывая свое решение тем, что речь идет о человеческой жизни, я позвонил Некрасову в Киев, объяснил, в чем дело. Он сказал, что дядька очень стар, немощен, живет в глуши да к тому же беден.

— Но я что-нибудь придумаю, — не очень обнадеживающе заключил Некрасов.

Через месяц, когда я уже забыл об этом разговоре, вечером раздался телефонный звонок из Ленинграда. Незнакомый человек сообщил, что я должен назавтра встретить поезд Ленинград — Львов и у проводницы шестого вагона Клавы получить посылку. И больше никаких подробностей. На все мои вопросы человек этот ответил, что сам толком ничего не знает, просто выполняет чью-то просьбу.

Я ломал голову: что за посылка, от кого, не розыгрыш ли? Но на следующий день на вокзал все-таки поехал. Вагон шестой. Действительно, проводница Клава вручила мне аккуратно упакованную и заклеенную скотчем посылочку размером с четыре пачки сигарет. Дома, нетерпеливо вскрыв ее, мы обнаружили картонную коробку с ампулами и листок аннотации. На коробке по-французски и по-немецки было написано название того самого лекарства. Стало ясно, что это провернул Некрасов. Но почему из Ленинграда, почему он не позвонил, не предупредил?..

Врачи были поражены, что мы смогли достать только что появившийся на Западе препарат, да так быстро. Тесть продержался на этих уколах еще полтора года, почти до последних дней даже ходил на работу. Для обреченного человека это было подарком, цену которого определить невозможно.

Миновал год или два, сейчас уже не помню. Как-то вечером задребезжал телефон. Я снял трубку и услышал веселый голос Некрасова. Звонил он из Киева.

— Привет! Тут у меня гостья из Парижа, мой друг и переводчик мадам Л. Д. (не расшифровываю инициалов мадам Л. Д., поскольку не испрашивал на это ее согласия. — *Г. Г.*) Она хочет тебя поблагодарить за подарок.

— За какой подарок? — оторопел я, не понимая, кто такая мадам Л. Д. и почему она должна меня благодарить.

— Она наша благодетельница. Ей очень понравилось ожерелье, которое ты ей подарил! — сердито крикнул он, разгневанный моей недогадливостью. — Передаю трубку! — заторопился Некрасов, уходя от моих дальнейших расспросов.

Мадам Л. Д. хорошо говорила по-русски, правда, с акцентом и слегка грассировала:

— Я очень вам признательна! Ожерелье прекрасное, чудесный янтарь! Большое спасибо! Но вы напрасно так потратились…

Я что-то лепетал в ответ, вроде: «Ну что вы! Какие пустяки!.. Стоит ли об этом говорить?»

— Помогло ли лекарство? — спросила она. И тут я понял, в чем дело.

Потом трубку снова взял Некрасов.

— Видишь, всё в порядке, — засмеялся он.

— Сколько я тебе должен? — я понимаю, что он, человек не мелочный, размахнулся, когда дарил от моего имени ожерелье мадам Л. Д. Да и, судя по ее восторгу, я догадывался, что ожерелье «потянуло» немало.

— Сто граммов! — коротко ответил В. Некрасов.

— Нет, серьезно? С какой стати?!

— Чего ты мелочишься? Мы с тобой фронтовики или нет?..

Позже я узнал, как развивался этот сюжет. После моего звонка о лекарстве Некрасов тут же позвонил в Париж, мадам Л. Д., она купила лекарство, передала его с кем-то из артистов Ленинградской филармонии, гастролировавших в ту пору в столице Франции, вероятно, указав им мой адрес, сообщенный Некрасовым.

Последний раз мы встретились незадолго до его новой поездки во Францию, ставшей, в сущности, изгнанием с Родины.

Он приехал во Львов с женой Галей. Ужинали у меня дома. В. Некрасов был в темном костюме, с привычно выложенным поверх пиджака воротом светлой сорочки. Прекрасный собеседник и веселый в застолье человек, в этот вечер он был молчалив, в основном разговаривала Галя, а он либо кивал, либо бросал краткую реплику в подтверждение ее слов.

Потом мы подошли с ним к книжным полкам. Он обвел взглядом ряды книг и вдруг сказал, указав на один томик:

— Зачем ты держишь это?

— У него неплохие повести, — ответил я, имея в виду автора этого томика.

— Он больше ничего путного не напишет. Кончился: продался. Написал сценарий за лауреатство и сумасшедшие гонорары… Ну да Бог с ним…

Я знал, что Некрасов отказался писать этот сценарий…

Мы пили сухое закарпатское вино, Некрасов односложно отвечал на вопросы, был задумчив, иногда потягивал из бокала и после каждого глотка легко проводил пальцем по нижней кромке аккуратных черных усиков. Что-то грустное шло от его спокойствия и сдержанности, словно в глубине души он уже всё просчитал и знал наверняка, чем и как закончится эта предполагавшаяся на длительный срок поездка во Францию…

Часов около одиннадцати я пошел провожать дорогих гостей до гостиницы, где они поселились. Попрощались у гостиничных дверей. Я видел, как Некрасов удалялся в сумрак холла и скрылся в лифте. Мог ли я думать в тот момент, что это навсегда?..

Львов, 1989.

Гофф Инна
Вика

Только он мог носить это короткое, из детства пришедшее имя. Только он, Виктор Некрасов, мог придать этому имени, несколько инфантильному, женственному, мужское значение.

И когда я потом встретилась на страницах одной книги с **Викой** Конецким — душа отпрянула, словно от плагиата.

Обаяние мужества. В его облике и в его прозе. Оно действовало гипнотически, равно на мужчин и женщин. Он предпочитал общество мужчин, нечто среднее между окопным братством и рыцарским орденом. Впрочем, и с женщинами дружил тоже. Двух я знала. Это были милые, очень интеллигентные женщины, достойно несущие груз повседневных забот. Они его боготворили. Он отвечал им нежной привязанностью.

Не знаю другого человека, в ком потребность любви была бы столь сильной и неутолимой. В Некрасове эта потребность была сродни кислородному голоданию. Друзья, — они тянулись сквозь всю его жизнь, часто с детства, — щедро одаряли его своей любовью. Иногда он влюблялся сам. Но, в отличие от сильного, ровного пламени дружбы, такая внезапная его влюбленность так же внезапно и гасла. И тогда недавний кумир уподоблялся тому, кто всерьез бы принял чеховское: «Если тебе понадобится моя жизнь, приди и возьми ее…»

Нет, Некрасов не готов был внутренне отдать свою жизнь тому, кто уже собирался **прийти и взять**…

Самой сильной любовью его была Зинаида Николаевна. Мама. «Правда, у меня хорошая мама?» — часто спрашивал он. Вопрос-утверждение.

Небольшого роста, полноватая, в очках, в панаме, постоянно с книгой в руках — такой я ее помню.

Внимательные глаза. В голосе нестарческая энергия.

Как-то зимой в Малеевке, где мы оказались одновременно, я рассказывала ей о Франции, откуда мы с мужем недавно вернулись. Подошел Некрасов.

— Вика, в июне мы едем в Париж, — объявила она. Как о деле решенном.

— Хорошо, мама, — сказал он.

Не стал говорить, что это сложно. Почти немыслимо в ее возрасте — ей шел восьмой десяток. Кто пустит?!

«Хорошо, мама…»

Вместо бессмысленных споров и обсуждений, в которые я пустилась бы на его месте. Это надолго стало мне уроком.

«Не надо спорить со стариками», — сказал поэт. С любимыми стариками, — добавлю я.

У себя дома, в Киеве, он скажет одному из своих друзей, прислушавшись к легкому шарканью за дверью: — Неужели наступит день, когда **этого** не будет?!

Его интересовали люди. Он открывал их для себя, как открывают страны. Они с Ваншенкиным познакомились в Киеве, в мае пятьдесят четвертого. Он стал бывать у нас на Арбате. Часто заглядывал мимоходом. Я быстро собирала на стол, что есть. Всегда находилось, чем угостить, хотя не было ни холодильников, ни запасов — покупали, готовили и тут же съедали…

Он любил застолье — шумное, с разговорами, о жизни вообще, о литературной жизни в особенности. Любил спрашивать о ком-нибудь малознакомом:

— Что он за человек?

Живя в Киеве, ему трудно было ориентироваться в лабиринте московских отношений. И он доверял оценке друзей.

— Он полное дерьмо? — спрашивал он о ком-то, кто ему сильно не нравился.

Пожалуй, это самое грубое из того, что я от него слышала.

В нашей тесной квартирке в дни рождения мужа я устраивала мальчишники. Мы недавно обзавелись своим первым жильем, и мне, молодой хозяйке, нравилось приглашать гостей, угощать. И чтобы хвалили…

К слову сказать, за разговорами мой красивый продуманный **стол** быстро разрушался — молодые варвары, друзья студенческих лет, участники наших пирушек в общежитии, не страдали отсутствием аппетита и без разбора уничтожали всё подряд (рубали — так это называлось у нас). Только Некрасов всегда замечал, чт**о** он ест, и отдавал должное моим кулинарным талантам. Похвала его выражалась иной раз лишь мимикой, глазами, поднятыми к потолку. В такие минуты он очень походил на итальянского киноактера Тото.

Узкое смуглое лицо с темными усиками. С чуть сентиментальным взглядом темных глаз. Его голос — баритон с теноровыми нотками, окрашенный бернесовской интонацией. Распахнутый ворот рубашки.

По своей натуре он был южанин. Его темперамент располагался южнее Киева. Может быть, ближе к Одессе. (К Марселю?) Интеллигентность переплеталась в нем с некой изящной раскованностью, почти с босячеством.

Мы с мужем были им пленены. И его к нам влекло.

Когда разговоры затягивались, он оставался у нас до утра.

Вспоминая о Некрасове, муж рассказал об одной из встреч. О том, как они были у Юрия Трифонова. Мне недавно попалось письмо, в котором Ваншенкин пишет мне, — я была в Томске, — о второй их поездке к Трифонову тогда же, зимой пятьдесят пятого.

«Едва я приехал вечером из пригорода, как вкатился Некрасов со своим боевым другом и сказал, что нас ждет Юрка Трифонов, которому он звонил.

Было девять часов. Ну, поехали к Юрке. Нины нет, полная беспомощность, никакой закуски. Опять съели все детские яблоки. Потом приехала Нина с концерта. (…). Виктор разругал Юркину повесть. Юрка обиделся, Нина вмешивалась в их разговор, что их обоих очень злило. (…). Потом Виктор поехал к нам ночевать».

Привожу этот отрывок из письма, живо передающий атмосферу тех лет, с прямотой суждений, скудностью быта, тягой к общению.

Мне кажется, он ценил во мне, что я не вмешивалась в мужские споры. В застольной беседе он отводил женщине отнюдь не первое место. Это не мешало ему, впрочем, интересоваться моим мнением о предмете разговора. А также и тем, что я пишу. К тому времени я была автором двух повестей и нескольких рассказов, опубликованных в журнале «Огонек».

Услышав, что я собираюсь вступать в Союз писателей, он вызвался дать мне рекомендацию. Всего их требовалось три, и одна, Катаева, у меня уже была.

Недавно я перечитала рекомендацию Некрасова… В ней он, в частности, пишет: «У Инны Гофф хороший глаз, она умеет видеть и умеет рассказать интересно об этом. Язык у нее ясный, простой, хороший… (…). От своего имени рекомендую принять Инну Гофф в члены Союза писателей СССР».

Подпись и дата — 21 апреля 1955 года.

Итак, умение видеть, простой, ясный язык… Перечитывая Некрасова, можно сказать, что для себя он ставил те же задачи.

Он не просто любил путешествовать. Это было его страстью с мальчишеских лет и осталось в нем до конца. Будучи вынужден покинуть свою страну, он, скучая по ней порой до сердечной боли, утешался тем, что может свободно ездить и смотреть… Недаром путевые заметки стали его излюбленным жанром.

Но бывало и другое.

Мы жили тогда в высотном доме у Киевского вокзала, на бывшей Дорогомиловской. В нашей однокомнатной квартире на девятом этаже было полукруглое, почти во всю стену окно с низким подоконником. Из него открывался ничем не заслоненный вид на Москву, на ее крыши, башни и купола.

Некрасов, придя к нам сюда впервые, был поражен зрелищем, открывшимся его взору.

Старые домишки внизу, вокзальная башня с часами были уже в тени, но ослепительно сияло вдали озаренное заходящим солнцем высотное здание университета.

Вскоре и оно погасло, но расплавленная медь заката еще долго отражалась в стеклах домов.

Некрасов молчал, стоя у окна, потом примостился на низеньком подоконнике.

Сказал:

— Я бы мог так просидеть всю жизнь!..

Однажды, я послала ему рассказ. Просила прочесть и, если понравится, передать в редакцию «Нового мира». Мы с Некрасовым не виделись перед тем года два. Я знала об отношении к нему в журнале. К тому же в «Новом мире» попадались смелые по тем временам вещи.

Рассказ назывался «Путейцы». Его написал Анатолий Кузьмин, товарищ моих школьных лет. Жизнь его сложилась нелегко. Семнадцатилетним был призван в армию. После войны стал шахтером, — незадолго перед тем в шахте погиб его отец. Многие годы жил на руднике, работал в сменах.

Одаренный человек, он не собирался стать писателем, и мне стоило немалого труда заставить его взяться за перо. Изредка свои рассказы он присылал мне. Некоторые потом были напечатаны.

И вот «Путейцы». Мне очень захотелось, чтобы этот рассказ прочел Некрасов. Даже если в «Новом мире» не напечатают… Всё равно. Важно было знать его мнение.

Рассказ был о нелегком труде солдат-путейцев вскоре после конца войны. В одном взводе и даже в одном отделении служили недавние дети, получавшие «сахаром» вместо махорки, бывший артиллерийский майор, разжалованный в рядовые после плена, отсидевший срок урка…

Тупой сержант, командир отделения, презрительно спрашивал майора:

«— Шпалу-то подымешь?»

И слышал:

«— Когда-то по две носил… в каждой петлице».

Юмор в рассказе соседствовал с грустью.

Ответ от Некрасова пришел скоро:

«Дорогая Инна!

Этот чудесный рассказ прочел тут же и, лежа на

диване, смеялся. Завтра увижу Асю (она приезжает на несколько дней в Киев) и покажу ей. А дальше посмотрим.

Привет Косте. Вика».

(Анна Самойловна Берзер, друг Некрасова. Работала в «Новом мире» редактором в отделе прозы).

И — Анатолию Кузьмину:

«…Вы написали превосходный рассказ. Постараемся тиснуть его в „Новый мир“. Что получится, посмотрим. Читал с большим удовольствием.

Жму руку. В. Некрасов».

Обе почтовые открытки он отправил одновременно 27 сентября шестьдесят седьмого года.

Но «оттепель» сходила на нет, задул северный ветер. И в «Новом мире» рассказ не появился. Лишь спустя двадцать лет, в пору гласности, он был напечатан в еженедельнике «Литературная Россия» и даже отмечен среди лучших публикаций года.

С возрастом душа его не старела. Интерес к жизни не иссякал. В нем были даже какие-то черты остаточного детства, выражавшиеся в любви к игрушкам. Некрасов привозил их сыновьям своих друзей из-за границы.

Дети его друзей часто были его друзьями. «Мой московский друг, четырнадцатилетний Павлик», — говорит он в своих записках «Месяц во Франции».

Старики, дети, солдаты…

Солдаты в особенности. Его сердце до конца оставалось с ними, полнилось нежностью к их стриженым головам. То была верность дням Сталинграда. Верность Валеге. И себе самому.

Над ним уже нависли тучи. К нему придирались, всё ставя ему в вину. Даже его выступление на стихийно возникшем митинге в годовщину Бабьего Яра…

Под угрозой был выход двухтомника.

Он был возбужден. Но не жаловался. Он еще на что-то надеялся…

Некрасов до конца оставался самим собой. И за это его уважали. Даже те двое, что пришли к нему с обыском. Он рассказывал потом, как, не имея права выйти из дома, пока они

не закончат, попросил одного из них сходить в книжную лавку, где ему был отложен однотомник Булгакова.

— И он, представьте, принес мне Булгакова, а заодно купил всё, что я велел, — колбасы, кефира…

— Нет, что ни говорите, а люди меняются, — заключил он с невеселой улыбкой.

Мы часто вспоминали его. Иногда нам казалось, что он не уезжал.

Иногда — что он обязательно вернется.

И он вернулся…

Москва, 1989.

Дзюба Иван
Не сдавшийся лжи

С Виктором Платоновичем Некрасовым я познакомился весной 1963 года (точнее — в двадцатых числах апреля) при не совсем обычных обстоятельствах. Поскольку они имели отношение к событиям государственного масштаба, повлиявшим на всю дальнейшую судьбу прославленного писателя, я должен о них напомнить. Тем более что новые поколения читателей знают о них лишь понаслышке, из самых общих упоминаний о хрущевских проработках творческой интеллигенции.

Как известно, было две на широкую ногу поставленные и громогласнейше распропагандированные «встречи» Никиты Сергеевича Хрущева с деятелями искусства и литературы: в 1962 году и в 1963. На первой из них был дан сигнал к наступлению по всему фронту на так называемых «формалистов» и «абстракционистов». На фальшивом официальном жаргоне так именовались все ослушники, все хоть сколько-нибудь склонные к независимому творческому мышлению и к эстетическим поискам художники. Разумеется, не интерес к тонкостям художественных приемов двигал вождями, а желание, власть употребив, поставить преграду любым уклонениям от «бойцовских» функций, предписанных писателям и деятелям искусств (знаменитая формула Хрущева, подхваченная многими литактивистами: «Писатель — автоматчик партии»).

Сразу же после хрущевского симпозиума начались нескончаемые собрания, «активы» и прочие митинги во всех республиках. Происходили они и на Украине, в первую очередь в Киеве. Первым из них было открытое партийное собрание Киевской писательской организации в клубе Совета министров

УССР. Выступали некоторые из участников встречи в Москве и взахлеб изливали свое восхищение мудростью Никиты Сергеевича и его отеческими наставлениями. Предлагали выступить и мне (я тоже, вместе с Иваном Драчом и Миколой Винграновским, присутствовал на встрече в Москве — видимо, нас привлекли, как представителей младшего поколения, для острастки). Но я отказался. Правда, пережил минуты острой внутренней борьбы: подмывало встать и рассказать, как всё было в действительности, как Хрущев обливал грязью талантливейших людей, как брызгал слюной, обзывая художников «педерастами», как опускался до примитивнейшего антисемитизма, а почтенная седовласая интеллигенция сидела понурив головы и пряча глаза друг от друга, и только один Илья Эренбург осмелился в непрямой форме, но довольно прозрачно возражать ошалевшему вождю. Подмывало рассказать об этом, бросить вызов всеобщему лицемерию — но, увы, не отважился. Счёл неловким выступать против прославленных писателей: кто я? И тем самым к этому лицемерию присоединился, хотя бы и пассивно.

Тем временем в развитие хрущевских указаний в идеологических и литературных комендатурах всех республик и областей бросились изобретать собственных формалистов и абстракционистов. На Украине первыми были названы Лина Костенко, Иван Драч, Микола Винграновский, затем этот список обогащался. Началась настоящая вакханалия верноподданичества, моральной неразборчивости и эстетической ограниченности, чтобы не сказать — человеческой глупости. Но, в отличие от кампаний сталинских времен, звучали и голоса завуалированного, а то и прямого предостережения, как бы пытавшиеся образумить зарвавшихся современников. Например, Максим Рыльский в статье «Серйозна річ — мистецтво» («Літературна Україна» от 29 января 1963 года) недвусмысленно советовал: «Було б дуже прикро, коли б у нас почали робити з московської зустрічі та з відгуків на неї в пресі швидкі, „скоропалительные“, „організаційні“ висновки…» И даже безудержный апологет Хрущева Андрей Малышко в статье под характерным для этого рода выступлений названием «Ближче до людських сердець» («Літературна Україна» от 8 января 1963 года), клеймя «абстракционизм», в то же время фактически пытался вывести из-под удара Миколу Винграновского, Ивана Драча, Евгена Гуцало.

Видимо, и в ряде республик, и в самой Москве погром происходил не со стопроцентным успехом. Нужен был новый, более целенаправленный державный толчок. И он не замедлил последовать. 8 марта 1963 года Никита Сергеевич созвал

писателей и деятелей искусств на вторую, широкомасштабную встречу с собой. Вместо того, чтобы использовать неизменно любезный сердцам наших вождей Международный женский день для знаков внимания к прекрасной половине человечества и для соответствующего смягчения сердца, он продолжил нахлобучку в еще более угрожающем тоне. На этот раз речь шла уже не столько о формалистах и абстракционистах, сколько о тех, кто «судит о действительности только по запахам отхожих мест, изображает людей в нарочито уродливом виде, рисует свои картины черными красками, которые только и способны вызвать у людей состояние уныния, скуки и безысходности». Они всячески мешают остальным писателям и деятелям искусств исполнять свой долг и воспевать действительность, а потому «надо дать отпор любителям наклеивать ярлык „лакировщика“ тем писателям и деятелям искусства, которые пишут о положительном в нашей жизни». Само собой разумеется, ярлык заслужили как раз вот те смутьяны, и Никита Сергеевич тут же предложил новое клеймо собственного изобретения, пополнив им богатый фонд традиционных ярлыков: «А как же назвать тогда тех, кто выискивает в жизни только плохое, изображает всё в черных красках? Наверное, их следует назвать дёгтемазами».

Вот среди этих-то свежеразоблаченных шкодников-дёгтемазов и выделен был в особую строку Виктор Некрасов. На первый взгляд может показаться (и многим тогда казалось), что выбор пал на него совершенно случайно. Ну, попалась Никите Сергеевичу на глаза книга очерков В. Некрасова «По обе стороны океана» (или ему услужливо ее подсунули), ну, возмутил его непозволительно объективный тон повествования о подлежащем проклятию западном мире, вот и «выдал» он автору по число по первое — со свойственной ему импульсивностью… Увы, мне кажется, дело обстояло серьезнее. При всей своей импульсивности Хрущев был неизменно безошибочен в определении направления идеологических ударов и чрезвычайно чутко улавливал всё, что могло угрожать насаждавшемуся им благопорядку. И общегосударственная облава на «формалистов» и «абстракционистов» не была его глупой прихотью: пусть и сумбурная по форме, она была совершенно логичной по существу — пресекала попытки ускользнуть от политического надзора, изощряясь в «заумных» способах выражения; подтверждала незыблемое в тоталитарном обществе право государственного руководства предписывать характер и формы всех искусств. И возмущение «дёгтемазами» и всяческими носителями уныния и меланхолического настроения было отменно справедливо и своевременно — ввиду наметившегося отклонения от

законоустановленной искусству социалистического реализма миссии: утверждать радостное приятие торжествующей действительности; давать идеологическое, моральное и эмоциональное «обеспечение» очередным предначертаниям; споспешествовать повышению производительности труда во всех отраслях производства (этот призыв к служителям муз лишь недавно перестал звучать). И соображенный по спецзаказу спецпортрет Виктора Некрасова в качестве одной из главных мишеней был выставлен не с кондачка.

Дело в том, что Виктор Некрасов как автор не только романа «В окопах Сталинграда», но и повестей «В родном городе», «Кира Георгиевна» представлял то течение в советской прозе, которое отказывалось работать на «возвышенных» стереотипах, отвергало «нас возвышающий обман», не уходило в романтическую риторику, конструирование «должного», а упорно воссоздавало «сущее», внимательно, понимающе и сочувственно вникало в реальную жизнь реального человека. Это антимифотворческое направление в советской литературе и искусстве объективно противостояло государственному мифотворчеству, отнюдь не собиравшемуся еще отказываться от тотального диктата во всех сферах общественной и духовной жизни. Именно потому Виктора Некрасова обвиняли в «дегероизации», «измельчении» советского человека и советской жизни (прежде всего в связи с повестями «В одном городе» и «Кира Георгиевна»; с романом «В окопах Сталинграда» приходилось быть осторожнее — ввиду его всенародного признания и огромного влияния на советскую «военную» прозу).

Характерен один из приемов дискредитации В. Некрасова, к которому прибегнул не стеснявшийся в средствах Хрущев. С присущим ему агрессивным простодушием он со своей высочайшей трибуны уничтожающе схохмил, что, дескать, речь не о том Некрасове, которого все знают, а о том Некрасове, которого никто не знает. Тут Никита Сергеевич явно слукавил. Имя Виктора Некрасова было как раз широко известно и любимо в читательской среде. Да и сам Хрущев был неплохо осведомлен о нем, видимо, специально интересовался. Позже имевшие отношение к Хрущеву люди рассказывали Виктору Платоновичу, что при упоминании его имени тот уточнял: «Это тот, что с усиками?» Значит, и фотографию ему показывали…

Именно из-за своего авторитета (и, разумеется, таланта) и представлял Виктор Некрасов «опасность» в глазах адептов политического иллюзионизма. Собственно, этот момент — предостережение от влияния Виктора Некрасова — тоже явственно сквозил в тирадах Хрущева: «Иногда идейную ясность

произведений литературы и искусства атакуют под видом борьбы с риторичностью и назидательностью. В наиболее откровенной форме такие настроения проявились в заметках Некрасова „По обе стороны океана“, напечатанных в журнале „Новый мир“. Оценивая фильм „Застава Ильича“, еще не вышедший на экран, он пишет: „Я безмерно благодарен Хуциеву и Шпаликову, что они не вытянули за седеющие усы на экран старого рабочего, который всё понимает, на всё имеет четкий, ясный ответ. Если бы он появился со своими нравоучительными словами — картина погибла бы“. *(Крики: „Позор!“)* И это пишет советский писатель в советском журнале! Нельзя без возмущения читать такие вещи, написанные о старом рабочем в барском высокомерном тоне».

Трудно сказать, действительно ли Никита Сергеевич не понимал или только делал вид непонимающего, что тон и сарказм Виктора Некрасова относились не к «старому рабочему», а к фальшивому и занудливо навязываемому псевдохудожественному стереотипу.

Во всяком случае, после этого выступления Хрущева имя Виктора Некрасова — наряду с именами Эренбурга, Вознесенского, Евтушенко — оказалось одним из наиболее поносимых в разгоравшейся с каждым днем проработочной кампании, порой напоминавшей безумную «психическую атаку». Сам же черный список разрастался за счет «дополнений с мест» — на Украине, кроме Лины Костенко, Винграновского и Драча, называли уже и Виталия Коротича, Евгена Летюка и других. Не было конца собраниям, активам, митингам, резолюциям. На расширенном заседании Президиума правления СПУ 15 марта один из его руководителей, ныне покойный, от имени «могучего многонационального коллектива советских писателей» грозно предостерег «старых и молодых одиночек, слишком уж зарвавшихся»: «Одумайтесь, пока не поздно. Не позорьте себя окончательно: советский народ терпелив, но всему есть конец» (см.: «Літературна Україна» от 19 марта 1963 года). В номере от 5 апреля «Літературна Україна» сообщила о встрече ряда ведущих украинских писателей с рабочими завода «Арсенал». Рабочие, сообщала газета, «горячо поддерживали установки партии, направленные на дальнейшее развитие литературы и искусства, остро осуждали идейно порочные позиции и отступления от метода социалистического реализма в произведениях В. Некрасова, И. Эренбурга, Е. Евтушенко, А. Вознесенского. Справедливые упреки были высказаны, в частности, в адрес И. Драча, М. Винграновского, которые в своем творчестве допускали идейно нечеткие, путаные утверждения и формалистические выкрутасы».

В артобработку включился и главный республиканский калибр. 8 апреля в зале заседаний Верховного Совета Украинской ССР состоялось совещание актива творческой интеллигенции и идеологических работников Украины. Председательствовал на нем Николай Викторович Подгорный, тогдашний первый секретарь ЦК КПУ, а доклад делал секретарь ЦК по идеологии, «неудобозабываемый» Андрей Даниилович Скаба. Был повторен в усугубленном варианте весь набор обвинений по адресу внесенных в черный список. «Літературна Україна» в номере от 12 апреля опубликовала ставшее гвоздем программы выступление Н. В. Подгорного под заглавием «Жить и творить для народа, во имя торжества коммунизма». В нем, в частности, первое лицо Украины в упор вопрошало: «…За какую же вы, товарищ Некрасов, стоите правду сегодня?» В этом же номере газеты читатель мог ознакомиться и с выступлениями ряда известных писателей. Все они дружно клеймили Некрасова, Евтушенко, Эренбурга и украинских поэтов-шестидесятников. А один из тогдашних руководителей СПУ предъявил свой счет следующим оригинальным образом: «Ну да пусть бы только молодежь. Пусть бы Иван Дзюба говорил: „Почему у нас нет такого борца, как Илья Эренбург?“ Пусть бы уже Драч пророчил смерть старшим поколениям. А то — Эренбург, Некрасов, С. Голованивский!» Так впервые мое скромное имя прозвучало в контексте с именем прославленного писателя Виктора Некрасова. Обстоятельства как бы «готовили» наше личное знакомство.

Кстати, в той же газете можно прочесть, что участников совещания «не удовлетворили выступления В. Некрасова и М. Винграновского».

Широкомасштабную операцию надо было продолжать до полного успеха. И вскорости организуется новая акция — открытое партийное собрание киевских писателей. О том, какое ему придавалось значение, свидетельствует тот факт, что на него специально приехал Александр Евдокимович Корнейчук, в последние годы почти что не являвший украинским писателям свою персону и обретавшийся где-то в международных сферах. Он открыл собрание идейно насыщенным вступительным словом и властно дирижировал. И все-таки атмосферы ликующего неистовства не получилось, предполагавшийся праздник верноподданичества и угодничества был подпорчен некоторыми крайне досадными для Александра Евдокимовича моментами. Значительная часть аудитории не проявила должного энтузиазма в поддержку обвинительных речей и даже потихоньку симпатизировала заклейменным литераторам и тем, чьи выступления так или иначе диссонировали с воинственным

тоном «автоматчиков».

Об этом собрании в принятом тогда выборочном и тенденциозном порядке сообщала «Літературна Україна» в номере от 23 апреля 1963 года под заглавием «Беречь честь и славу советской литературы». Рутинный выхолощенный отчет, но в нем было несколько загадочных моментов: «Не удовлетворило собрание выступление В. Некрасова…», «Сделал попытку смягчить критику…» В. Коротич. «Не удовлетворило участников собрания и даже вызвало возмущение путаное, местами абсурдное и бестактное выступление И. Дзюбы». Читатель, привыкший к жульническому жаргону нашей прессы, догадывался, что желанного единодушия на собрании не было и не обошлось без «эксцессов», то есть выражений несогласия с начальством.

И действительно. Праздник испортил прежде всего сам Виктор Некрасов, оказавшийся крайне неблагодарным — не только по отношению к Хрущеву, но и к Корнейчуку. Что касается Хрущева, тут ясно — не оценил его руководящую ругань и отеческие угрозы, упорствовал в своих заблуждениях. А в отношении Корнейчука нужны некоторые объяснения. Дело в том, что ранее, в бытность свою председателем Правления Союза писателей Украины, Корнейчук привлек молодого талантливого прозаика из поколения фронтовиков к руководству Союзом — сделал его одним из своих заместителей. Но содружества не вышло. Слишком разными они были людьми и разными принципами руководствовались. Карьеры Виктор Некрасов делать не собирался и не стал. Его пребывание на посту заместителя председателя было недолгим. Отношения с Корнейчуком испортились. И вот теперь обе стороны были обострённо насторожены в отношении друг друга. Корнейчук рассчитывал, видимо, на почтение к нему со стороны Некрасова ввиду, дескать, оказанного ему прежде великодушного благорасположения, а не найдя этого почтения, крепко осерчал, стал обрывать его выступление чуть ли не на каждом слове, требовать раскаяния, оскорблять. Некрасов же, чувствуя истинную подоплеку высокомерных придирок человека, не столь давно искавшего его расположения, — несколько растерялся, заметно нервничал на трибуне. В общем, ему не дали договорить. И представляю, как ему было горько на душе. Но главное было ясно: фальшивые обвинения он отвергал, оставался при своем мнении.

Не помню, было ли мне предложено выступить или я попросил слова сам, но я вышел за трибуну с твердым намерением сказать о лицемерном характере всей этой затеи — ведь речь шла не о борьбе с мнимым формализмом и

абстракционизмом, с мнимыми идеологическими ошибками, а о борьбе с правдой и с правом писателя быть самим собой. Как только это намерение стало ясным, Александр Евдокимович и меня начал обрывать на каждом слове, а потом принялся буквально стаскивать с трибуны. Поскольку я «огрызался» и не уходил, Александр Евдокимович апеллировал к послушной ему части аудитории и поставил на голосование вопрос о лишении меня слова. Не очень убедительным большинством (что для того времени тоже было редкостным казусом) я был объявлен лишенным голоса. Покидая трибуну, я — скорее по причине растерянности, нежели по глубокомыслию, — сообразил сказать Корнейчуку: «Вы можете лишить меня слова, но вас это не спасет». Дерзкая фраза произвела некоторое замешательство в президиуме и в зале.

Сшибка с самим Корнейчуком считалась тогда делом весьма опасным. Помню, тогда же при случайной встрече в коридоре Василь Павлович Козаченко, бывший некоторое время редактором журнала «Вітчизна», где я работал, невесело пошутил, указывая на меня: «Молодий самогубець». Многие считали, что даром это для меня не пройдет. Но на самом деле никаких прямых последствий для меня ни выступление, ни стычка с председательствующим не имели. То ли соответствующее представление о Корнейчуке было несправедливым, то ли слишком мелок был для него этот эпизод в его большой политической игре.

И все же было для меня одно последствие. Притом самое приятное. Памятное и важное в жизни.

После упомянутого собрания я преспокойно возвратился в больничную палату — я лечился в это время в Институте туберкулеза, что на Байковой горе в Киеве, рядышком со знаменитым кладбищем. Видимо, по молодости я в те годы не очень расстраивался всевозможными неприятностями, конфликтами, проработками, увольнениями с работы и т. д. А в своем выступлении вообще ничего чрезвычайного не видел. Более того, считал его неудачным, так как не сумел сказать то, что хотел, высказался лишь по поводу обвинений в адрес Евтушенко, Вознесенского и украинских «шестидесятников», а до остального так и не дошел… Тем большим было мое удивление, когда на следующее утро, спустившись по вызову в комнату для посетителей, я увидел там ожидавших меня Владимира Леонтьевича Киселева и его сына Леонида, с которыми я уже был хорошо знаком, а с ними… Виктора Платоновича Некрасова, которого до сих пор видывал только на расстоянии.

Нас познакомили, Виктор Платонович от себя и своих друзей

вручил мне букет цветов и принялся выражать свои эмоции по поводу моего выступления — в таких словах, будто я и впрямь совершил нечто особенное. Увы, в те времена и элементарное несогласие с очевидной чушью, если она благословлена была сверху, действительно выглядело в глазах многих чем-то необычным. К тому же Виктор Платонович испытывал, видимо, благодарность ко мне за то, что мое поведение несколько подпортило праздник идеологического четвертования неугодных и поставило в конфузное положение бонзу Корнейчука, столь упорно стремившегося его уязвить. Этим, видимо, и объяснялись его преувеличенные чувства.

Так или иначе, но с тех пор между нами установились отношения, о которых я еще днем ранее и не мечтал: ведь Виктор Платонович был для меня не только представителем другого поколения и другой среды, но и чуть ли не живым классиком, ходячей знаменитостью. Он оказался очень простым в манерах и общительным, деятельным и любопытным, а психологическую и возрастную «дистанцию» снимал легко и незаметно. Словом, мы довольно часто встречались и вдвоем, и в обществе знакомых, обменивались мнениями о важных и неважных событиях, обсуждали многие вопросы — и литературные, и, разумеется, политические; Виктор Платонович знакомил меня со своими друзьями — киевлянами и москвичами, я знакомил его со своими друзьями, с молодыми украинскими литераторами. Так что некоторые стороны жизни Виктора Платоновича в эти годы мне известны не из чужих уст, и, видимо, кое-что стоит рассказать.

Он был ревностный киевлянин, любил свой город, может быть, не так шумно, как одессит Одессу, но не менее истово. С удовольствием водил своих знакомых, особенно приезжавших из других городов, по киевским улицам, показывал достопримечательности. Излюбленным местом таких «экскурсий» был Подол, а более всего — Андреевский спуск. Тут он с какой-то гордостью показывал дом, в котором жил Михаил Булгаков, и комментировал события, описанные в «Белой гвардии», привязывая их к «топографии». Надобно напомнить, что в те времена о Булгакове почти никто ничего не знал и о доме на Андреевском спуске ведали немногие. Во всяком случае, мне лично он первый показал этот дом. Любовно хранил он фотографии Булгакова, его семьи, окружения и, указывая на исполненные то ли достоинства, то ли надменности аристократические лица, неизменно иронизировал — имея в виду известные пропагандистские стереотипы: «Ну, какова белогвардейская сволочь?!» В общем, он был едва ли не первым киевским «булгаковедом» — так сказать, неформальным.

Одним из первых заговорил он и о судьбе Успенского собора Киево-Печерской лавры. Тогда обязательной была официальная версия уничтожения величайшего шедевра Киевской Руси: взорван немецко-фашистскими оккупантами. Малейшее сомнение в этом считалось кощунственным. Но Виктор Платонович открыто говорил то, что втайне знали многие киевляне: собор уничтожили мы сами, заложив в него мины замедленного действия и затем взорвав их. Он собирал соответствующие доказательства, свидетельства, что-то писал об этом. Кажется, уже будучи за границей, он высказывался на эту тему печатно.

Послевоенная застройка Киева была для Виктора Платоновича как архитектора источником эстетических мучений. Впрочем, не только послевоенная. С уничтожающим сарказмом высказывался он о двух киевских монстрах, архитектурных символах эпохи — правительственном здании почти что на месте уничтоженного Михайловского Златоверхого собора и здании Совета Министров Украинской ССР на улице Кирова, построенных в стиле мрачною имперского монументализма. Болезненно воспринимал он и аляповатые официальные памятники, которыми принялись «украшать» Киев в 1960—1970-е годы. Кстати, о памятниках. С разговорами о них связано у меня одно конфузное воспоминание. Как-то в гостях у Виктора Платоновича были московские скульпторы, не помню уже, кто именно. Он возьми и спроси меня: какой из виденных мною в жизни памятников мне больше всего понравился. Я сказал: памятник Артему в Святогорске работы Кавалеридзе. Виктор Платонович удовлетворенно хмыкнул. Но я вдруг добавил: и скульптура «Рабочий и крестьянка» Мухиной, которую я видел в студенческие годы во время экскурсии на Всесоюзную Сельскохозяйственную выставку (так она тогда называлась). Надо было видеть, как скривился Виктор Платонович, будто от зубной боли, как он гримасничал и в конце концов, словно извиняясь перед своими гостями, шутливо-великодушно произнес: «Простим ему — он был юн».

Исключительное место в жизни Виктора Платоновича занимала забота о маме, Зинаиде Николаевне. Происходя из русской демократической дореволюционной интеллигенции, она сочетала широкую образованность и внутреннюю культуру с простотой и скромностью, но вместе с тем и моральным ригоризмом. Позже Виктор Платонович расскажет о ней в одном из очерков, вошедших в его книгу «По обе стороны стены» (Нью-Йорк, 1984). К тому времени, когда я начал посещать Некрасовых, Зинаида Николаевна была уже в очень преклонном возрасте, двигалась и говорила с трудом. Но сохранила некое суровое

достоинство, заставляющее испытывать не только почтение, но и чуточку страха. С годами мать стала почти что беспомощной, и Виктор Платонович должен был постоянно находиться при ней. Неизменные раньше прогулки вдвоем с мамой становились всё реже и непродолжительнее, а всё больше Виктор Платонович просиживал у ее постели. Отпускала она его неохотно, да и сам он боялся оставить ее надолго. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что она была несколько деспотичной в своей любви к сыну. Во всяком случае, вспоминаю, как однажды в Ялте, где мы с Виктором Платоновичем встретились (он находился в Доме творчества писателей — очень любил этот ялтинский Дом, — а я лечился в тубсанатории в Алупке), она крайне строго выговаривала ему за то, что надолго оставил ее, — хотя на самом деле он отлучился буквально на десять минут, чтобы познакомить меня с Вениамином Кавериным. Дома, принимая гостей, Виктор Платонович старался расположиться так, чтобы разговор происходил на виду у мамы, — учитывая ее ревнивый интерес. Она уже плохо слышала, но время от времени вдруг включалась в разговор и что-то настойчиво переспрашивала. И сын терпеливо, ровным голосом (иногда по нескольку раз) ей всё объяснял. На телевизоре у Виктора Платоновича появился в 1969 году окаймленный траурной рамкой портрет чешского студента Яна Палаха, совершившего самосожжение в знак протеста против интернационалистской оккупации Чехословакии братскими социалистическими странами в августе 1968 года. Зинаида Николаевна время от времени спрашивала, чей это портрет, и каждый раз получала исчерпывающий ответ, будто речь о нем заходила впервые. Меня удивляло, как у Виктора Платоновича хватало времени и энергии еще на что-то, кроме забот о маме. То есть не хватало, конечно, но как он их находил…

С Зинаидой Николаевной у меня связано одно не совсем приятное для моего самочувствия воспоминание. Дело в том, что она неохотно отпускала сына еще по одной причине: частенько он возвращался навеселе. Этого она не любила и справедливо опасалась некоторых знакомых сына, специализировавшихся на странной угодливости перед этой слабостью Виктора Платоновича. Но я оказался в числе тех, к кому она прониклась доверием. Я действительно старался, как мог, оградить Виктора Платоновича от этих неизменных «своих боевых ста грамм», как он упорно и виновато пошучивал. Но вот однажды — не помню уже, по какому случаю, — и я не удержался. В превосходнейшем настроении мы возвратились к полуночи и радостно направились к Зинаиде Николаевне. Но она посмотрела так — на меня, не на Виктора Платоновича, — что я мигом отрезвел. С тех пор она

изменилась ко мне, сделалась холоднее — или, может быть, мне так показалось по свойственной мне мнительности.

Круг знакомств Виктора Платоновича был очень обширен и чрезвычайно разнообразен. На квартире у него можно было встретить и писателей, и художников, и архитекторов, и кинематографистов (преимущественно не из числа преуспевающих, а из числа не очень признаваемых, а то и вовсе не признаваемых «верхами»), и «просто диссидентов». Всё совестливое, несогласное с официальной рутиной либо тянулось к нему, ища сообщества или поддержки, либо с ним так или иначе солидаризировалось. Через Виктора Платоновича в значительной степени осуществлялась связь киевской неконформистской интеллигенции с московской, более многочисленной и активной. У него часто останавливались «эмиссары» московских диссидентских групп.

Виктор Платонович знакомил меня со многими своими московскими друзьями, и за этим, как я понял, стояла забота о том, чтобы я, потерявший к тому времени возможность печататься на Украине, получил доступ к московским журналам. Иногда эта его забота принимала просто трогательный характер. Так, прочитав в рукописи мою статью о Сервантесе, он тут же позвонил в «Вопросы литературы» своему другу Л. Лазареву, принялся обзванивать другие редакции. Будучи в дружественных отношениях с «твардовской» редакцией «Нового мира», он постарался отрекомендовать меня, и я получил возможность печататься там. Впрочем, вскорости эта возможность была потеряна — в связи с разгромом «Нового мира».

У меня хранятся две записки от Александра Исаевича Солженицына, переданные через Виктора Платоновича.

Квартира Виктора Платоновича была всегда открыта для гостей, и их тут перебывало великое множество. А в конце 1960-х годов ее буквально оккупировали неугомонные молодые люди, раздражавшие Зинаиду Николаевну своей шумливостью, а некоторых его старых друзей — бравированием крайне резкими политическими суждениями. Последнее было в то время слишком опасно, чтобы относиться к этому легковесно. Возможно, случались среди этой публики и люди сомнительные, а то и провокаторы. Во всяком случае, некоторые из живших и гостивших у Виктора Платоновича оказались нечистыми на руку: исчезали редкие книги, а то и ценные вещи. Но он не замечал этого. И не только по слепой доверчивости. Но и потому, что видел других — и их ему важнее было видеть: честных, экзальтированных, бескомпромиссных… Наверное, он нуждался в этом общении с бесстрашной молодостью, а может быть, и более

того — чувствовал внутреннее сродство с нею: его неувядающий дух упрямо тянулся к «безрассудному» максимализму молодости. Или в душе его происходила знакомая многим из нас внутренняя борьба между самооберегающей осмотрительностью и укоряющим, мучающим нравственным зовом — и этот последний побеждал? Кто знает. Но хорошо помню один случай. В ответ на увещевания и упреки друзей в том, что среди льнущих к нему молодых людей, которым он отдал себя на растерзание, есть и психически неуравновешенные, душевнобольные, — Виктор Платонович однажды обронил суждение, поразившее меня своей глубиной и справедливостью: «Они (то есть так называемые „душевнобольные“. — *И. Д.*) отличаются от нас (то есть „здравомыслящих“. — *И. Д.*) только тем, что они честнее». Действительно: в атмосфере брежневской «стабилизации» тот, кто всё додумывал до конца и был до конца честен, оказывался либо в тюрьме и концлагере, либо в «психушке», либо действительно терял психическое равновесие. Исключений было не так уж много. И не так уж часто естественное приспособление к объективным обстоятельствам удерживалось на грани, за которой начиналась беспринципность.

…И тем не менее «чрезмерность» знакомств Виктора Платоновича и хаотичность этого общения не только дезорганизовывали его рабочий день и создавали психологические перегрузки, но и представляли — в тех условиях — немалую опасность для его судьбы вообще. И в этом отношении благотворной для него была перемена, происшедшая в последние годы жизни в Киеве, когда в его дом вошла жена, Галина Викторовна, упорядочившая его быт и труд.

Мое знакомство и сближение с Виктором Платоновичем пришлось на те годы, когда на Украине начало зарождаться национально-культурное (а отчасти и политическое) движение, наиболее явственно выразившееся в так называемом «шестидесятничестве» — в новой волне в литературе и искусстве, интеллектуальной жизни. Виктор Платонович живо заинтересовался этим явлением. Поэтому в моих отношениях с ним, во всех наших разговорах и дискуссиях почти всегда зримо или незримо присутствовало то, что можно условно назвать украинским национальным вопросом. Сначала — в его более узком, литературном, аспекте. У меня сложилось впечатление, что он, как и большинство русских (или ориентированных на русскость) интеллигентов, живущих на Украине, раньше мало задумывался о национальном бытии украинского народа, о проблемах украинской истории и культуры и еще меньше о них знал. Национальное лицо Украины в его представлении

отождествлялось с лицом Союза писателей, его руководства. А отношения с Союзом писателей Украины у Виктора Некрасова всегда были сложными.

Тут надо сказать, что в те времена руководство Союза писателей Украины, помимо присутствия в нем некоторых выдающихся, заслуженно авторитетных и в высшей степени интеллигентных людей, в целом занимало сугубо верноподданическую и порой крайне реакционную позицию по всем вопросам художественной политики и во всех идеологических конфликтах. Разумеется, это не трудно было объяснить историческими причинами — ну, хотя бы теми жестокими проработками и чистками, которые непрерывно обрушивались на украинскую интеллигенцию, постоянно терроризируемую обвинениями в национализме. Там, где политическим страхам придан еще и национальный компонент, — сервилизм всегда превосходит обычную меру. Но до истории ли было Виктору Некрасову, когда он видел, как деятели СПУ, будто одержимые неистовым желанием быть б**о**льшими католиками, чем сам папа, с такой самоотдачей «вырываются вперед» в каждой из следовавших одна за другой идеологических кампаний! И он склонен был свое негативное отношение к СПУ, к официальной маске украинской литературы, в известной степени распространять и на саму эту литературу вообще, сомневаясь в ее творческих потенциях и исторической перспективе.

В свою очередь, среди части украинских писателей — тех, чей искренний, но ограниченный патриотизм был искажен казенной идеологической ориентацией и верноподданичеством, — было распространено представление о Викторе Некрасове как чуть ли не об «украинофобе» (и мне, например, приходилось выслушивать упреки за то, что «стакнулся» с ним). Представление, разумеется, совершенно превратное, но оно странным образом питалось не только независимым и горделивым поведением Виктора Платоновича по отношению к СПУ (сходным, кстати, и с отношением некоторых молодых украинских литераторов, например, Лины Костенко или, несколько позже, Василя Стуса), но и некоторыми его высказываниями и публикациями. Особенный шум и даже негодование вызвали его суждения об А. Довженко.

Виктор Некрасов стоял на позициях трезвого и честного реализма не только по свойствам своей изначально правдивой и прямодушной натуры, но и по своим эстетическим склонностям. Естественно, они выражались и в его суждениях о делах литературных. Не приемля никакой напыщенности, риторики, приукрашивания и «приподымания» действительности, он одну

из бед советской литературы времен государственно предписанной и государственно соблюдаемой неправды видел в насаждении патетического тона, «красивой» романтизации, а это последнее связывал, в частности, и с абсолютизацией эстетических принципов А. Довженко, в том числе и его известной формулы о золоте высокой правды и «медных пятаках» маленьких бытовых правд. Выступление В. Некрасова оскорбило украинских «патриотов», и их реакция казалась тем более обоснованной, что лишь недавно имя Довженко было выведено из полузабвения (после многих лет пребывания в немилости), лишь недавно смогли появиться в печати его новые произведения, напоминавшие об огромных возможностях его таланта (и, естественно, с ним связывались надежды на открытие новых художественных горизонтов, а то и на спасение от мелкотравчатости и бездумности), наконец, еще свежо было ощущение недавней невозвратимой потери.

Разумеется, Виктор Некрасов совершенно прав был, выступая против «лакировки» и лживой патетики, всем уже опостылевшей. И вовсе не отрицал он Довженко вообще. Но чего-то, на мой взгляд, не учел он и в оценке самого Довженко — хотя бы трагизма судьбы великого художника, оторванного от родины — Украины — и фактически лишенного возможности трудиться, с негласным запрещением «писать и рисовать». Не знал он и истинного облика Довженко — не мог знать, как знаем мы, имеющие возможность прочесть его мужественно-проницательные и мудрые мысли в «Дневниках», мысли человека, понимавшего еще и полстолетия назад то, к пониманию чего мы пришли лишь теперь. Но главное — Виктор Некрасов стал жертвой обмана. Он спорил, по сути, не с Довженко, а с той совершенно фальшивой интерпретацией его взглядов, которую давали лакировщики и официальные гимнотворцы, жульнически прикрывавшиеся именем Довженко. Ведь, говоря о высоком, Довженко всегда разумел моральную и интеллектуальную высоту художника, масштабность его мысли, только и позволяющие постичь глубину драматизма жизни, а отнюдь не словесное её превознесение. Его преданность высотам духа была гневной укоризной духовному ничтожеству и бесплодию времени и искусства этого времени.

Этого, на мой взгляд, не учел Виктор Платонович, и об этом нам случалось говорить, поскольку отголоски былых страстей вокруг этой темы еще долго не угасали. Но в спорах с его оппонентами я склонялся скорее на его сторону — в том смысле, как я это попытался объяснить выше.

Отношение Виктора Некрасова к украинской литературе и украинским делам вообще особенно изменилось под влиянием

движения «шестидесятников». Его интерес привлекли и Василь Симоненко, и Виталий Коротич, и Иван Драч, и Микола Винграновский, и, разумеется, Лина Костенко. Конечно же, он знал цену таким мастерам старших поколений, как Максим Рыльский, Павло Тычина, Микола Бажан, Андрий Головко (по крайней мере, догадывался, учитывал сложившуюся их репутацию — хотя, наверное, мало что из них читал, если вообще читал). Но эти люди были для него в прошлом, какого-то противостояния «свинцовым мерзостям» нынешней жизни он за ними не улавливал. А ему важно было именно это, увлечь его можно было словом или поступком, срывавшим завесу лжи. Вот почему он начал проникаться интересом и симпатией к «украинству» именно в связи с литературными и политическими выступлениями «шестидесятников». Когда начал развиваться украинский «самиздат», ни один из его документов не прошел мимо Виктора Некрасова.

Теперь он уже был далек от того наивного недоумения, с которым возражал мне прежде: «Но ведь украинский язык никто не притесняет — вон Шевченко в каждом киоске продается: куда ни глянь, везде Шевченко» (кстати, я так и не понял, откуда взялось у него такое представление: как раз в те годы достать «Кобзарь» Шевченко было проблемой — не потому, что его не издавали, издавали, но тиражами, не удовлетворявшими спрос). Теперь он возмущался разгонами молодежных собраний и митингов, в частности возле памятника Тарасу Шевченко, преследованиями представителей молодой украинской творческой интеллигенции (например, уничтожением в Киевском университете витража, созданного Панасом Заливахой, Аллой Горской и другими художниками, исключением из университета молодого поэта Миколы Холодного и т. д.). Апогеем этих преследований стали в тот период аресты (осенью 1965 года) большой группы людей, среди которых были литературный критик Иван Светличный (хорошо известный Некрасову), Вячеслав Черновил, а во Львове — Михайло Горынь, Богдан Горынь, Михайло Косив и другие. Виктор Платонович был взволнован этими репрессиями и не раз говорил мне, что надо что-то делать, как-то протестовать. Я отвечал ему, что пишу обстоятельное письмо протеста, в котором попытаюсь вообще проанализировать сложившуюся ситуацию. Это его заинтересовало, и он часто спрашивал, когда будет готово письмо (тогда этот своеобразный жанр политической публицистики как раз обретал популярность).

А мое «письмо» всё разрасталось и разрасталось. Собственно, само письмо — в адрес первого секретаря ЦК КПУ П. Е. Шелеста и

председателя Совета Министров УССР В. В. Щербицкого — было не очень пространным, но к нему я решил приложить материал под названием «Интернационализм или русификация?», где пытался показать пагубность той национальной политики, которая осуществлялась на Украине под прикрытием фальшивых слов об интернационализме. Сочинение этой вещи заняло более трех месяцев напряженного труда (при том, что кое-какие заготовки у меня уже были: я и ранее задумывал что-то подобное). Готова она была лишь к концу года. Упоминаю об этом не только потому, что Виктор Платонович был одним из первых читателей моего опуса, но и потому, что он, сам того не ведая, косвенным образом побуждал меня к его написанию; во-первых, поторапливая с предполагавшимся «письмом протеста»; во-вторых, пытаясь уяснить для себя суть того, что официальная пропаганда называла тогда «украинским буржуазным национализмом». За Виктором Платоновичем мне виделась та часть русской интеллигенции, которая хочет и способна занять честную позицию в украинском национальном вопросе, но недостаточно осведомлена о нем. Этих людей как возможных собеседников я тоже имел в виду, хотя формально материал свой адресовал ЦК КПУ и ЦК КПСС — в наивной надежде убедить их, что политика русификации, подавления национально-культурных интересов народов и репрессий против инакомыслящих может лишь погубить дело социализма и противоречит коммунистическим идеалам.

Прочтя «трактат», Виктор Платонович выразил согласие с ним, но, к некоторому моему удивлению, наибольшее впечатление на него произвели не мои собственные рассуждения и доказательства, а процитированное мною письмо одного читателя, который, говоря о неравноправном положении украинского языка по сравнению с русским, заметил: с русским языком можно проехать всю Украину и обойтись без украинского, а с украинским без русского на Украине не обойдешься… Это простое наблюдение более всего поразило Виктора Платоновича. Видимо, он шел к пониманию всех человеческих проблем, в том числе и национальных, от здравого смысла и чувства справедливости.

В дальнейшем Виктор Некрасов неизменно проявлял живой интерес к украинским делам, радовался всяким проявлениям нонконформизма, присоединялся к ряду политических протестов. Его подпись стояла под известным письмом 139 деятелей науки и искусства Украины к руководству СССР по поводу новых арестов и преследований в республике и в Союзе; под открытым письмом А. Полторацкому по поводу провокационной статьи последнего в

«Літературній Україні» с грубейшими измышлениями в адрес В. Черновола и др. Разумеется, и ему, и мне приходилось не раз «держать ответ» за это, пока что перед писательским ареопагом.

…Теперь позволю себе рассказать об одном из наиболее памятных в моей жизни дней — поскольку это тоже связано с Виктором Платоновичем Некрасовым. Был сентябрь 1966 года. В 20-х числах Виктор Платонович передал мне через общих знакомых записку, в которой просил зайти к нему 29-го к часу дня. Я догадывался, что это означает. Ведь 29 сентября было особенным днем в жизни многих киевлян. Одни киевляне в этот день шли с букетами цветов и траурными лентами на ту окраину города, название которой стало печально известным всему миру: Бабий Яр. Некоторые другие киевляне в это же время ломали голову над тем, как не допустить большого скопления первых в этом месте и как вообще уготовить ему забвение. Третьи киевляне по приказу вторых ревностно наблюдали за первыми, а в случае надобности и «применяли меры» по отношению к наиболее беспокойным из них. А 29 сентября 1966 года было не просто очередной годовщиной начала трагедии в Бабьем Яре, а ее 25-летней годовщиной. Четверть столетия скорбной памяти, не то чтобы прямо возбраняемой, но как бы предосудительной, с точки зрения властей, что подчеркивалось и державным размахом работ по изменению самой топографии Бабьего Яра.

В обусловленное время я был у Виктора Платоновича. Застал у него его друзей из Киевской киностудии научно-популярных фильмов. Руководимые Гелием Снегиревым, они готовились что-то заснять: предполагалось, что в этот день людей будет более обычного и, если не запретят, событию будет придан некий ритуал.

Но когда мы приехали в Бабий Яр, то были совершенно поражены увиденным. Все окрестные холмики и взгорья облепили многочисленные и поначалу разрозненные толпы людей. Но эта неуправляемая стихия была как бы одно живое существо. На лицах людей застыло страдание, а глаза были нездешние: они смотрели в глубь времени и видели жуткую картину того, что не стало для них прошлым. Тень давнего ужаса и какой-то человеческой потерянности витала над Бабьим Яром, и тысячи безмолвных в своей потрясенности людей были как бы воплощенным немым воплем целого народа.

Люди молчали. Но это было вопрошающее безмолвие. Люди хотели слушать, слышать. И когда пронесся слух, что «приехали писатели», к нам бросились, нас растащили в стороны, каждого окружили плотной толпой и требовали: «Скажите, скажите хоть что-нибудь!..» Не слышал, что говорил Виктор Платонович, — я

оказался в другой толпе, — но, видимо, ему, прославленному писателю и фронтовику, было легче найти нужные людям слова. А их потом передавали из уст в уста, дополняя и комментируя.

Конечно же, не случайно оказался Виктор Некрасов в Бабьем Яре. Это место стало символом не только фашистского геноцида, но и «нашего» надругательства над памятью сотен тысяч жертв. Оно взывало к совести человека и писателя. И Виктор Платонович остро воспринял этот зов. С неизменным упорством, доводя до крайнего раздражения идеологических и прочих чинуш, добивался он «легализации» памяти жертв фашизма, создания достойного мемориала в Бабьем Яре, прекращения мелкого жульничества насчет характера трагедии, когда за справедливыми словами о том, что тут погибли советские люди многих национальностей, пытались зачем-то скрыть факт, что «начался» Бабий Яр с массового и целенаправленного уничтожения гитлеровцами евреев. «Конечно, — отвечал Некрасов, — здесь расстреливали не только евреев. Но только евреев расстреливали за то, что они евреи». И если удалось все-таки предотвратить планировавшееся превращение Бабьего Яра в спортивно-увеселительную зону, если сегодня торжествует правда памяти, действует общественный историко-просветительный центр «Бабий Яр», ставится вопрос о создании Музея памяти жертв Бабьего Яра — то в этом велика заслуга Виктора Некрасова. Уверен: Виктор Платонович приветствовал бы увековечение всех жертв Бабьего Яра. Увы, почти никто не знает, что там же фашисты расстреляли в 1942 году украинских поэтов Олену Телигу и Ивана Ирлявского — «националистов», с имен которых только недавно снято табу.

Еще один момент хочу воспроизвести — не имевший такого значения для Виктора Платоновича, как всё, что связано с Бабьим Яром, но также показывающий его глубокое уважение и взволнованное отношение к памяти о трагических жертвах вообще. 29 января 1968 года исполнялось пятидесятилетие со дня гибели украинских студентов-добровольцев из Студенческого куреня, брошенных Центральной радой в бой на станции Круты против армии Муравьева, шедшей на Киев. Группа молодежи отметила эту годовщину возложением траурных венков на Аскольдовой могиле, где они были похоронены. Я рассказал об этом Виктору Платоновичу, прочитал ему не печатавшееся многие десятилетия стихотворение П.Тычины «На Аскольдовій могилі поховали їх, тридцять лицарів прекрасних, мучнів молодих…». Он ничего этого не знал и был ошеломлен, предложил сходить на Аскольдову могилу и увидеть венки (так его радовали всякие проявления непокорности, всякие нарушения

мертвого благопорядка!). Мы отправились туда на следующее утро (понимая, что венкам долго не пролежать). Но увы — то ли опоздали, блюстители порядка нас опередили, то ли снегом всё замело безнадежно (зима тогда стояла лютая). Намерзлись здорово, но Виктор Платонович не роптал.

Я уже упоминал о том, что с 1969 года в квартире Виктора Платоновича на телевизоре стоял портрет Яна Палаха, окаймленный траурной рамкой. Надо добавить, что возле него всегда лежали свежие цветы. Это — тоже на тему об отношении Виктора Платоновича к трагическим жертвам, к самопожертвованию во имя свободы…

Был в жизни Виктора Платоновича один-единственный момент, когда верховная власть почувствовала свою вину перед ним и косвенным образом попросила прощения. Случилось это после снятия Н. С. Хрущева. Известна традиция нашего государства: отмежевываться если не от больших, то хотя от мелких пакостей предыдущего правления, «валить» всё на него. Так вот, вспомнили о напраслине, которую возвел на Виктора Некрасова «волюнтарист» Хрущев. Писателя пригласил первый секретарь ЦК КПУ Петр Ефимович Шелест. Начал собираться Виктор Платонович… На обложке одной из его книг, изданных у нас в те годы, отпечатано его фото во весь рост: прямо лондонский денди — изящное полупальто, модный галстук, штиблеты… Да, он мог бывать и таким. Но обычно ходил в неизменном пиджачишке поверх сорочки с расстегнутым воротником — это был его «фирменный» вид, по которому его издалека узнавали (кстати, он любил рассказывать с юмором о том, как во время поездки в Италию его не пустили в «Ла Скала», поскольку у него не оказалось черного костюма, а он по традиции там необходим). Так вот, в этом же виде — в сорочке с расстегнутым воротником и в пиджачишке — отправился он и на высокий прием. С превеликим удовольствием рассказывал о том, как были шокированы лица, предуготовлявшие эту встречу с руководителем республики… Хотя с его стороны в этом никакой нарочитости не было: просто не придавал значения.

А сама встреча с Шелестом прошла хорошо и произвела на Виктора Платоновича благоприятное впечатление. Помимо того, что перед ним фактически извинились (кажется, речь шла и о снятии партийного взыскания), — ему понравился сам Петр Ефимович, вопреки известному его предубеждению против руководителей высокого ранга. С особенным удовольствием рассказывал, как Шелест сочувственно сказал: «Да, нелегко в наше время быть писателем». Тут Виктор Платонович улыбался и иронически добавлял в адрес наших лукавых вождей: «*Они* все

понимают, все понимают!»

Но спокойствие вокруг Некрасова воцарилось ненадолго. Под конец 60-х годов атмосфера начала снова сгущаться, над ним снова поплыли зловещие тучи и загремели громы. Готовились новые репрессии. А у тех, кто их готовил и направлял, Виктор Платонович вызывал озлобление и тем, что активно выступал в защиту преследуемых на Украине и в России, и своими обширными связями с «диссидентами», и причастностью к распространению «самиздата», и, видимо, «несдержанностью» в разговорах на политические темы (примеров которой можно было бы привести множество).

В ночь с 12 на 13 января 1972 года в Киеве, Львове и других городах Украины произведены были многочисленные аресты и обыски. В ту ночь и я был задержан. Но меня не сразу арестовали, а еще месяц или полтора допрашивали с утра до ночи, отпуская на ночь домой. Так вот, в одну из этих первых ночей, желая узнать, что же происходит (поскольку был от всего отрезан), я поймал передачу радио «Свобода» на польском языке (русские и украинские передачи глушились) и услышал следующее — до сих пор помню всё дословно: «На Украине, тржыманей в желязнэй рэнце сталиниста Шэлэста, поновне дошло до политычных арестув. Функционариушэ КэГэБэ зложили незаповяданый визит знакомитому писажэви Виктору Некрасову…» Вон как, подумал я, операция широкомасштабная, если и до Некрасова добрались… (Тут должен сделать одно существенное уточнение: ответственность «сталиниста Шелеста» за аресты 1972 года, мне кажется, минимальна: фактически в это время он уже был отстранен от власти, хотя номинально еще несколько месяцев оставался на своем посту. Есть доказательства того, что он противился арестам, но воспрепятствовать Брежневу, Суслову и Андропову не мог).

…После 20-месячного пребывания в следственном изоляторе КГБ на ул. Владимирской я возвратился домой прямо к 56-й годовщине Октября. 9 ноября 1973 года в газете «Літературна Україна» напечатано мое письмо, написанное в тюрьме, которое, собственно, и было условием моего освобождения. В нем я признавал свои ошибки и выражал сожаление в том, что причинил ущерб нашему государству, выразившийся в использовании буржуазной пропагандой моих сочинений. Не буду тут углубляться в то, почему и как я согласился сделать такое заявление. Скажу лишь, что в условиях, когда мои взгляды злонамеренно искажали, я рассматривал это как единственный доступный мне тогда способ сбросить с себя клеймо антисоветчика, которым меня прижигали и которое было для

меня мучительно; взять на себя эту тяжесть я не смог. Разумеется, по выходе на относительную свободу я находился далеко не в радостном состоянии духа, чувствуя себя потерпевшим поражение. Друзья и знакомые меня, естественно, избегали: одни — разочаровавшись во мне, другие — опасаясь быть обвиненными в общении с пусть и обезоруженным, но все-таки «врагом». Только три человека навестили меня тогда: Виктор Некрасов, Микола Лукаш, Грыгир Тютюнник. И первым был Виктор Платонович.

Он пришел 10 ноября. Как ни в чем не бывало. Поздравил с возвращением домой. Ни о чем не расспрашивал, кроме как о здоровье, о семье (с женой моей он поддерживал всё это время связь и понемногу помогал). Сообщил, что в телефонном разговоре с ним Андрей Дмитриевич Сахаров просил передать наилучшие пожелания. И тут же язвительно добавил: «А вот НН (назвал имя киевской писательницы, нашей общей знакомой. — *И. Д.*) имеет к вам претензии… Понимаете, Андрей Дмитриевич Сахаров не имеет, а НН, всю жизнь бывшая тише воды, ниже травы, — имеет!» Не знаю, действительно ли академик Сахаров просил меня приветствовать или Виктор Платонович просто решил меня подбодрить, но и тогда, и теперь я считал и считаю, что «тихая» НН имела такое же право укорять, как Виктор Платонович — великодушно прощать. Даже большее.

Впрочем, только ли в великодушии было дело? Как-то в другой раз, уже у него на квартире, Виктор Платонович обронил: «Было бы за что…» И жена, Галина Викторовна, повторила: «Да, было бы за что…» И мне вдруг стало горько: показалось, что он имел в виду не бессмысленность обвинений (тут и говорить не о чем было!), а зряшность самого дела, самой национальной идеи, о чем он раньше не отваживался мне сказать, чтобы не оскорбить, а теперь сказал, считая, что я сам от нее отошел. И я подумал, что, может быть, этим и объясняется его доброжелательное отношение и к моему публичному заявлению, и к моему возвращению. Если бы это было связано с другим делом, другой идеей — он бы, наверное, среагировал иначе. Стало обидно за эту идею, но кого винить, кроме себя самого?.. Впрочем, скорее всего я сам себе вообразил все эти сложности…

Наше общение продолжалось, но я заметил, что прежней гармонии в настроениях уже нет. За минувшие два года наша эволюция шла в противоположных направлениях: моя — в сторону поиска «примирения с действительностью», его — ко всё более обострявшемуся неприятию ее. Некоторые его суждения и оценки казались мне слишком категоричными, а некоторые — слегка шокировали. Скажем, такое: если бы, мол, в Политбюро нашлось хоть двое доверяющих друг другу, в стране каждый день

совершались бы государственные перевороты… Или, глядя в окно на ресторан «Метро» (окна его квартиры выходили как раз на него), он вдруг восклицал: «Смотрите, смотрите!» И, указывая на выходящую из служебного входа женщину с двумя огромнейшими «авоськами», объяснял: «За день выносят столько, что пол-Киева можно накормить. Вот чем сильна наша власть: позволяет народу красть, и народ доволен». Теперь-то я понимаю, что это — не столь уж мелочное наблюдение, но тогда во мне взыграл сарказм соцреалиста: тоже, мол, наблюдательный пункт для изучения жизни — окно киевской квартиры…

Вообще, я в то время почему-то вбил себе в голову, что Виктор Платонович оторвался от жизни, и думал я об этом с сожалением. Более того, затевал с ним разговоры о том, что ему-де полезно было бы поехать куда-нибудь, на большую стройку, например, на строительство разрекламированного тогда Ждановского прокатного стана «3600» (куда я сам ездил), набраться впечатлений. Мне казалось, что ему не хватает жизненного материала (именно так я воспринял, по недомыслию, высказанную им еще ранее, в конце 60-х годов, мысль о том, чтобы повести переписку на разные интересные темы с тем, чтобы из таких писем сделать впоследствии книгу). Впрочем, я понимал и главную причину его творческого кризиса: невозможность нормально работать в удушливой политической и идеологической атмосфере. Узел вокруг него стягивался, он уже жил под угрозой ареста, — и это тоже понуждало меня «советовать» ему на время уехать из Киева: то ли в Сталинград, то ли на какую-нибудь «великую» стройку. Разумеется, к этим разговорам и советам Виктор Платонович относился иронически, хотя и не подчеркивал этого. Боже, сколько благоглупостей я наговорил ему из «лучших побуждений»! Стыдно и вспоминать. И удивляюсь: как после этого он все-таки сохранил если не благожелательное, то, по крайней мере, терпимое отношение ко мне.

Виктор Платонович выражал сочувствие по поводу того, что мне приходится работать на авиазаводе, а не заниматься литературой. Я же, наоборот, горячо доказывал ему, сколь полезно будет для меня повариться в «рабочем котле». «Ну хорошо, — сказал он в заключение разговора, — может быть как раз вам суждено будет доказать, что никакого рабочего класса сейчас не существует». Увы, знал бы он, что я тогда думал совсем не о том. А о том, чтобы обрести в рабочем коллективе некое более глубокое понимание жизни…

Но творческий кризис все-таки был, и Виктор Платонович переживал его остро. Как-то Галина Викторовна, рассказывая о

том, что у них был в гостях писатель Х., прокомментировала извинительным тоном (я ведь считался очень «требовательным» критиком): «Ну, это такой… посредственный писатель». Виктор Платонович вдруг с несвойственной ему раздражительностью прервал: «Все мы посредственные писатели!» Я за этим почувствовал не только деликатность, не позволявшую ему унижать коллегу, но и боль от сознания собственной творческой невоплощенности, неполноты самопроявления.

Кстати, о деликатности, коль уж об этом вспомнилось. В начале нашего знакомства я при разговоре с ним переходил на русский язык, чувствуя, что украинский ему не очень привычен. Его это почему-то умиляло: вот, мол, какая вежливость, что ли (ведь имел дело с «оголтелым националистом»!). А меня удивляло его удивление: ведь никто другой из русских писателей и интеллигентов в Киеве так на подобные вещи не реагировал, считал переход на русский язык в их присутствии вещью само собой разумеющейся. Впоследствии Виктор Платонович сам нередко делал попытки перейти на украинский язык, хотя это ему не всегда удавалось.

Где-то в году 1973-м или 1974-м у Виктора Платоновича созрело решение выехать временно (сначала это мыслилось именно так) за границу. Я, как и многие его знакомые, отговаривал его. Во-первых, представляя, как ему будет тяжело на чужбине. Во-вторых, был уверен, что его не выпустят, а если он будет упорствовать в своем намерении — упекут в тюрьму. В тюрьме же ему, при его возрасте и характере, будет очень и очень трудно. Да и с его, увы, привычкой к неизменным «ста граммам» не выдержать. Об этом последнем моменте я, разумеется, ему не говорил. Больше о другом: что советскую политическую тюрьму может выдержать только тот, кто ненавидит этот режим, а лишенному чувства ненависти — не устоять (это почти всегда так, в этом я убедился на собственном опыте). А у вас, говорил я ему, ненависти ведь нет. «Есть! — отвечал он вдруг с удивившей меня страстью. — Есть! Не могу больше…»

После этого мы к таким разговорам не возвращались. За исключением одного случая. В те годы судьбы инакомыслящих на Украине решал один очень высокопоставленный товарищ, присланный сюда из Москвы специально для наведения порядка и борьбы с национализмом. Фактически я оставался под надзором, и время от времени он «приглашал» меня для профилактических бесед. В одной из них он, вроде бы без всякой связи с ходом беседы, мельком, «случайно», обмолвился о Некрасове: «Он уже одной ногой у нас» (то есть в КГБ). Выйдя из его кабинета, я задумался над этими словами. Поскольку говорившему их были

прекрасно известны мои отношения с Некрасовым, он мог сказать их только из расчета, что я передам их Виктору Платоновичу. Стало быть, его ведомство заинтересовано в том, чтобы я передал это Некрасову. Так должен ли я это делать? И что за этим стоит? Угроза? Предостережение? Я склонялся к тому, что его хотят удержать от выезда за границу и припугивают, чтобы он не настаивал на своем. И решил рассказать обо всем Виктору Платоновичу и поделиться с ним своими соображениями на этот счет — опять же, уговаривая его не уезжать.

Но он к моей доверительной информации отнесся совершенно спокойно, даже безразлично. Видимо, в своей ситуации он ориентировался лучше меня. И действительно: его не удерживали, а, наоборот, выталкивали из страны. Это окончательно подтвердилось во время визита к тогдашнему секретарю ЦК КПУ по идеологии В. Маланчуку. Рассматривая заявление Некрасова о выезде в связи с невозможностью нормально творчески работать, Маланчук не только не отговаривал его, но даже и не поинтересовался, чем же писатель недоволен. Об этом я знаю со слов самого Виктора Платоновича. Видимо, хотели, чтобы Некрасов уехал, хотели избавиться от «возмутителя спокойствия»…

…С его отъездом наше общение оборвалось навсегда. Возможно, учитывая мое опальное положение, Виктор Платонович не хотел усложнять его и не писал мне. По той же причине и я не искал связей с ним. (Лишь однажды Гелий Снегирев передал мне от Виктора Платоновича номер русского эмигрантского журнала, — то ли «Посева», то ли «Мостов», уже не помню, — в котором была статья Некрасова, имевшая некоторое отношение и ко мне). Теперь стыдно за такую осторожность (представляю, как Виктор Платонович рад был бы каждой весточке с родины), но тогда она представлялась разумной; думалось, что еще будет время всё наверстать. Увы, его не оказалось. Осталось чувство глубокой вины перед человеком, относившимся ко мне гораздо лучше, чем я того заслужил. Впрочем, он многим дал больше, чем получил от них.

…Читаю статьи и книги Виктора Некрасова, написанные и изданные вдали от родины. И с волнением нахожу в них слова о Киеве, об Украине, об украинской литературе, о дорогих нам людях… Читаю в книге «По обе стороны стены»:

> «Я прожил тот раз в Норвегии около месяца. Был гостем Миколы Радейко, популярного и уважаемого в

Осло врача, украинца по происхождению… Когда я гощу у него, мы всегда говорим по-украински.

В тот раз я жил в маленьком его домике в Лисебу. Это километрах в ста на юг от Осло… Библиотека, книги, в основном норвежские, но встречались и украинские. Роясь в них, я нашел и кое-что интересное. Про Леся Курбаса, Павла Тычину. В двадцатые годы Курбас считался интереснейшим, самым знаменитым украинским режиссером. Левого, конечно, толка. Его посадили, и больше никогда никто его не видел. Тычина был поэтом. Тоже знаменитым. Я не видел его ранних стихов. Прочитав, понял, что люди, говорившие мне о нем как о гениальном поэте, может быть, несколько и преувеличивали, но поэтом он был настоящим…»

Немножко наивно, может быть. Но меня растрогало: и там, далеко, Виктор Некрасов тянулся к Украине, к украинской литературе. Он там наверстывал то, чего лишен был здесь ввиду обстоятельств и предрассудков киевского бытия, в котором так мало места предоставлено было украинской культуре. Известно, что там он общался с украинскими интеллектуалами, выступал в печати и по радио на украинские темы, овладел украинским языком лучше, чем в Киеве…

И сегодня он возвращается не только в русскую литературу, но и в украинскую, другом которой так или иначе стал. Возвращается? Да, к кому-то возвращается. А в ком-то был всегда.

Киев, 1989.

Журахович Семён
Несгибаемый

Когда я вспоминаю Виктора Некрасова, то в памяти прежде всего встает последняя встреча с ним — до боли грустное прощание. О печальных этих минутах осталась у меня в старой тетради короткая запись. Я сделал ее не потому, что боялся забыть, как он выглядел, что говорил. Такое не забывается. Где-то в глубине души таилась надежда, что эта и разные другие записи когда-нибудь увидят свет.

Пусть читатель не сочтет сие наивностью. Наша дьявольски сложная и зачастую абсурдная жизнь научила многому. И, в частности, тому, что приговоры властителей не вечны, что бывают крутые повороты и переоценки, что веское слово (тоже не окончательное!) говорит завтрашний день.

Привожу здесь свои давние заметки: «Встретился с Виктором возле Шевченковского сада. Больно смотреть на его осунувшееся лицо, углубившиеся морщины, поседевшие виски. Во взгляде та же твердость („на том стою!“), неизменная ирония, но и то, что появилось в последние годы: боль и немой вопрос: „За что?“ Говорит тихо, нервно. С трудом сдерживаемая ярость прорывается крепкими словечками. „Вон там, — показал вправо, — в том темно-сером здании мне благосклонно растолковали, что я должен благодарить за то, что меня изгоняют на чужбину. Вот такой разговорчик после сорокадвухчасового обыска. Да, да!.. Не делай большие глаза. Сорок два часа. Семь мешков „крамолы“ собрали. Уж как они старались! Как ликовали, увидев кипу журналов „Пари-матч“, который продается в каждом московском киоске. Да еще польские книги и журналы. Для них всё заграничное — уже контра. К моим рукописям прикасались будто к бомбам. Да что там рукописи! Всю одежонку, всё бельё перещупали. Подштанники в том числе. А вчера вызвали туда. Повели не к какому-нибудь клерку, а к генералу. Вальяжно рассевшись в кресле, он, хитроглазый, разъяснил мне, что я должен благодарить за то, что меня вышвыривают из родного Киева. Мол, спасибочки, дорогие мои. Ибо достаточно ему нажать маленькую кнопку, и крепкие молодчики, сидящие в приемной, возьмут меня под ручки и препроводят куда следует. Не уточнил, правда. То ли на каторгу, за колючую проволоку. То ли в психушку, что пострашнее. Представляешь, сидит в кресле владыка моей судьбы, смотрит очами гремучей змеи и ждет моей благодарности. Мое молчание его бесит. А меня бесит то, что не могу сказать ему парочку слов…“

После тягостной паузы вдруг о другом: „Я-то о Киеве буду думать изо дня в день. А будет ли он обо мне помнить?“

Какие-то бессильные слова вырвались у меня. Оборвал: „Брось! Не надо…“

Обнял и кинул свое привычное: „Не дрейфь!..“

Я, замерев, стоял и смотрел ему вслед. Поворачивая за угол, он, оглянувшись, прощально помахал мне рукой».

* * *

Да, ему угрожало то, что пострашнее каторги. И только потому, что был свободным человеком, что не мог примириться с преследованием не только инакомыслия, но и мыслия вообще. С отвращением отшвыривал готовенькую кашку, преподносимую «сверху»: жуйте!

Еще в годы переменчивой и виляющей оттепели Некрасов привлек к себе внимание всевидящих очей и всеслышащих ушей. И это «внимание» всё усиливалось.

— Стукачи? — с презрением говорил он. — Плевать я на них хотел. Пусть доносят о каждом моем слове хоть самому Никите. Но омерзительна вся эта грязная игра с человеком. Я же их не подслушиваю! А если бы люди знали, что они тайком, цинично хихикая, говорят о народе? А говорят они такое: «Вот дурни! Любую глупость болтнем, любую ерундовину учиним, а они аплодируют и кричат: „Ура!..“» Вот взять бы да у них установить микрофончики, да обнародовать по радио, по телеку. Смотрите и слушайте, люди: вот они, вождики, без маски. Вот бы такой рассказ написать! Нет, лучше фильм…

— Порой говорят, — делился Некрасов, — что самое главное сохранить внутреннюю свободу, не согнуться. Но что значит для писателя сия внутренняя свобода при разгуле произвола? При том, что творится черное беззаконие, что похоронены тысячи книг, а новые убивают в зародыше? Жить с кляпом во рту?

Но к чести Некрасова надо сказать, что за все тридцать послевоенных лет, прожитых им у нас, так никому и не удалось впихнуть ему казенный кляп. Чем сильнее старались его согнуть, тем яростнее он сопротивлялся. Его травили от имени народа те, кто в самом деле был чужд народу. А близок ему, народу, как всегда, во все времена, честный художник, всем сердцем сострадающий людям. Его объявляли отщепенцем, но именно он с полным правом мог бы повторить ставшее теперь знаменитым выражение Андрея Платонова: «Без меня народ неполон».

На горьком примере Виктора Некрасова наглядно видна извечная трагическая коллизия: художник и деспотия, талант и тираническая власть, безжалостно его губящая.

Как же тяжко было ему, оскорбленному, исхлестанному, травимому, но твердо знающему, что его правдивое слово нужно людям, как же тяжко было ему стать изгнанником, лишиться родины навсегда.

* * *

Уже много сказано и написано о неприязни Хрущева к интеллигенции, о его бескультурности, о его бесцеремонной и беспардонной манере судить обо всём, в том числе и о том, о чем понятия не имел. Литература, архитектура, изобразительное искусство — надо всем вершил свой суд.

После Дудинцева и Пастернака попал под горячую руку

Хрущева и Виктор Некрасов. Впервые озлобление Хрущева вызвало выступление Некрасова в «Литературной газете» с призывом соорудить памятник жертвам геноцида в Бабьем Яре. (Напомню, что в то же время подвергся травле Евг. Евтушенко за стихотворение «Бабий Яр»).

Следует отдать должное Хрущеву за разоблачение культа личности Сталина, за освобождение и реабилитацию жертв произвола. Но и сам, взращенный и поднятый до высот сталинщиной, Хрущев немало воспринял от «отца народов». Среди прочих отвратительных черт (самолюбование, упоение лестью подхалимов и прочее) он унаследовал и антисемитизм. Любое упоминание о Бабьем Яре действовало на него, как красное полотнище на быка. Именно по его указанию эту скорбную могилу ста тысяч убитых засыпали, чтобы соорудить там стадион или другое увеселительное заведение.

Самодурство Хрущева с особой силой проявилось в начале 1963 года, когда он учинил очередной разгром писателей и художников. Самый жестокий приговор был вынесен Некрасову: таких надо исключать из партии. А это означало одно: не печатать, всячески порочить, науськивать услужливую прессу. Поводом на тот раз послужили заметки Некрасова о поездке в Америку. Вопреки очередной холодной волне в политике, Некрасов с глубокой симпатией писал о простых людях Америки, о необходимости доброжелательного взаимопонимания. Содержание очерков не только искажали и перевирали, но и объявляли прямым пособничеством империалистам.

Никогда не забуду, как после этого судилища было созвано собрание киевских писателей, на котором верноподданный Корнийчук метал громы и молнии. Еще больше он неистовствовал после того, как Некрасов — бледный, напряженный — тихим, но твердым голосом отверг все наветы, что вызвало аплодисменты молодежи, тогдашних «шестидесятников».

Травля в прессе развернулась, согласно «указаниям свыше». Сотни лекторов вопящим хором изобличали Некрасова и других писателей. Его тянули на завод «Арсенал» каяться пред рабочим классом. Не пошел. Изо дня в день угрозы: исключим из партии, выгоним из Союза писателей. Не исключили, однако, не выгнали. Даже всесильному Хрущеву пришлось дать отбой, так как не только у нас ряд видных деятелей культуры (Твардовский и его друзья), но и представители французской и итальянской компартий осудили травлю писателя-сталинградца. Всё же киевские аппаратчики «реагировали»: Некрасову был объявлен строгий выговор с занесением в личное дело. О чем и было

доложено Хрущеву.

Иной бы хоть на какое-то время воздержался от оценки суждений и действий человека, стоящего на вершине пирамиды. Некрасов не считал нужным скрывать своего отношения «к сыну кузькиной матери», как он величал Хрущева. Как часто вырывалось у него хлесткое словцо, язвительная фраза или анекдот о знатоке всех искусств и всех сортов кукурузы.

Не всегда, к сожалению, различал, кто его сочувственно слушает, а кто подслушивает…

* * *

И без того нелегкая жизнь писателя стала еще тяжелей. Захлопнулись двери журналов и издательств. Снова пущена была в ход сталинская мертвая хватка — обрекать «крамольника» на голодуху. Семейный бюджет составляла весьма скромная пенсия матери. Помогали друзья. Приходилось, как говорил Виктор, «стрелять десятки»…

А тем временем необычайно возрос читательский интерес к творчеству писателя. Повсюду жадно и с глубоким сочувствием расспрашивали о нем. В библиотеках возникли очереди на его книги. В магазинах их искать было тщетно.

К тому времени выросло новое послевоенное поколение. Если для нас, фронтовиков, «В окопах Сталинграда» было словом выстраданной, виденной воочию правды, то для нового читателя повесть стала подлинным откровением. Ведь в литературе тогда шумно разгуливали бравый «Кавалер Золотой Звезды», лихие «Братья Ершовы» да еще образцово-показательный «Секретарь обкома». Но читатель хорошо отличал хваленые книги-фальшивки от подлинной литературы.

Конечно, это было большой моральной поддержкой Некрасову. Но жить-то и работать надо было. А на какие шиши?

Умерли в нищете Михаил Булгаков, Василий Гроссман, Андрей Платонов. Власть предержащих это ничуть не волновало.

Омерзительно было в это же время видеть, как подхалимская братия, примазавшаяся к искусству, из кожи лезла вон, воспевая… Сколько появилось поэтических опусов, пухлых романов, сусальных фильмов, многометровых полотен с сияющим ликом Хрущева!

Казалось, не было XX съезда партии, не было горьких и кровавых уроков сталинщины.

Как и при Сталине, угодники щедро вознаграждались: высокие премии, ордена, звания, депутатские мандаты и, конечно

же, весьма жирные барыши.

И эти люди возглавляли Союз писателей и другие творческие организации. Им ли не на руку была травля подлинных талантов! Им ли не в охотку было растоптать и Некрасова!

Как же едко насмехался он над этими пресмыкающимися временщиками! «Глупцы, — говорил он, — думают, что блямбозвенящими цацками можно прикрыть свою пустоту и бездарность». И еще упоминал, что в знаменитом «Сатириконе» (в начале века!) был напечатан стихотворный памфлет: «Песнь торжествующей свиньи».

Всё собирался разыскать эту публикацию и вновь обнародовать.

* * *

Много лет мы с Некрасовым были в одной парторганизации (в редакции журнала «Радуга»).

Вот чего он не любил, так это собраний «для галочки». А такие по преимуществу и были. «Какого дьявола мы потеряли два часа? — сердился он. — Да лучше бы побродили по старым улочкам Киева…»

Любил родной город и с ненасытной любознательностью находил в нем что-то до тех пор ему незнакомое.

Как-то после одного из скучных собраний я пристал к Некрасову (по его выражению, словно клещ): «Виктор, собери сборник рассказов и подавай в издательство. Новое побоятся взять. Давай уже изданные рассказы. Книг твоих нигде не купишь, читатель ждет».

Ответ был короток: «Ты, братец, спятил!»

Я настаивал, рискуя услышать слова покрепче.

На что я надеялся тогда, в конце всё того же 1963 года? Не будучи конъюнктурщиком, как ни странно звучит, именно на виляющую конъюнктуру и рассчитывал. Сколько уже было самых неожиданных поворотов! Сколько раз ветер начинал дуть в другую сторону!

Напоминал, уговаривал. И Некрасов рассказы собрал-таки. Но сердито сказал: «Один не пойду. Только вместе, и говорить будешь ты». По дороге в издательство он, усмехаясь, рисовал картину предстоящей встречи: «Войдем. Директор смертельно испугается. Потом взвоет: „Это что? В пику Никите Сергеевичу? Провокация, да? Хотите, чтоб меня сегодня же выгнали? Убирайтесь ко всем чертям…“»

Директор издательства «Дніпро» (им тогда был писатель Роман Чумак) не испугался, хотя и крайне удивился. В его доброжелательно-ироническом взгляде можно было прочесть: «Это вы, хлопцы, всерьез или разыгрываете?..»

Я стал горячо убеждать директора в том, что издательству очень выгодно выпустить книгу Некрасова. Уплатив автору мизерный гонорар (ведь переиздание!), можно получить большую прибыль: пятьдесят тысяч, да что там — все сто тысяч экземпляров раскупят моментально.

Директор взял папку и сказал: «Будем читать, будем решать».

Когда мы вышли на улицу, Некрасов сердито бросил: «Дурацкая комедия! А поелику ты заставил меня в ней участвовать, взойдем на „Арарат“».

«Араратом» называлась «забегаловка» за углом, небольшой винный магазинчик. Выпили по стопочке коньяку. Некрасов повторил. Я понимал, как ему горько. Не само ли издательство должно было обратиться к известному писателю с предложением издать книгу? Он ли должен просить об этом и ждать чьей-то благосклонности, а то и грубого отказа? Некрасов грозил мне кулаком: «Взялся? Издавай немедленно!..»

Было это в январе 1964 года. Кто мог предположить, что в октябре того же года Никиту Хрущева «уйдут» на пенсию? Уже тогда всё в стране катилось вниз. Разорялась деревня. Снижался жизненный уровень всех трудящихся. На их возмущение последовал ответ: расстрел рабочих в Новочеркасске. Началась закупка хлеба за рубежом, скрываемая властями, но всем известная. Всеобщие насмешки вызвала дикая реорганизация аппарата: два обкома, два облисполкома в каждой области…

И вот Хрущева убрали. Люди вздохнули с облегчением. Не знали мы тогда, что впереди нас ждет гниющая брежневщина, возврат к не очень и маскируемой сталинщине.

Как водится, после смены лидера полагалось исправить кое-что из содеянных им бесчинств. Некрасова неожиданно пригласили к тогдашнему первому секретарю ЦК Компартии Украины П. Шелесту. Последовало указание из Москвы «приласкать» писателя, дать понять, что хрущевское оранье осуждено.

Трудно передать остроумный рассказ Некрасова об этой беседе с Шелестом. Изложу кратко то, что запомнилось. Розовощекий Шелест, увидев Некрасова, поразился: «Так вот вы какой? А я думал, что вы из этих, из молодых…» Затем, после дежурных вопросов о здоровье, о настроении, высказал предположение: «Судя по возрасту, вы, очевидно, на фронте были?»

Любопытный вопросик к Некрасову-сталинградцу!

Поинтересовался Шелест и тем, что нового выходит у писателя, в частности в Киеве. Некрасов ответил, что в Киеве его почти двадцать лет не печатают. Вот подал сборник рассказов — молчат. А давным-давно переиздали (после Москвы) одну книгу, но только потому, что она получила Сталинскую премию. «Сталинскую премию? — удивился секретарь ЦК. — А за какую книгу?» Ответ («В окопах Сталинграда») привел Шелеста в некоторое замешательство: «А-а…» Что-то когда-то слышанное смутно вспомнилось ему.

О результате этой встречи нетрудно догадаться: последовала команда издательству «Дніпро» немедленно выпустить сборник рассказов.

«Ты провидец!» — смеялся Некрасов, даря мне книгу с дружеской надписью.

* * *

Еще одна запись в старой тетради. Без даты. Очевидно, через несколько лет после отъезда Некрасова.

> «Режиссер-кинодокументалист, с которым Виктор прежде сотрудничал, рассказал, что глубокой ночью разбудил его телефонный звонок. Не междугородный, обычный. И вдруг голос Виктора. Подумал, что это показалось со сна. „Ты? Это действительно ты? Вернулся? Вот счастье! Почему не сообщил? Я бы встретил…“ В ответ горький смех: „Кого? Меня? Я же в зале иностранцев. Сюда никого не пускают. Я в Борисполе, в Борисполе. Транзит. Лечу в Японию. Но ведь это же безумие! Я почти в Киеве и не могу увидеть родной город. Не могу посетить могилу матери… Я в зале для иностранцев, и на дверях часовой. Извини…“ И Виктор заплакал. Это было страшно: можно ли было представить себе его в слезах? И все же, сдерживая волнение, Виктор напоследок не мог не кинуть горькую шутку: „Там хоть исправно запишут то, что я сказал? Не переврут? Извини и прощай“».

Неизбывная тоска, изломанная жизнь, крик исстрадавшейся души — всё это с пронзительной силой прозвучало в прекрасной предсмертной «Маленькой печальной повести» Некрасова, в которой мы услышали прощальное слово изгнанника к потерянным друзьям, ко всем, кто его знал и любил.

Киев, 1989.

Кардин В.
Виктор Некрасов и Юрий Керженцев

Когда в госпитале врач посоветовал раненому капитану тренировать руку с парализованным нервом: «Рисуйте что-нибудь, пишите в порядке лечебной гимнастики», — тот не заставил себя упрашивать. Литературный опыт капитана был невелик — два-три довоенных рассказа, возвращенных редакциями, да статья о графике советской марки в

филателистическом журнале, — но он самозабвенно предавался лечебной гимнастике.

К осени 1945 года рука была разработана, рукопись закончена. А еще через год журнал «Знамя» опубликовал роман Виктора Некрасова «Сталинград». (В рукописи, а затем в книжном издании он назывался «В окопах Сталинграда» и считался повестью).

Этой повести суждено было стать этапной для литературы, открывающей войну, а таким образом в определенном смысле и мир, в котором люди жили до войны и будут жить после нее. Когда спустя десять-пятнадцать лет заявит о себе «лейтенантская проза», ее создатели прямо скажут: мы вышли из некрасовских «Окопов Сталинграда». Когда свыше чем через четыре десятилетия увидит наконец свет роман В. Гроссмана «Жизнь и судьба», критика, прослеживая его литературно-нравственные истоки, назовет повесть, написанную В. Некрасовым…

Судьба этой повести, не претендовавшей на широкий охват сталинградских событий, до поры до времени складывалась счастливее, чем судьба ее автора. В каком-то смысле беспрецедентно для нашей литературы. Начинающий автор получает громкую известность, удостаивается высокой государственной награды. Книга пользуется популярностью в стране и за рубежом, ее минует волна погромных кампаний, и даже когда автор из разряда обласканных властью лауреатов переходит в разряд «постылых», повесть «В окопах Сталинграда» не слишком шпыняют, лишь задним числом пропускают шпильки, а чаще назидательно ставят ее в пример самому писателю: вот, дескать, как надобно сочинять, а вы теперь…

Но В. Некрасов «теперь» и тогда придерживался одних и тех же принципов в своем творчестве и в своем поведении. Не присоединялся к дружному хору, который, выполняя команду, кого-то хулил или восславлял. Сплошь и рядом шел против течения. Но не из желания выглядеть оригинально, — его вообще мало интересовало, как он выглядит, — а повинуясь совести, отстаивая взгляды и принципы, которым всегда оставался верен.

Ничего необычного в этих взглядах и принципах нет. Перечитывая сегодня повесть «В окопах Сталинграда», мы убеждаемся: Виктор Платонович Некрасов, в общем-то, придерживался той линии, какой придерживался на фронте его герой Юрий Керженцев.

Это, разумеется, нельзя понимать буквально и упрощенно: на фронте как-никак одни проблемы, в литературе и мирной жизни — другие. Но есть внутренние правила, каким повинуется человек, писатель. Или не повинуется, старается заменить их

другими. Эти другие не обязательно хуже прежних. Многое зависит от воздействия, под каким совершаются перемены, куда они ведут.

Ошибочно предполагать, будто В. Некрасов после 1953-го, после 1956 годов ничуть не изменился, не избавился от каких-то иллюзий. Но это не перелом, не надлом, не переход в новое качество. А вызревание, пусть и не вполне естественное (слишком противоестественны были обстоятельства, слишком часты, говоря словами А. Бека, «трагические парадоксы»). Однако по натуре своей, по душевному складу и складу творчества Некрасов был предрасположен к таким изменениям. Внутреннее его развитие шло в таком именно направлении. Решающий пункт этого развития — Сталинград. Тут, безусловно, совпадение с Василием Гроссманом, миновавшим те же примерно стадии, с годами всё больше и больше видевшим в сражении на волжском берегу.

Эти заметки не претендуют на рассмотрение творчества Виктора Некрасова в целом, и потому далеко не все литературные «совпадения» и пересечения могут быть прослежены. Сейчас, после стольких лет угрюмого молчания, окружавшего имя В. Некрасова, хочется прежде всего остановиться на главной его книге, ее месте в судьбе писателя, судьбах нашей литературы, в конце концов, в наших читательских судьбах.

Первая книга — часто самая личная, самая «фактическая» — наиболее зависимая от недавней, «дописательской» жизни молодого автора. Не приходится удивляться, что героем полкового инженера Некрасова стал полковой инженер Керженцев, местом действия — волжский город, где война достигла своего апогея, и каждый участник Сталинградского сражения чувствовал, что здесь решалась судьба страны, народа, человечества. Но далеко вперед Некрасов не заглядывал, не думал о будущей литературе — военно-исторической, мемуарной, о стихах и прозе, посвященных величайшей битве в истории. Он жил непосредственными впечатлениями и доверял личному опыту, оплаченному кровью, доверял действительности. В безграничном доверии к пережитому и обретенному была своя неосознанная полемичность, отталкивание от образца, чуждого натуре молодого прозаика.

Эта полемичность, это нежелание (или неумение) приноравливаться к моде, оглядываться на апробированные образцы с самого начала поставили книгу в несколько особое положение. Она покоряла своей естественностью, негромкой правдивостью, тонким психологизмом. Этим она и противостояла нарастающему потоку бравурной батальной беллетристики, получавшей, как правило, официальное одобрение.

Противостояние будет нарастать, отражая борьбу тенденций в послевоенной литературе, размежевание по достаточно серьезным признакам. Некрасов свяжет свою писательскую судьбу с «Новым миром», человеческую — с Твардовским… Но всё это еще впереди.

Когда В. Некрасов трудился над «Окопами», он не знал и десятой доли цифр, высказываний, документов, общедоступных в наши дни. Однако, и знай их, вряд ли писал бы в ином ключе, в иной манере, вряд ли изменил бы круг героев и привязанностей. Он шел от солдата, от окопного офицера с «кубарями», того самого: дальше фронта не пошлют, меньше взвода не дадут. Шел от обыденности пехотного боя — не обязательно расцвеченного хвостатыми залпами «катюш», оглушающего десятками самолетов, сотнями орудий, многоголосым «ура!», а неказистого, как сам солдат в своей видавшей виды шинелишке, поддержанный в атаке дребезжащим «кукурузником» да «сорокапяткой» с комариным стволом.

Доверие к действительности — одна из черт, определяющих писательскую манеру Некрасова. Он доверял действительности, даже когда она не ласкала взгляд и представала в жестоком, неприглядном виде. Категорично диктовала и беспощадно проверяла ценности. Но так же диктовала и другим писавшим о войне. Значит, диктат диктатом, а личность личностью.

Художническая личность В. Некрасова предопределяла характер восприятия и характер воссоздания, постижения литературного опыта других.

Некрасов в повести отделял себя от Керженцева по возрастному признаку: Керженцев несколькими годами моложе. И в этом заключалась своя оправданность, поначалу вряд ли осознанная писателем. Молодость Керженцева как-то объясняла его наивность. Чем дальше, тем очевиднее она становилась, тем очевиднее становилось ее общественное происхождение.

Когда В. Некрасов припоминает довоенную молодость Керженцева, и мир, и дом, где тот рос, он — нетрудно убедиться — припоминает собственную биографию. Все эти с детства милые вещи: лакированные каштаны и старый диван, громоздкий гардероб, голубое кресло с подвязанной ножкой, комод с овальным зеркалом, вазочками и флакончиками, альбом с марками, мамино золотое пенсне,— печальные и ироничные воспоминания («Любил на луну смотреть, и шоколад любил, и сирень, и в третьем ряду партера сидеть, и выпить с ребятами…») раскрывают предысторию лейтенанта Юрия Керженцева. Она не слишком-то готовила Керженцева к окопной жизни. Это несоответствие, полярность двух начал и определит его

фронтовую позицию. Юноша, по образованию, воспитанию, складу своему менее всего предназначенный для военной карьеры, становится офицером с твердым представлением о собственном долге — воинском и человеческом.

Прошлое, затаившись где-то в глубине, не устает напоминать о себе.

> «Как всё это сейчас далеко, и как давно всё это было, боже, как давно… И институт когда-то был, и „чертежки“, и доски, и бессонные, такие короткие ночи, и сопроматы, и всякие там теории архитектурной композиции, и еще двадцать каких-то предметов, которые я уже все забыл».

> «Идем об руку, иногда останавливаемся около каменного парапета, облокачиваемся на него, смотрим вдаль. Люся что-то говорит, кажется, о Блоке и Есенине…
>
> Всё это когда-то интересовало и волновало меня, а сейчас отошло далеко, далеко. Архитектура, живопись, литература… За время войны ни одной книжки не прочел. И не хочется. Не тянет».

Такие уходы в прошлое, такие сопоставления так ли, иначе ли свойственны каждому фронтовику.

Интереснее другое. Как это довоенное сохраняется в военном.

Бомба превращает жилой дом в груду развалин. Но внутренний «дом», его опоры сохраняются; пока человек жив, ей не дано их разрушить. Если, конечно, опоры надежны.

Некрасов упорно доказывал надежность опор интеллигентного дома. А это было не принято в фронтовой литературе, в публицистике военных лет, где интеллигенту зачастую отводилось место рефлектирующего индивидуалиста, хорошо если не труса.

В годы войны Сталин не упоминал ни о «врагах народа», ни об усилении классовой борьбы. Он нуждался в новых козлах отпущения. Давняя неприязнь к интеллигенции нашла выход. По его словам, они, перепуганные интеллигентики, растерялись при гитлеровском нашествии, спасовали, преувеличили опасность…

Обычная сталинская демагогия, отводящая возможные упреки в его собственный адрес. В первые дни войны растерялся он сам. А потом, пытаясь наверстать, но недостаточно разбираясь в реальном соотношении сил, осенью сорок первого уверял, будто Германия через полгодика-годик лопнет под тяжестью своих преступлений; за несколько месяцев до Сталинграда приказал

сделать 1942 год годом окончательного разгрома врага.

Некрасов, создавая «Окопы», был далек от мысли вступать в спор с Верховным Главнокомандующим. Но не собирался и угодливо поддакивать. Он знал то, чего не желал знать ни разу не выезжавший на фронт Верховный, — истинную жизнь в сталинградских траншеях, взаимоотношения людей переднего края, видел, сколь много значил командир-интеллигент. Картина, складывавшаяся под его пером, примечательно отличалась от той, какую рисовали авторы, одновременно прислушивавшиеся к артиллерийской канонаде и к грозному голосу «сверху».

Проводя Керженцева кругами сталинградского ада, его словами рассказывая обо всем, В. Некрасов утверждал неизменность добрых начал, высоких устремлений. Был воинственно человечен в большом и в малом. Отстаивал человечность, неподвластную жестокостям войны, невзгодам окопного быта, пропагандистским поветриям.

Философский смысл этой последовательно антифашистской повести — торжество истинно человеческих качеств, безусловность общечеловеческих ценностей, нравственная стойкость, не мирящаяся ни с какими послаблениями, отвергающая покладистую мудрость: «война всё спишет» и уравнивающий с врагом принцип: «око за око». Смысл этот нигде и никогда открыто не декларируется.

Для Некрасова важнее рассказать, нежели вывести из рассказанного поучение. У верной картины, передающей личный опыт самостоятельного в своем мировосприятии автора, оказывалось больше шансов на долголетие, чем у преходящих комментариев к ней.

Личность Керженцева определила и стилистическую манеру повествования, его строй.

Если попытаться в общих чертах определить стилистику, выплавившуюся в результате подобного сочетания (вернее, совпадения) внутренних стимулов и внешних условий, то наиболее уместными здесь будут: строгость и простота, естественность и откровенность, доверие к читателю и надежда на его доверие к тебе.

Отпадали помыслы о литературном эффекте, стилистическом бунтарстве, заведомо выигрышных поворотах. Ничего подобного автор не разрешал себе. Да, думается, и потребности не испытывал. Слишком определенен был нравственный облик героя, слишком трагичны фронтовые обстоятельства, чтобы позволить себе литературные забавы. И еще. Под слишком сильным душевным напором выплескивались впечатления, чтобы можно было предаваться их орнаментированию. Не до того было.

Любые лексические украшательства и излишества, обыгрывание деталей, особенно натуралистических, способных ошеломить, сразить читателя, представлялись кощунственными.

Сыграла свою роль любовь к искусству. Позади, в довоенной жизни В. Некрасова, были театр, театральная живопись, архитектура — целая эстетическая школа. Были и, несмотря ни на что, остались.

> «Жили, учились, о чем-то мечтали — и тр-рах! — всё полетело — дом, семья, институт, сопроматы, история архитектуры, Парфенон.
>
> Парфенон… Как сейчас помню: 454—438 годы до Р. Х. Замкнутая колоннада — периптер. Восемь колонн спереди, семнадцать по бокам. А у Тезейона — шесть и тринадцать… Дорический, ионический, коринфский стиль. Я больше люблю дорический. Он строже, лаконичнее…»

Простота керженцевского повествования — простота подлинной интеллигентности, которая не выпячивает себя.

Разговорность речи — короткая фраза, обычность словаря, изустность оборотов («хуже нет лежать в обороне», «с лопатами дело дрянь») — отлично уживается с деловитой и зоркой обстоятельностью видавшего виды фронтовика. Военные термины, армейские наблюдения и словечки без нажима вплетаются в свободный разговор. За ними то новое, необычное, что вошло в жизнь молодого архитектора, ставшего полковым инженером, представителем профессии, о которой на фронте говаривали: сапер ошибается один раз. (Пройдут годы, и разговорная проза, сдобренная жаргоном, станет едва не преобладающей в творчестве молодых, да и не одних молодых, писателей. А лирическая откровенность — она сродни дневниковым признаниям — тоже сделается одной из примет прозы 50—60-х годов, и мы не всегда будем помнить, откуда что пошло…)

В повести Некрасова лексика, пусть и специальная, общедоступна. Командирский лаконизм, как выяснилось, не противопоказан «по-штатски» свободно построенной фразе, не допускающей кривотолков. Даже сравнения Некрасов предпочитает самые обиходные, моментально срабатывающие и не страшится их очевидности. «…Подбитый „хейнкель“… похож на злую раненую птицу, припавшую к земле и вцепившуюся в нее когтями». «Немцы летят прямо на нас. Они летят треугольником, как перелетные гуси. Летят низко — видны желтые концы крыльев, обведенные белым кресты, шасси, напоминающие

выпущенные когти».

Очевидность граничит с банальностью. Но примелькавшийся образ неожиданно «перевертывается», обнажая свое нисколько не книжное происхождение.

> «Подходит регулировщик.
>
> — Во-он журавли полетели, — тычет он грязным, корявым пальцем в небо. — Никакой войны для них нет. Табачком не богаты, товарищ командир?
>
> Мы даем ему закурить и долго следим за бисерным, точно вышитым в небе, треугольником, плывущим на юг. Слышно даже, как курлычат журавли.
>
> — Совсем как „юнкерсы“, — говорит регулировщик и сплевывает, — даже смотреть противно…»

Однако художественная достоверность «Окопов Сталинграда» предопределена не только тем, что автор говорит лишь о досконально ему известном, о пережитом им. Он не говорит о том, что ему неизвестно или известно приблизительно.

Он синтезирует характеры, назначает героев на разные должности, поручает им разные роли. Но лишь в пределах жизненной области, вдоль и поперек исхоженной, исползанной им самим. И — ни шагу дальше.

Границы обозначает личный опыт автора. По этому поводу В. Некрасов писал в дальнейшем: «Нет, в искусстве, в литературе одним „так было“ не обойдешься. Оно необходимо, оно основа любого реалистического произведения. Но чтоб произведение стало, кроме того, и художественным, нужно еще и другое — „этого не было, но если б было, то было бы именно так“, или еще категоричнее — „не могло быть не так“. В этом и заключается различие между романом, повестью, рассказом и записками, дневниками или документальной прозой. Жанры эти вовсе не исключают друг друга, более того — внешне они могут быть очень схожи. Но внутренняя их сущность, принципы воздействия на читателя различны. Кстати, не могу здесь не сказать, что самой большой похвалой для меня было, когда мою повесть называли записками офицера. Значит, мне удалось „обмануть“ читателя, приблизить вымысел к достоверности. Это не страшный „обман“, за него не краснеют, без него не может существовать никакое искусство».

Некрасов не домысливает немцев, не копается в их психологии, не пробует раскрыть стратегические замыслы сторон.

Сколько книг, с завидной смелостью «додумывавших» фашистских офицеров и генералов, безбоязненно рисовавших Генеральный штаб, самодовольно гордившихся своей

стратегической осведомленностью, намертво стало на библиотечных полках! А сталинградская повесть Некрасова жива.

Когда герои некоторых романов, посвященных сталинградским боям, утверждали, будто «отход к Волге был совершён планово», они принижали героизм сталинградцев.

Не слишком хитрая философия подобных произведений заключается в том, что, мол, внешний, показной порядок («плановый отход») неизменен, он важнее солдатского подвига, важнее организующей силы командиров, сумевших отступающие части исподволь превратить в полки наступления.

Антуан де Сент-Экзюпери в «Письме заложнику» (1942) между прочим заметил: «Порядок ради порядка оскопляет человека, отнимает у него важнейший дар — преображать мир и самого себя. Порядок создается жизнью, но сам он жизни не создает».

А несколькими строками выше Сент-Экзюпери восклицал: «Уважение к человеку! Уважение к человеку! Вот он, пробный камень!»

В сталинградские дни порядок наводился самыми крутыми мерами. После сталинского приказа № 227 специально созданные заградотряды пулеметными очередями должны были отсекать нашим частям путь к отступлению. Дисциплина ужесточалась, и отдельный человек не мог претендовать на уважительное к себе отношение. Однако В. Некрасов упрямо верил в него, в его способность вести долгий неравный бой, и, быть может, именно такой взгляд на участников сражения, ставшего историческим, сообщил повести запас жизненных сил, сделал ее своего рода ориентиром для будущих военных — и не только военных — писателей.

Идея протяженности, упорности и неприметности героизма, постоянно присутствуя в повести В. Некрасова, определяла, какие из бесконечного множества случаев, отложившихся в памяти, нужны, какие «работают» на нее. Эпизоды не шли по нарастающей, от менее к более тяжким. Выпадали покойные минуты за столом с белой скатертью, или за стопкой в подвале, или на дощатых нарах землянки. Но — минуты. Они не давали разрядки, отдохновения, не вытесняли войну. И, сидя с Люсей на мирном еще Мамаевом кургане, любуясь спокойной Волгой, Керженцев прикидывал сектора обстрела и намечал места для пулеметов.

На защитников Сталинграда всей своей тяжестью навалилась война, тянувшаяся уже второй год, оба летних отступления. Не секунды, не часы, не недели измеряли протяженность героизма — месяцы.

С криком «ура!» можно идти в штыки, но нельзя днями и ночами отбивать атаки, отстаивать город, превращающийся в развалины. Самозабвенный азарт быстротечен. А тут — месяцы в грохоте и дыме.

Впоследствии сам В. Некрасов пытался проанализировать это различие, имея в виду прежде всего тон, высоту тона:

> «Командир ведет своих солдат в атаку… „За Родину — вперед!“ Я затрудняюсь найти подходящее определение того, как произносились эти три слова, вырывавшиеся из тысяч уст в течение четырех лет. Ясно только, что в обычной окопной обстановке ни командиры, ни бойцы на такой высокой ноте не разговаривали. Она просто была не нужна. Она нужна в момент рывка, на бруствере».

Нелепо выяснять, что «героичнее» — подвиг-рывок или подвиг длительный. Тем более — одно никак не исключает другого, одно переходит в другое, зачастую становится другим.

Но принципы литературного воспроизведения могут разниться. Молниеносный подвиг сам достаточно красноречиво говорит за себя, пусть только автор запечатлеет его. О длительном надо рассказывать, рассказывать о бесконечно повторяющемся действии, о человеке.

Длительный и менее броский подвиг предполагает в художнике умение передать внутреннюю неиссякаемость героя. Люди Сталинграда уже привыкли к тому, что издалека именуется подвигом. У Некрасова они даже не прочь посмеяться над своим привыканием.

> «— А странно как-то, когда назад, на фронт, возвращаешься. Правда. Заново привыкать надо.
>
> — Из армейских еще ничего — там не долго лежишь. А вот из тыловых… Даже неловко. Хлопнет мина, а ты — на корточки.
>
> Оба смеются — и Чумак, и Карнаухов».

Слегка ироничный усталый тон. Фразу не обязательно завершать, и без того ясно, что у нее в конце. Недосказанность такая чужда кокетству. Она от убеждения: читатель — человек близкий, агитировать его ни к чему — сам всё знает.

Отношения, какие обычно складывались между героями, — просты, натуральны, сердечны, без признаний и сантиментов. Повесть о сталинградских боях звучит интимно, местами приглушенно. Едкий дым, что стелется над окопами, —

«противный»; у лейтенанта Петрова — мальчишеская шея: «Какая она тоненькая! И глубокая впадина сзади, и воротник широкий…» Санинструктор Маруся «страшно румяная, толстощекая, с двумя завязанными сзади желтенькими косичками».

Так спокойно говорится обычно о чем-то домашнем, уютном и мирном. Мальчишка-лейтенант, «вероятно, совсем недавно еще стоял… у доски и моргал добрыми голубыми глазами, не зная, что ответить учителю».

А сейчас любая пуля, осколок, бомба — и конец. Но это и так ясно, к чему напоминать лишний раз. Когда Петров поднимается, заметны его руки, «тоненькие, детские, с веснушками».

> «Глаза его вдруг останавливаются, точно он увидел что-то необычно интересное, и весь он медленно, как-то боком, садится на дно.
>
> Мы даже не слышали выстрела. Пуля попала прямо в лоб, между бровями».

Последнее, что машинально фиксирует Керженцев, — ноги Петрова, тоненькие, в широких, болтающихся сапогах.

Тон свидетеля, замечающего, казалось бы, необязательные подробности — тоненькая шея, голубые глаза, веснушчатые руки, — обманчив. Он едва скрывает исступленное напряжение, за ним — память, что не знает покоя, неутолимая боль, ярость.

Виктор Некрасов был первым или одним из первых, кто в таком тоне сумел рассказать о событиях, масштаб и накал которых, казалось бы, взывает к патетике, эмоциональным возгласам одобрения либо осуждения.

Но патетика уже порядком себя дискредитировала, громогласные заклинания набили оскомину. И то, и другое, кроме того, было органически чуждо Некрасову. Будет чуждым многим авторам, вступившим в литературу после войны.

Г. Бёлль заметил: «Внутренняя взволнованность и внешнее спокойствие — именно это и составляет для писателя наивысшее соответствие между формой и содержанием».

Не станем спорить: высшее или не высшее. Однако, несомненно, соответствие такое присуще многим произведениям антифашистской, антивоенной прозы. И не случайно. Люди должны были многое изведать, через многое пройти, дабы их ярость стала холодной, дабы научиться говорить о том, что бередит душу, глубоко пряча свою потрясенность. И когда в минуты наивысшего напряжения она прорывается наружу — ритм ломается, меняется интонация. Вместо размеренного, последовательного повествования — каскад мелькающих деталей, преходящих ощущений.

«За баками — немцы. Они бегут навстречу нам и тоже кричат. Черные ленточки исчезают. Вместо них — серая шинель и раскрытый рот. Тоже исчезает. В висках начинает стучать. Почему-то болят челюсти».

«Опять пулемет? Но уже сзади. Что за чертовщина? Неужели пролез? Сдавленный крик. Выстрел. Опять пулемет. Началось.

Я кидаю гранату наугад — вперед во что-то чернеющее. Бросаюсь рывком. Чувствую каждую мышцу в своем теле, каждый нерв. Мелькают в темноте, точно всполохнутые птицы, фигуры… Отдельные выкрики, глухие удары, выстрелы, матерщина сквозь зубы. Траншея. Осыпающаяся земля. Путаются под ногами пулеметные лепты. Что-то мягкое, теплое, липкое. Что-то вырастает перед тобой. Исчезает».

Нечасто с такой степенью детализации, с таким обостренным восприятием деталей изображается пехотный бой в нашей литературе. Одни, бравшиеся за перо, вообще не представляли себе всего этого, другие остерегались упреков в ремаркизме.

Когда писатели нового призыва, не скрывая своего родства со сталинградской повестью В. Некрасова, начнут выкладывать «окопную правду», на них действительно обрушатся обвинения в ремаркизме, с запозданием достанется и Некрасову, постепенно теряющему ореол любимца критики. Его напечатанная когда-то в «Знамени» повесть с годами стала восприниматься как «новомирская».

Между тем продуктивна, думается мне, сама возможность оправданно сопоставить советского автора, его последователей с крупнейшим, всемирно признанным писателем, не преследуя цели «подкусить» этого писателя, уличить в «недопонимании», «абстрактном гуманизме», пацифизме и не стараясь, однако, пригвоздить к позорному столбу наших авторов, и без того по горло сытых всевозможными обвинениями.

Ремарк, чье имя мелькнуло уже в начале заметок, писал о «потерянном поколении». Некрасов не считал свое поколение «потерянным», хотя в первой повести не предугадал всех испытаний, ожидающих вчерашних фронтовиков. Не считали его «потерянным» и «лейтенанты», ставшие писателями, располагая запасом достаточно определенных военных и уже послевоенных впечатлений.

Бескомпромиссный антифашизм Ремарка, его ненависть к мировой бойне, уничтожившей миллионы и изломавшей души уцелевших, обладал силой воздействия не только на читателей,

но и на многих писателей. Нет причин скрывать это, отказываться от этого. Особенно в наши дни, когда безоговорочно антивоенная философия утверждается как единственная, направленная на спасение человечества. Сегодня не грех воздать должное писателям, содействовавшим ее становлению, не грех напомнить, что Ремарк был одним из первых среди них. Ненависть к войне сделала его антифашистом, вынудила эмигрировать из Германии, когда над ней нависла тень Гитлера.

Не пытаясь всесторонне развертывать сопоставление: Ремарк — Некрасов, ограничусь лишь некоторыми примерами, позволяющими судить и о различиях, обусловленных неодинаковым пониманием хода истории, неодинаковостью литературных традиций.

В романе Ремарка «На Западном фронте без перемен» встречаются описания, напоминающие приведенную выше сцену из «Окопов Сталинграда». Объясняя состояние человека в таком бою, Ремарк утверждает: «У нас просыпается инстинкт зверя, — это он руководит нашими действиями и охраняет нас… Ты идешь и ни о чем не думаешь, как вдруг ты уже лежишь в ямке, и где-то позади тебя дождем рассыпаются осколки, а между тем ты не помнишь, чтобы слышал звук приближающегося снаряда или хотя бы подумал о том, что тебе надо залечь. Если бы ты полагался только на свой слух, от тебя давно бы ничего не осталось, кроме разбросанных во все стороны кусков мяса. Нет, это было другое, — то, похожее на ясновидение, чутье, которое есть у всех нас; это оно вдруг заставляет солдата падать ничком и спасает его от смерти, хотя он и не знает, как это происходит. Если бы не это чутье, от Фландрии до Вогезов давно бы уже не было ни одного живого человека».

Бой есть бой, жизнь есть жизнь. Чем накалённее бой, тем тоньше ниточка жизни, и власть инстинкта возрастает в геометрической прогрессии.

Внутреннюю взвинченность, неистовый темп передает кинематографическая, как ее иногда называют, проза: монтаж проносящихся перед глазами, выхваченных из неразберихи сражения подробностей. Тут Некрасов и Ремарк близки.

Но всякий раз за неизбежно сходными по ритму и характеру описаниями у Некрасова — свое представление о бое, жизни, смерти.

Некрасов не отвергает инстинкт. «Мыслей нет. Мозг выключился. Остается только инстинкт — животное желание жизни и ожидание. Даже не ожидание, а что-то, не объяснимое словами… Скорей бы, скорей. Что угодно — только скорей!»

Но это — единственное такое признание. И относится оно —

что чрезвычайно показательно — не к бою, а к бомбежке, когда ты беззащитен и поневоле пассивен. Лежи и жди: попадет — не попадет. При бое же, пусть самом яростном, В. Некрасов почему-то не уповает на инстинкт, не считает, будто он «руководит нашими действиями и охраняет нас». Однако инстинкт, по убеждению Некрасова, трансформировался под влиянием идей, этических норм, жизненного опыта, накопленного еще в довоенные годы.

Упорные возвращения к мирному времени — они не редкость во всякой почти книге о войне — теперь приобретают новый смысл, объясняют, почему герой Некрасова не молится на инстинкт.

Да, мозг отключается, но мысль продолжает лихорадочно работать. Да, прошлое отступает, но всё же остаётся с тобой. В прошлом, — мы помним, — «милый Киев», студенческая дружба, книги, Пятая симфония Чайковского, бабушка с чьими-то мемуарами или «Анной Карениной» в руках, а главное — полная ясность: за эту жизнь надо, необходимо драться до конца, идти на смерть, день за днем переносить всё, что выпадет на долю бойца.

Киев — не только город детства, юности, но и обозначение всей довоенной жизни, всего, что составляло ее, было в ней дорого, необходимо. Поэтому Киев — одна из наиболее стойких тем в творчестве В. Некрасова. Начав ее в «Окопах», он вторую свою книгу назовет «В родном городе», спустя годы напишет рассказы «Дом Турбиных», «Дедушка и внучек» и другие. Он откроет еще немало подробностей, вспомнит немало знакомств и эпизодов, объясняющих, как формировалось его поколение — поколение Керженцева, как вместе с повседневными житейскими сведениями, обычными и необходимыми встречами, с приобщением к культуре приходило чувство долга, ответственности перед людьми и страной. Как появлялись иллюзии, свойственные поколению, далеко не всегда, не сразу понимавшему: это — иллюзии.

Некрасов не принадлежал к тем, кто «всегда всё понимал». Как не принадлежали к ним А. Твардовский, В. Гроссман, Ю. Трифонов, А. Яшин… Пишущий настоящие строки тоже лишен возможности похвастаться всегдашним всепониманием, и это удерживает его от злоупотребления правом ставить вопросы с очевидными сегодня ответами.

Уже в первой своей повести Некрасов искал критерий, позволяющий верно оценивать человека. Он не был ахти как оригинален, но был последователен и неустойчив.

Кто бы ни вошел в повесть, какую бы должность ни занимал, в каком бы ни выступал качестве, Некрасов обязательно будет

испытывать его на смелость, испытывать придирчиво, глядя на него глазами Керженцева.

Раньше для Керженцева всё измерялось другими единицами, отсчет шел от другого: учеба, работа, споры об искусстве и прочих высоких материях. Сейчас Керженцев вспоминает об этом не без иронии и грусти. «Но достаточно ли всего этого? Выпивок, споров, так называемых общих интересов, общей культуры?»

Выходит, нет. Он называет имена прежних друзей. Хорошие парни, умные, талантливые, тонкие, не дураки выпить. Но Вадим Кастрицкий вытащил бы меня, раненого, с поля боя? Пошел бы я в разведку с Сергеем Веледницким?

> «Только на войне по-настоящему узнаешь людей. Мне теперь это ясно. Она — как лакмусовая бумажка, как проявитель какой-то особенный».

Война оттеснила воспоминания. Мирное время, по контрасту, оставалось зоной благополучия. Всё, что до 22 июня, — по одну сторону, после — по другую. Точки соприкосновения редки, противопоставления резки. «Только на войне по-настоящему узнаешь людей».

Предшествующие испытания, невзгоды охватывали одновременно часть людей либо изолировали, отделяли одних от других.

Настаивая: «Только на войне по-настоящему…», делая этот принцип главенствующим, люди безотчетно словно бы хотели заново узнать и своих близких, прежних своих друзей. (Разве не звучит такое желание в словах Керженцева о Вадиме Кастрицком и Сергее Веледницком?) То было невольное признание в недостатке собственной зрелости, в том, что довоенные общения — работа, учеба, споры, выпивки — не выявляли всё же человека до конца. Так, как выявляет бой, как выявляет Сталинград.

И в этом своем представлении Керженцев (вернее, Некрасов) не отличается от многих других.

Впрямь война, впрямь Сталинград раскрывали людей так. как они не раскрывались прежде.

Но для того, чтобы раскрылась система, ее потайные пружины, для того, чтобы стало явным скрываемое стереотипами, пропагандистскими лозунгами, наконец, обстоятельствами и напряжением боя, когда пределы видимости ограничены доступным твоему глазу, нужны, по меньшей мере, два условия: возможность наблюдать фронтовые события с разных точек, расположенных по вертикали, и — время, дабы осмыслить увиденное.

Начиная свою писательскую деятельность, В. Некрасов был

лишен этих условий.

Война сводила Керженцева со многими людьми, умными и недалекими, образованными и малограмотными, вежливыми и грубыми. Встречались и близкие по гражданской профессии, кругу прежних интересов. Например, Астафьев не забывает о своей специальности, пытается собирать документы для будущих исследований.

Некрасов пишет о нем с нескрываемым раздражением: оттопыренный мизинец, сложенные трубочкой губы, бачки, розовые ногти. Вполне безобидное имя Астафьева — Ипполит — напоминает толстовского Ипполита Курагина, такого же недалекого и самоуверенного.

Откуда неприязнь? Будто среди дружков Керженцева все на подбор сверкают умом и ни один не страдает самоуверенностью? Отгадка в грациозном жесте, с каким Астафьев скрывается при появлении «юнкерсов».

И еще. Раненный в ягодицы Астафьев просит Керженцева прихватить при случае трофейный фотоаппарат и часики. Ладно, куда ни шло, историку может понадобиться «лейка». Но часики, ручные часики…

Астафьев — трус, Астафьев — корыстен. И то, что могло выглядеть забавным, выглядит противным, то, что могло вызывать снисходительность, вызывает неприязнь.

В сочетании трусости и корыстолюбия Эм. Казакевич усматривал закономерность нравственной нечистоплотности. В. Некрасов не вдаётся в анализ, не пытается установить взаимозависимость. Ему достаточно фактов, проявлений.

К своему непосредственному начальнику, дивизионному инженеру Устинову, Керженцев тоже не благоволит. Хотя капитан Устинов — знающий офицер, педантичный, обстоятельный. Велика беда — любит лишку поговорить, привержен к бумажке, отчетам, рапортам.

Секрет неприязни, однако, тот же. Его выдает связной Устинова: «Мой всё пишут, всё пишут… Как встанут, сразу за карандаш. Даже в уборную и то, по-моему, не выходят. Мин сильно боятся. Велели щит из бревен перед входом сделать и уборную рельсами покрыть».

Все пороки и добродетели относительны. Решает поведение в бою. Это — первая мера вещей, от этого признака зависят прочие качества, он ставит перед ними знак плюс либо минус, освещает человека, определяет тон, каким говорится о нем в повести.

Война — час открытий. Открытия на каждом шагу. Горькие и радостные, предвиденные и непредвиденные. Но совершаются они только в пятачке, куда ты брошен войной…

Некрасову повезло — он встретил Валегу, маленького, выносливого, неулыбчивого алтайца, и открыл чудесный человеческий характер.

Надо говорить «Некрасов», а не «Керженцев». Валега — личность действительная, реальная и имя подлинное. Валега был ординарцем Некрасова весной и летом сорок четвертого года. В повести он ординарец Керженцева при отступлении к Сталинграду и в дни Сталинградского сражения.

Дружба была недолгой, менее полугода. Некрасов, раненый, попал в санчасть, потом в госпиталь. Валега принес в санчасть бритвенный прибор, зубную щетку, мыло, планшетку с документами.

«Окопы Сталинграда» при их свободной композиции, свободном сюжетном построении можно представить себе, скажем, без Ширяева или Игоря. Но без Валеги «Окопов» не было бы.

Валега — человек из мира, незнакомого Керженцеву. Тайга, охота, тюрьма («За что-то судился, но за что — не говорит. Сидел. Досрочно освобожден. На войну пошел добровольцем»).

Пятно в Валегиной биографии не интригует Керженцева. Фронт, как правило, не знал предубеждений. Люди быстро и полно проверялись боем, анкетные пятна сводились кровью. Случалось, сын «врага народа», от которого до войны шарахались, как от чужого, на фронте получал офицерское звание, переставал ощущать себя, как сказал бы В. Гроссман, пасынком времени. (Кончится война — опять заставят ощутить).

Странно, однако, что чуткий, добросердечный Керженцев даже не пытается узнать, за какую провинность угодил в тюрьму полюбившийся ему человек, безупречный во всех своих проявлениях. И Некрасова нисколько не удивляет такая странность, такое неожиданное безразличие.

Даже лучшие в этом поколении росли с чувством ограниченной любознательности. Это было инстинктивное чувство. (Вот где понадобился инстинкт!) Пойти на смерть было легче, чем невольно нарушить душевный комфорт, проникая туда, куда не положено.

Когда Керженцев мысленно ставил Валегу подле своих довоенных друзей, тот выигрывал. Валега уже был испытан на прочность и доказал надежность в любой, самой тяжкой, фронтовой ситуации. С ним — хоть на край света.

От этого сопоставления милая предвоенная жизнь Керженцева блекла, выглядела в чем-то мишурной, недостаточно настоящей.

Виктор Некрасов входил в литературу со своими

представлениями о человеческих и воинских достоинствах. На первом плане у него — смелость, внутренняя самостоятельность и независимость. Он верил в человека и не боялся, что эти качества будут употреблены во зло окружающим.

Валега — пожизненная память Некрасова, своего рода нравственный образец. Не удивительно, что именно он дал писателю пищу и повод для раздумий о литературном герое, для раздумий о степени авторской власти над ним.

> «Она (власть писателя. — *В. К.*) не безгранична. Она до поры до времени. И пользоваться ею надо очень осторожно. Герой не из воска, чего угодно из него не вылепишь, он по-своему живой, с мускулами, кровью, сердцем. И очень раним. Он не переносит насилия… Кажется, чего уж проще — взял и перебросил своего героя, как я, например… из Одессы в Сталинград: сиди на новом месте и делай, что тебе приказывают… Оказывается, нет. На фронте мне куда легче было приказать Валеге, чем в книге. В книге он мне мстил за всякое своеволие, и мстил правильно, умно. И спасибо ему за это».

Если в Валеге писатель обнаружил нечто для себя неожиданное, незнакомое, если сквозь Валегины черты просвечивал далекий Некрасову мир, то в других он находил знакомое, близкое. И в этом тоже была своя радость. Игорь хорошо рисует, Карнаухов тайно пишет стихи, зачитывается Джеком Лондоном, комдив симпатизирует Мартину Идену, но осуждает за самоубийство, Фарбер чувствует музыку…

Значит, смелостью, надежностью в бою человек все-таки не исчерпывается.

Интеллектуальным монологам Астафьева грош цена: он — трус. Раз так, любые его речения — мимикрия. Но для Карнаухова, Фарбера, Керженцева, комдива их пристрастия, увлечения — не ширма, не бегство от войны, а продолжение своей прежней жизни, той, в которой брали начало их привязанности, занятия, увлечения. Это-то и важно Некрасову — прочность духовных, умственных интересов, нравственная самобытность. А имеются ли у человека диплом, ученое звание — дело десятое. Интеллигентность для Некрасова не равнозначна образованности и хорошим манерам.

Не вступая в полемику, не бросая вызов, не пытаясь кого-то оспорить, Некрасов предлагал свою шкалу человеческих достоинств. Он отвергал предвзятость, его не завораживала анкетная безупречность, армейская иерархия. (Напомню: после

Сталинграда чинопочитание достигло, пожалуй, своего апогея; копировались порядки царской армии. С возрождением таких порядков иные связывали немалые надежды на будущее…)

Некрасов оставался верен своим героям, не пытался их идеализировать, изображать эдакими «бравыми ребятушками». Взаимоотношения между ними никак не укладываются в уставные рамки. Валега позволяет себе гораздо больше, чем полагается ординарцу. Сутулый, не умеющий носить пилотку, Фарбер даже не считает нужным нацепить на петлицы свои лейтенантские «кубари».

Керженцева абсолютно не беспокоит чье-либо несоответствие плакатному образцу. Но после беседы со «странным» Фарбером сам Керженцев начинает нас несколько беспокоить. Как и в случае, когда он не заинтересовался тюремным прошлым Валеги. Оказывается, Керженцев не слишком склонен оглядываться назад, он сомневается: «…стоит ли вообще говорить о том, что произошло? Анализировать прошлое, вернее, дурное в прошлом имеет смысл только в том случае, когда на основании этого анализа можно исправить настоящее или подготовить будущее».

Керженцеву еще невдомек, что «анализировать прошлое, вернее, дурное в прошлом» всегда имеет смысл, — прошлое не отделено китайской стеной от настоящего. Чтобы с помощью прошлого исправить настоящее и подготовить будущее, надо его анализировать. Другого пути не дано.

Складывается впечатление, будто Некрасов в какие-то минуты улавливает зашторенность умного, симпатичного ему (и нам) Керженцева. Впечатление, конечно, обманчивое. Писатель не замечает этой зашторенности (и мы при первом знакомстве с повестью, вероятно, не замечали). Но его, Некрасова, безупречная правдивость сама собой подводила к сложностям более серьезным, чем рисовалось поначалу. Возникали непредвиденные дилеммы, непредусмотренные загадки.

Как, например, быть с Чумаком, можно ли в одну упряжку впрячь Чумака, Фарбера и Керженцева?

Первая встреча Керженцева и Чумака в траншее, только-только отбитой у немцев. Кто-то шарит по карманам мертвого фашиста, тянет часы. Взбешенный Керженцев наскакивает на мародера. Но у того объявляется защитник — командир разведчиков Чумак.

Встреча-стычка кончается с перевесом в пользу Чумака, уверенного: ему дозволено больше, чем остальным.

По какой такой причине?

По самой убедительной — он смелее других.

Смелость оборачивается непредвиденной стороной. Она,

выходит, способна послужить оправданием аморальности. Чумак в этом уверен. Керженцев не уверен. Но всё же отступает перед Чумаком.

Подобно многим в повести, Чумак рад припомнить мирные дни, порассуждать о жизни. Хвастает бабами, кошельком, умопомрачительным клёшем. Думал ли о чем-нибудь, кроме девочек?

А как же, «о водке еще думал… о чем же еще? Денег — завались. Научным работником становиться не собирался».

Ни тени сомнения в своей жизни, своей правоте. Пижонское пренебрежение к тем, кто живет иначе, к «научным работникам». Когда «кацап» Терентьев отбил у Чумака «бабу одну», тот выбил ему парочку зубов.

Чумак любит своих разведчиков, дорожит ими. И того, на которого набросился Керженцев, и другого — еврея Гельмана. Раз смелый, Чумак готов за него «горло перегрызть».

Раньше, в гражданке, этого не ценил, а на фронте понял: смелость — всему голова. По остальным пунктам он свою программу, пожалуй, не пересматривал и «научных работников» по-прежнему не жалует.

Если человек, идущий в бой, не шкурник, не отъявленный негодяй, Некрасов не хочет произносить о нем дурные слова, это ему представляется кощунственным. Для этого человека такое слово может стать предсмертным или посмертным.

Что ж, нужно понять писателя, а чистоплюйство не красило бы Керженцева, неуместно было бы читать мораль Чумаку.

Но сегодняшнее читательское впечатление от Чумака, от походя брошенного им «кацапа» не вполне совпадает с авторским. Мы готовы воздать должное отчаянному разведчику, но настороженно чувствуем: где-то совсем близко от некрасовского Чумака готов встать и Чумак не некрасовский. Да и Чумак, с которым свела повесть, Чумак, защищающий мародера-«трофейщика», не застрахован от «дозревания». Неспроста именно с его уст сорвался «кацап».

С началом войны вошли в обиход «фрицы», «гансы», один публицист, охваченный благородным гневом, вспомнил и про «бошей». Но забылась старая мудрость: живущий в стеклянном доме не должен бросать камни. Тем более, что наш дом — многонациональный. А такие словечки, как «бош», «фриц» или «кацап», неумолимо возбуждают цепную реакцию, отзываясь «хохлом», «армяшкой», «чучмеком», «жидом». Спустя годы «вдруг» возникнет «Память», свершатся события в Алма-Ате, в Нагорном Карабахе. Разгорятся споры о «плохих» и «хороших» нациях, о «национальных» болезнях. Приехав ныне в соседнюю республику,

ты не гарантирован от «кацапа», звучащего менее безобидно, чем у Чумака. Включив у себя в московской квартире телевизор, имеешь шансы услышать откровения, близкие тем, что неслись когда-то из немецкой траншеи, — гитлеровцы с помощью громкоговорителя норовили приобщить наших бойцов к своим националистическим мудростям. И, как выяснилось с годами, не совсем безуспешно.

Нам бы не повторять затертые фразы о сложности межнациональных отношений, а вспомнить, как в первые месяцы войны была ликвидирована республика немцев Поволжья, — набитые под завязку эшелоны с людьми, издавна жившими на берегу Волги в добром согласии с соседями, двинулись в степной Казахстан, на Алтай.

Сталинград был во многих отношениях переломной точкой войны (о том сказано в романе В. Гроссмана «Жизнь и судьба»). Сталин окончательно убедился в эффективности оружия, использованного Гитлером, и перенял его опыт. После Сталинграда теплушки повезут в неприютные края «нации изменников». Ими поочередно окажутся калмыки, крымские татары, чеченцы, балкары, ингуши, причерноморские греки. Охотясь на «ведьм», будут непременно определять их, «ведьм», национальность. Дойдет до крови, пролитой на солнечных улицах Сумгаита…

Конечно, Некрасов не мог всего этого предвидеть, не мог предчувствовать и Керженцев, что дело способно принять такой оборот. Недальновидность? Вряд ли. Скорее чистота, интеллигентность, но и наивность, инфантильность мышления.

Однако какие-то предрассудки уже вошли в их сознание. Некрасов не удивлялся, что бывший арестант Валега, сражаясь за Родину, включает в это понятие и своих товарищей по окопам, и свою покосившуюся хибарку на Урале, и Сталина, «которого он никогда не видел, но который является для него символом всего хорошего и правильного». (В повести, правда, так думает только Валега, и Сталин в ней больше не упоминается).

Вскоре Некрасов раскусит Сталина, избавится от иллюзий на его счет. Да и к Чумакам отношение его изменится. Он будет воевать с ними, независимо от их национальной принадлежности, занимаемых постов. Вступится за молодых львовских художников, обложно обвиняемых в украинском национализме. За писателей-киевлян, которых метили тем же клеймом. Поднимет голос протеста, когда на месте Бабьего Яра задумают построить стадион…

Но всё это, как и многое другое, впереди. Сейчас он — участник недавнего Сталинградского сражения, автор повести,

написанной под непосредственным его воздействием. Он не всегда угадывал перспективы, но благодушием страдал менее других собратьев по перу и редко ошибался, называя зло. Правда, зло это ему, как и большинству его товарищей по оружию, представлялось неизбежно теряющим силу. Таким он и рисовал его. Например, помощника командира по тылу Калужского, который утверждает: «Себя надо сохранить — мы еще можем пригодиться Родине». Первая половина фразы — святая правда: Калужский жаждал выжить. Вторая — ложь: на Родину ему плевать. Он слишком хотел себя сохранить, чтоб беспокоиться о Родине.

Калужский не очень-то занимал Некрасова. Он уделил ему мало внимания и совсем немного места. Однако хотел раздеть Калужского догола, чтобы потом со спокойной совестью — дело сделано — выкинуть.

Однако уже в Сталинграде, в отделе кадров, Керженцев и Игорь нос к носу сталкиваются с Калужским, свежевыбритым, поправившимся.

Смысл короткой сценки достаточно ясен: Калужский живуч, до чего живуч!

Представления Некрасова о добре и зле укладывались в полярные антитезы: смелость — трусость, бескорыстие — шкурничество, дружба — предательство. Добро и зло выпадали химически чистыми кристаллами.

Физическая храбрость — признак важнейший, но не исчерпывающий исследование. Некрасов идет к нравственному праву командира распоряжаться подчиненным и практическому претворению такого права.

Если во фразу Калужского: «Мы еще можем пригодиться Родине» внести небольшие поправки, смысл ее резко изменится. Когда командир думает, помнит, знает о своих солдатах: «Они еще могут пригодиться Родине», он сознает великую, ни с чем не сравнимую ответственность за судьбы, врученные ему.

Никакая личная смелость не избавляет от нее командира. К ней нельзя привыкнуть, как нельзя привыкнуть к смерти. Он может забыть о себе, но не смеет — о солдате. Он волен скомандовать солдату «иди!», но не волен сбросить груз, который взвалила на него короткая команда.

Рассказывая о начальнике штаба полка Абросимове, Некрасов не забегает вперед, боится быть предвзятым. Это Калужский проще пареной репы. Стоило появиться красной роже, сверкнуть золотозубым ртом — и всё готово. С Астафьевым тоже возиться не с руки — онегинские бачки, оловянный взгляд, картавит на французский манер. Портрет становится визитной карточкой.

От капитана Абросимова первое впечатление — нейтральное. И внешность нейтральная: «Небритое лицо. Серые холодные глаза. Прямой костистый нос. Волосы зачесаны под пилотку. Самое обыкновенное усталое лицо. Слишком холодные глаза».

Некрасов верен себе — бой покажет, бой словам не верит. И показывает.

Сначала меняется лицо Абросимова. Лицо то же — и не то же. Губы сжаты, холодные, острые глаза сощурены, смотрят неприветливо. Левый уголок рта слегка подергивается.

Настораживает не твердость, не резкость Абросимова, а нескрываемое более презрение к людям. Раз атака захлебнулась, то не почему-нибудь: солдаты трусят, отсиживаются по воронкам, командиры «думают-гадают».

В сталинградском клубке, случалось, наши траншеи соединялись с немецкими. На участке ширяевского батальона такие соединения имелись в трех местах. Ночью саперы протянули детонирующий шнур к заминированным завалам. Чиркнуть спичкой, и завалы превратятся в проходы. По ним пойдет часть людей. А роты Карнаухова и Фарбера — по сопке, Сиднецкого — оврагом. Так предлагает Ширяев.

Абросимов не отвергает план. Он не желает о нем слышать. Ему отвратительна, ненавистна сама допустимость чьей-то мысли. Он уверен: это от страха, от нежелания идти в атаку.

Все представления об Абросимове — усталый, вспыльчивый и т. д. — отступают. Перед нами убийца, бьющийся в истерике, и потому десятикратно опасный.

Сцена состоит из диалога с короткими ремарками. В ней скрещиваются не две точки зрения на бой, а два подхода к войне, к людям. Если угодно, две жизненные философии.

Некрасов первым в нашей литературе сказал о нравственной ответственности командира, посылающего бойцов на смерть, о цене крови. Потом писатели будут развивать, варьировать эту тему, обнаруживая всё новые ее грани. Особенно близка она станет В. Быкову и Д. Гусарову, Г. Бакланову и Ю. Бондареву.

Атака, проведенная по приказу Абросимова, захлебнулась перед немецкими окопами.

Ни разу в этом отрывке — в описании атаки — не упоминается имя Абросимова. Словно нет начальника штаба, погнавшего батальон на убой, словно не он причина гибели двадцати шести человек.

Лишь потом, когда будут хоронить убитых, это имя всплывет.

Но не сказанное прежде, а все скрупулезно собранные подробности и две отрешенные фразы — каждая с абзаца: «И это все. Мы уходим», — вопиют против Абросимова.

Нравственного обвинения недостаточно. Абросимов отвечает перед офицерским судом чести. Изобличение кладет моментальный конец его карьере. Он не оставляет по себе ни следа, ни духа. «Больше об Абросимове мы не говорим. На следующий день он уходит, ни с кем не простившись, с мешком за плечами».

Абросимов чужд, чужероден. Он, как установил суд чести, конечно же, трус. У него — ни друзей, ни корней, ни корешей. С глаз долой, из сердца — вон. Память поспешно стирает имя…

С первых страниц повести, слегка трансформируясь, ведется мотив: «На войне никогда ничего не знаешь, кроме того, что у тебя под самым носом творится». Незнание — натуральное и всеобщее состояние. Не знают отступающие, и не знают идущие к передовой.

Керженцев, Игорь, Фарбер, Ширяев недостаточно осведомлены и не всё могут додумать до конца. Однако не выглядят несмышлеными, ограниченными, нисколько не выглядят. Они нравственно, человечески значительны. Даже в тех случаях, когда повторяют универсальную формулу: «А он думает за всех», когда пребывают в неведении, или попадают впросак, или терпят неудачу.

Война вступила в противоречие с принципом «он думает за всех» и нередко опровергала его на разных ступеньках армейской лестницы. Прежде всего, когда несостоятельность деятелей, скажем, абросимовского типа представала с плачевной очевидностью боевого поражения, оплачивалась неоправданными потоками крови.

Керженцев ничуть не считает, будто «мысль изреченная есть ложь». Просто ему не всегда хочется «изрекать», да и не всегда имеется для этого возможность — обстоятельства не располагают к «изречениям». А сверх того — недостаток знаний, сведений. Такой недостаток, как само собой разумеющееся, вытекает для него из фронтовой ситуации. Но Керженцев еще не догадывается, что он в свою очередь может влиять — и не лучшим образом — на эту ситуацию. Она — в какой-то мере — сложилась в атмосфере неведения, в которой сформировались Керженцев, Игорь, Фарбер, Ширяев, Валега. Война усугубила эту атмосферу, сообщив ей некую объективность: на фронте многое окружено тайной.

Зато после войны порядок вещей в корне изменится. В это верили, на это надеялись. Для людей — осознанно или подсознательно — борьба с фашизмом выливалась в борьбу с любым злом, любой кривдой и несправедливостью.

Этой святой уверенностью жили люди, победившие

опаснейшего врага.

Некрасов раньше и проницательнее других писателей раскрыл духовное достояние защитников Сталинграда, увидев в них победителей Берлина. Дух победительности пронизывал повесть, кончавшуюся сценой на Мамаевом кургане, где совсем недавно проходила передовая. Теперь Керженцев с приятелями пьют здесь за Киев, за Берлин «и еще за что-то, не помню уже за что», а мимо длинной зеленой вереницей плетутся пленные, и молоденький сержант-конвоир подмигивает: «Экскурсантов веду. Волгу посмотреть хотят…» Эта повесть свободна от казенного оптимизма, и герои ее не чувствуют себя пешками в руках всеведущего стратега. Они утвердились в гордом сознании своего достоинства, своего обновляющегося знания жизни. С таким чувством вернулись с войны солдаты, с таким чувством Некрасов писал повесть о Сталинграде.

Но это чувство не согласовалось с чувствами и намерениями Сталина вообще, с его воззрениями на литературу в особенности. Однако на первых порах фронтовая проза не подвергалась нападкам. «В окопах Сталинграда» В. Некрасова, «Спутники» В. Пановой, «Звезда» Эм. Казакевича даже удостоились Сталинской премии. Такая благодать продлится недолго. Уже в 1948 году Эм. Казакевичу «выдадут» за повесть «Двое в степи», потом — за «Сердце друга».

Всего труднее, всего драматичнее сложится судьба Виктора Некрасова. Состояние внутренней независимости, изначально присущее ему, подкреплялось фронтовым опытом. Он продолжал писать так, как полагал нужным, не сообразуясь с указаниями и кампаниями. Из-под его пера вышла первая повесть о разочарованиях и трудностях, подкарауливавших демобилизованных фронтовиков, — «В родном городе». Критика отнеслась к повести неодобрительно, сама тема вошла в разряд нежелательных, и когда уже в 80-е годы увидели свет «Встречи на Сретенке», автору повести В. Кондратьеву тоже досталось. (В пору, когда имя Некрасова находилось под запретом, В. Кондратьев и В. Быков пользовались любой возможностью, чтобы сказать доброе слово о писателе, которому они стольким обязаны).

«В окопах Сталинграда» — главная книга Виктора Некрасова. Но и в других повестях, в военных рассказах, путевых очерках, в полемических статьях об искусстве он также нравственно определен, последовательно уступчив. Почти все его вещи печатались в «старом» «Новом мире», и это усиливало неприязнь критиков-охранителей. Не пришлись им по вкусу и некрасовские путевые записки, где автор пренебрегал традиционными клише и

стандартным изобличением «их нравов», предпочитая писать правду об увиденном.

Среди откликов-поклёпов, невесть в чём обвинявших В. Некрасова, выделялась развязная статья «Турист с тросточкой», напечатанная в «Известиях». Хотя статья шла без подписи, как редакционная, автор ее известен. В свойственной ему манере он ратует сейчас за перестройку, не испытывая, видимо, потребности покаяться. По-моему, эта разновидность борцов за обновление — самая для него опасная.

Виктор Некрасов относился к тем людям, кому не пришлось бы перестраиваться, чтобы быть порядочным. Иным он быть просто не умел. Потому, восставая против любой несправедливости, защищал незаслуженно обиженных. Так, многие годы устно и письменно пытался объяснить всевозможным начальникам самобытное творчество киевских художников Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко, подвергавшихся гонениям вплоть до наших дней.

Посмотрев фильм Марлена Хуциева и Геннадия Шпаликова «Застава Ильича», Некрасов пришел в полное восхищение, которое и высказал на страницах «Нового мира» (1962, № 6).

Но «Застава Ильича» не понравилась Н. Хрущеву, он во всеуслышание выразил свое неудовлетворение, лизоблюды привычно подхватили хулу, кое-кто из друзей М. Хуциева отшатнулся от него. Некрасов же продолжал защищать фильм и старался не оставлять Хуциева наедине с тяжелыми мыслями.

Так он жил, писал, вёл себя, вызывая растущую неприязнь руководящих инстанций в Киеве и в Москве. Кампания против него шла по восходящей. Исключение из партии, из Союза писателей. Рассыпан набор двухтомника. Изгнание. Смерть в Париже. Могила на эмигрантском кладбище…

За несколько часов до кончины Виктору Платоновичу в больнице прочитали «Московские новости», где впервые за долгие годы были сказаны добрые слова о нем. Но они не восполняют наш великий долг перед ним, не искупают нашей общей вины.

Москва, 1988.

Кипнис-Григорьев Григорий
И только правду…

1

Однажды — было это, по всей вероятности, в самом начале

50-х годов — ко мне зашел Виктор Платонович и попросил срочно отпечатать на машинке его автобиографию; она была написана им от руки, как, в общем-то, и требовали строгие отделы кадров. Но на этот раз Некрасову, не помню уж для какой цели, почему-то понадобился машинописный текст. Заложив по обыкновению два листочка через копирку, я тут же при нём отстукал текст на машинке. Он забрал только первый экземпляр, второй так и остался у меня. Убежден, что эта автобиография никогда и нигде не публиковалась, а она заслуживает того. Впрочем, пусть судит сам читатель.

«Автобиография

Родился 17 июня 1911 года в г. Киеве. Мать — Зинаида Николаевна Некрасова — врач, отец — Платон Федосеевич Некрасов — бухгалтер, умер в 1917 г. в Красноярске от разрыва сердца. До 1914 года жил вместе с матерью за границей (Швейцария, Франция), где мать сначала училась (Лозаннский университет), затем работала в госпитале (Париж).

С 1914 года живу в Киеве. Окончил 43-ю трудовую школу в 1926 году, железнодорожную строительную профшколу в 1929 г. В 1930 году поступил в Киевский строительный институт, на архитектурный факультет, который окончил в 1936 г. Кроме того, в 1937 году окончил театральную студию при Киевском театре русской драмы.

С 1936 по 1938 г. работал в архитектурных мастерских архитектором. С 1938 по 1941 г. работал актером, режиссером, театральным художником в театрах Владивостока, Кирова, Ростова-на-Дону.

24/VIII 1941 года был призван в армию. Служил в действующей армии — командиром взвода, полковым инженером, заместителем командира саперного батальона по строевой части вплоть до июня 1944 г.

Был дважды тяжело ранен. В 1944 году после второго ранения перешел на инвалидность и был демобилизован. С марта 1945 года по июль 1947 работал в газете „Радянське мистецтво“ заведующим отделом. Став членом Союза советских писателей, перешел на творческую работу. За повесть „В окопах Сталинграда“ в

1947 году получил Сталинскую премию II-й степени. Сейчас являюсь заместителем председателя правления Союза советских писателей Украины.

Виктор Некрасов».

Если внимательно вчитаться, то при всей лапидарности автобиографии она дает немало поводов для размышлений самого разного рода. Но я хочу обратить внимание на ее последние строчки. Например, на слова «сейчас являюсь», потому что пройдет совсем немного времени — и Некрасов перестанет быть заместителем председателя Союза писателей Украины. Или, скажем, его лауреатство… Он никогда не носил медали лауреата Сталинской премии (лауреатский значок Некрасова я видел только в ящике его письменного стола, и то — в коробочке). Вообще говоря, ему были в принципе противопоказаны руководящие посты. И чужды всякие регалии. Видимо, самой судьбой уготовлено ему было стать просто свободным художником. В прямом и самом лучшем смысле этого слова — свободным. То есть правдивым. Честным. Потому-то и работалось, и жилось ему всё труднее и труднее.

2

Примерно год назад, в ноябре 1988 года, я передал в редакцию «Литературной газеты» небольшую заметку из Киева. В силу каких-то причин, может быть, даже чисто технических («было тесно на полосе»), она вышла в очень усеченном виде. Поскольку в ней приводились факты, в какой-то степени ставшие уже историческими, да к тому же и мало кому известные, воспользуюсь случаем и приведу заметку в том полном виде, как она была передана в редакцию:

«Отменяем несправедливые решения

Очередное заседание президиума правления СП Украины состоялось в Киеве. В том же помещении, что и тогда… И снова разговор о Викторе Некрасове.

Грустно вспоминать об этом… Но необходимо. В мае 1974 года правление Киевской организации СП Украины, получив указание вышестоящих инстанций, исключило В. П. Некрасова из Союза писателей. Автору книги „В окопах Сталинграда“ — одного из лучших произведений о Великой Отечественной войне — инкриминировалось и „антисоветское поведение, несовместимое с требованиями Устава СП СССР“, и „опорочение высокого звания советского писателя антисоветской деятельностью“, и т. д. и т. п. Незадолго перед тем писатель был исключен из партии, членом которой стал на фронте. А 3 января 1975 года, уже после отъезда за границу, решение об исключении В. Некрасова из Союза писателей было принято на заседании президиума правления СП Украины (решение президиума не требует утверждения Союзом писателей СССР в Москве, оно окончательное).

Следует заметить, что, проживая во Франции, В. Некрасов оставался в статусе гражданина СССР, за ним даже сохранялась квартира на Крещатике, 15, в „пассаже“, и продолжалось так несколько лет, вплоть до того, как Виктор Платонович по одному из зарубежных „голосов“ едко высмеял печальной памяти трилогию Л. Брежнева, в особенности же — его военную часть, „Малую землю“. Тут же последовала высочайшая санкция. У меня хранится выпуск „Ведомостей Верховного Совета СССР“ № 18, где среди других напечатан подписанный Л. Брежневым 24 апреля 1979 года Указ Президиума Верховного Совета СССР следующего содержания (он, естественно, не публиковался в массовой печати):

„Учитывая, что Некрасов В. П. систематически совершает действия, не совместимые с принадлежностью к гражданству СССР, наносит своим поведением ущерб престижу Союза ССР, Президиум Верховного Совета СССР постановляет:

На основании статьи 7 Закона СССР от 19 августа 1938 года „О гражданстве Союза Советских Социалистических Республик“ за действия, порочащие звание гражданина СССР, лишить гражданства СССР Некрасова Виктора Платоновича, 1911 года рождения, уроженца гор. Киева“.

Эти горестные подробности вспомнились в связи с тем, что на днях президиум правления СП Украины единогласно отменил то злополучное свое решение от 3 января 1975 года об исключении Некрасова из Союза писателей. Имя его посмертно восстановлено в списках писательской организации. Решено также установить мемориальную доску в „пассаже“ на доме, где он жил, и издать в Киеве в 1991 году к 80-летию со дня рождения Виктора Платоновича трехтомник его избранных произведений…

На этом же заседании президиума восстановлен в рядах членов СП Украины несправедливо исключенный из него в годы застоя известный украинский поэт, 80-летний Григорий Кочур, по сей день продолжающий плодотворно трудиться на ниве художественного перевода — зная много языков, он активно переводит на украинский с английского, французского, чешского, словацкого, польского…»

…Такой была та заметка — в газете из нее «выпал» Указ и кое-какие другие любопытные места, добавить же к ней можно было много всяких подробностей. За 35 лет работы собственным корреспондентом «Литературной газеты» по Украине у меня сложился большой личный архив с десятками корреспондентских блокнотов, вырезками, письмами и документами, которые сегодня нельзя читать без волнения. Нашел я и блокнот с записями о том самом заседании правления Киевской писательской организации. 21 мая 1974 года. Повестка дня: об антисоветском поведении В. Некрасова. Председательствующий — первый секретарь правления Ю. Збанацкий. Из выступления: «…Этот типичный перерожденец, который дошел до распространения антисоветских заявлений, откровенно поддерживает Солженицына, которому советские порядки не нравятся. В свое время за всё это Некрасов был исключен из рядов партии, но так и не образумился…» Предложение: исключить из СП. Реплики: «Давно пора!» Постановление: «В. П. Некрасова, опозорившего высокое звание советского писателя антисоветской деятельностью и аморальным поведением, из членов Союза

писателей исключить…»

Грустно и больно. Не пройдет и полугода, как он покинет свой родной город. Навсегда. Это произойдет в сентябре 1974 года. Еще через год с небольшим я вдруг получу по почте странную открытку из Парижа, при том, что мы оба понимали: при тогдашних драконовских порядках, увы, переписки между нами быть не может. По экстравагантности и загадочности (представьте себе изображение огромных босых ступней, и больше ничего!?) открытка чисто некрасовская, с залихватской мальчишеской выдумкой. Можно только догадываться, как вертели ее в руках товарищи, которым надлежало в те годы следить за корреспонденцией, поступающей к нам из Парижа от наших же политэмигрантов (характерный почерк и буква «В» вместо подписи не оставляли никаких сомнений относительно их авторской принадлежности). А сам текст вроде бы даже безобидный:

> «21.12.75. И при всём при том — с Новым годом всех вас! И чтоб был он, как говорят, лучше прошедшего и хуже последующего — 1977-го… Обнимаю! В.».

Текст, согласитесь, действительно безобидный. Но в нем нельзя не услышать тоски по Киеву, по друзьям. Я не ответил. Теперь, вспоминая, — страдаю…

3

Роюсь среди своих бумаг, ищу те, что связаны с Некрасовым. Нашел целую кипу относящихся ко второй половине 60-х. Вспоминаю, был такой короткий период, когда он много и плодотворно работал, несмотря ни на что. Писал небольшие вещи. Одни — «в стол», другие — в «Новый мир». Позже некоторые из них войдут в «Городские прогулки». В это время он почти не пил. Особенно когда выезжал в Ялту. Приведу для подтверждения отрывок из шуточного письма, посланного мною в Ялту ко дню рождения Зинаиды Николаевны. Уезжая из Киева на отдых и работу, он часто просил меня написать ему «что-нибудь веселенькое». Я и старался в меру своих возможностей.

> «Закрытое письмо
> Зинаиде Николаевне Некрасовой,
>
> матери писателя Некрасова, автора
> книги „В окопах Сталинграда“ и др.

нашумевших произведений

Милостивая государыня Зинаида Николаевна!

Прежде всего я и моя семья рады приветствовать и поздравить Вас с днем рождения. Многих лет жизни Вам!

У каждого порядочного человека день рождения бывает именно в июне (например, у Корнея Ивановича Чуковского — 2-го, у Гарсиа Лорки — 5-го, у Пушкина — 6-го, у его друга Чаадаева — 7-го, у Абу Исхака Исмаила ибн аль-Касима, арабского демократического поэта VIII века, популярного среди бедняков Багдада под псевдонимом Абуль-Атахия, — день точно не определен, но считается — в июне, у Бичер-Стоу — 14-го, у А. Твардовского — 21-го, у Вашего сына — 17-го, у меня, замечу скромненько, — 12-го).

Но я хочу сказать совсем о другом. Пользуясь случаем, хочу поговорить с Вами откровенно о Вашем сыне и о людях, которые его окружают. У нас в Киеве ходят слухи. Как и в те далекие от нас времена, слухи идут, естественно, от первой женщины, от Евы.

— Ах, — говорит она мне. — Он не…

— Как? — недоумеваю я. — Совсем?

— Представьте себе, — утверждает она.

— Послушайте, Ева, — говорю я. — Но как это возможно? Там же вокруг живые люди. И он ведь тоже, в конце концов, живой человек.

— Однако факт остается фактом, — многозначительно говорит она, прижимая к груди какую-то рукопись.

— Ну, хорошо, допустим, что с Л. В. он не… Но с С. С? Но с А. Б. В. Г. Д. Е. Ж. З. И.?.. С морячком, сошедшим на берег в Ялте? Свои сто? В честь Дня медработника?

— Нет, — горячится она. — Он твердо не…

— А что же он да? — стараюсь докопаться я.

— Он ра… Он пиш… Он соч… Он созд… Он твор…

И я окончательно замолкаю. Я радуюсь. О боги! О климат Ялты! О трезвость без берегов!!!»

…И так далее в том же духе (необходимые пояснения: Ева — литератор Е. Пятигорская, жена И. Пятигорского, инженера, друга Некрасова еще с довоенных лет; Л. В. — киевский писатель и художник Леонид Волынский; С. С. — крымский писатель Станислав Славич). Под письмом дата — 20 июня 1967 года. В те

дни настроение у Некрасова действительно было хорошее, казалось, что и дела его налаживаются, во всяком случае, он много работал и к концу года решил снова поехать в Ялту. Тогда-то, собираясь в дорогу, он обнаружил среди своих старых бумаг… почти 30 страниц рукописи своей первой повести. Они почему-то не вошли в книгу и никогда не публиковались, он просто-напросто забыл об их существовании. И вдруг…

Кто читал Некрасова, тот хорошо знает, как он любил всякие литературные находки — и не только в переносном, но и в прямом смысле слова. Эта же находка особенно его порадовала, как бы возвращая к тем дням послевоенной молодости, когда он запоем писал свой «Сталинград».

— Теперь это, увы, никому не нужно, — сказал он.

— Как не нужно? — взыграло мое журналистское нутро. — Отдай мне, и мы напечатаем это в «Литературке».

— Во-первых, твои не напечатают, тут много… А во-вторых… Послушай, я, кажется, кое-что придумал. — И, как всегда в такие минуты, в глазах его появился озорной блеск. — А почему бы тебе не приехать за этим выдающимся произведением к нам в Ялту? Совместим полезное с приятным, а редакция не обеднеет от твоей командировки на пару дней…

Некрасов был большим мастером по созданию всяких, как сегодня сказали бы, нестандартных ситуаций — с невероятными поездками и неожиданными встречами. Я, конечно, загорелся — кто отказался бы провести новогодний уик-энд в Ялте в такой компании? Тут же вспомнилось, что в феврале 1968 года будет широко отмечаться 25-летие Сталинградской битвы. Когда я, позвонив первому заместителю главного редактора «Литгазеты» В. Сырокомскому, сказал, что могу подготовить для редакции неопубликованные страницы из «Окопов…», но для этого необходимо съездить на пару дней к автору в Ялту, Виталий Александрович, не раздумывая, тут же дал свое «добро».

Это были, наверное, самые лучшие дни нашей многолетней дружбы. Он был, как всегда, с мамой. Рядом жила Ася Берзер, Анна Самойловна, — его любимый редактор: именно она, как известно, готовила к печати и вела в «Новом мире» все его публикации. Им хорошо работалось. Настроение было отличное. Январь выдался сухим и в меру теплым. А главное — абсолютно трезвым! Мы наслаждались прогулками, бесконечными разговорами, много шутили, смеялись… Даже не могу вспомнить, кто еще из писателей жил тогда в Ялтинском доме творчества — нам никто не нужен был. С его слов я записал в блокноте короткое авторское предисловие. Вот оно:

«Предлагаемые читателю главы из повести „В окопах Сталинграда“ написаны были 23 года назад, летом 1945 года, но в книгу не вошли. И не вошли по следующей причине. Закончив две части повести (кончались они тогда подготовкой к танковой атаке на водонапорные баки Мамаева кургана — глава 26-я), я отпечатал их на машинке и приступил к 3-й части — к танковой атаке и последовавшим за ней событиям.

Но тут подвернулась возможность, хотя я уже демобилизовался, побывать в Польше, Австрии, Чехословакии. Работа была прервана. Перед отъездом я успел только дать своему другу-москвичу отпечатанный текст — пусть повезет в Москву, покажет кому-нибудь, авось…

За время моего отсутствия рукопись побывала во многих руках и редакциях и в конце концов попала в „Знамя“. Всеволоду Вишневскому она понравилась, и решено было немедленно сдать ее в набор. Но с условием: не канителиться с 3-й частью, а тут же, в Москве (я приехал из Киева), срочно написать концовку и сразу же — в типографию. Так родились последние четыре главы.

Публикуемое ниже — начало „несостоявшейся“ третьей части. Смею надеяться, что ко дню 25-летия окончания Сталинградской битвы рассказ о последних днях сражения представит для читателей „Литературной газеты“ определенный интерес».

…Интерес был более чем «определенный». Эти главы мы опубликовали 31 января 1968 года, в канун юбилея битвы, под названием «Чертова семерка» (тогда у нас в стране с успехом шел американский фильм-боевик «Великолепная семерка»).

Нужно отдать должное «Литературке». Несмотря на то, что уже полным ходом начинался второй этап гонений и нападок на Некрасова, наша газета продолжала, в отличие от других изданий, печатать опального писателя. Это имело для него немаловажное значение, ибо даже «Новый мир» не мог тогда напечатать «Городские прогулки». У нас же в «Литгазете» ко Дню Победы в 1969 году все-таки вышел четырехколонник «Валега» под рубрикой «Где же вы теперь, друзья-однополчане?». Описана там довольно занимательная история некрасовского ординарца — героя его первой книги, героя его же фильма и, наконец, живого прототипа, история, которая вышла позже в качестве постскриптума к «Трем встречам» в книге «В жизни и в письмах»

— кажется, последней книги Виктора Некрасова, изданной на родине.

Вот она лежит передо мной: небольшая, в светлой обложке с фотопортретом автора в полный рост. Стройный, элегантный. Вроде бы на ходу приостановился и с удивлением или иронией глядит на нас. На моем экземпляре автор собственноручно пририсовал себе фломастером тросточку (к тросточке мы еще вернемся), будто держит ее в руке, а на внутренней странице оставил надпись: «Дорогому моему Гришке — без слов… Вика 17/IX-71».

4

В эту книгу вошла и «Чертова семерка», о которой упоминалось выше. А вообще, некрасовские «рассказы с постскриптумами» могут сказать читателям об их авторе, пожалуй, больше любой другой его книги.

Еще несколько страниц того периода я обнаружил среди своих бумаг. Телеграмма из редакции: «К ДЕСЯТОМУ ФЕВРАЛЯ ПОДГОТОВЬТЕ ОТВЕТЫ НА ДВА ВОПРОСА ОБРАЩЕННЫХ ОДНОМУ ИЗ ВИДНЫХ ВОЕННЫХ ПИСАТЕЛЕЙ ДВТЧК ПЕРВОЕ КТО ИЗ ПРОТОТИПОВ ВАШИХ КНИГ ЖИВ ЗПТ КАКОВА ИХ ПОСЛЕВОЕННАЯ СУДЬБА ЗПТ ВТОРОЕ БУДЕТЕ ЛИ ПРОДОЛЖАТЬ ПИСАТЬ ВОЕННЫЕ ТЕМЫ ЗПТ КАКОВЫ ВАШИ ТВОРЧЕСКИЕ ПЛАНЫ». Получив телеграмму, я тут же ринулся к Некрасову и заставил его писать ответ: хотелось, чтобы, вопреки негласным запретам, имя писателя и его мысли время от времени доходили до массового читателя, тем более что в них, как оказалось, раскрываются не только некоторые черты характера Некрасова, но и кое-какие «секреты» его творчества. У меня сохранились пять листков бумаги, размашисто исписанных карандашом Некрасова (должен заметить, что и повести свои он почти всегда писал карандашом, часто — на оборотной стороне своих прежних рукописей). Ответы опубликованы, правда, в сильно сокращенном виде, в февральском номере «Литгазеты» в 1970 году ко Дню Советской Армии. Написаны они, как всегда у него, предельно лаконично, честно и искренне:

> «На первый вопрос могу ответить: да, мне повезло, остались еще фронтовые друзья. И Ваня Фищенко (он же Чумак из „В окопах Сталинграда“) — сейчас в Червонограде, орудует в шахтах; и Николай Страмцов — всё еще военный, вероятно, уже полковник; и Николай

Митясов (не путать с героем повести „В родном городе“, а почему — об этом в другой раз) — тоже всё еще носит погоны и тоже, вероятно, полковничьи; и Толя Кучин (он же Лисогор из „Окопов…“) — живет под Москвой; и начарт Половцев — он в далекой Сибири; Лазарь Бречко, начфин (тоже персонаж „Окопов…“), которого все звали почему-то Лазарище — этот совсем далеко забрался, на Дальний Восток; а кроме того, еще госпитальные однопалатники — одним словом, повезло.

Ребята (хороши ребята — всем по 50!) работают, служат, растят детей и внуков, короче говоря, как принято писать в газетах (а я сейчас пишу в „Литературную газету“ — поэтому на этот раз и мне можно), включились в мирный созидательный труд.

Приятно и радостно об этом писать. Но на фоне этого радостного есть, увы, и нелепые превратности судьбы. И связаны они, эти нелепости, увы, с дорогим моим фронтовым связным Валегой, о котором я писал и в „Окопах“, и в „Новом мире“ („Три встречи“), и в мае прошлого года в „Литературной газете“.

Как я писал тогда в „Литературке“, случилось так, что после нашего расставания в Люблине, где я был ранен, он, Валега, через 25 лет разыскал меня. Столярничал на ст. Бурла в Алтайском крае, „Окопов“ не читал, а вот разыскал. Завязалась переписка, я послал ему книги, он в ответ фотокарточки, но нам было этого мало, нам нужно было другое — встреча. Вполне осуществимая мечта. Естественно, что мне во много раз было бы легче добраться до Алтая, чем ему до Киева. А получилось наоборот — он собрался раньше меня, и не один, а с женой и внуком.

Представляю себе эти сборы, накопить деньги, передвинуть, возможно, отпуск, ну и всякое другое. Всё это, очевидно, не без трудностей было преодолено, сели втроем в поезд, пересели в Москве, приехали в Киев и… в Киеве меня не оказалось…

Что-то я перепутал, недопонял и, будь оно неладно, перед самым их приездом буквально на два дня выехал в маленькую командировочку. Нужно же такое… И пришлось дорогим моим алтайцам сменить Киев на Донецк, а бывшего капитана, так мечтавшего о тихих прогулках по Киеву, ну и еще кое о чём, заменить родственницей Валегиной жены. Я не писал бы обо всём этом, не задай мне „Литгазета“ вопроса о фронтовых

друзьях. Ну, как тут не поделиться своей печалью…

Но встреча будет! Я должен искупить вину перед Валегой и приехать к нему. Обязательно! Непременно! И в этом году![1]

Второй вопрос. Вот на него я с такой определенностью ответить не могу. О войне я писал уже много. Но написанное по свежим следам в 1946 году („В окопах Сталинграда“) и через 20 лет („Случай на Мамаевом кургане“), хотя и посвящено одним и тем же людям и действиям, тут и там происходило на одном и том же месте, но, что ни говори, рассказывает каждая из этих вещей не совсем об одном и том же.

Что ж, изменилось отношение автора к описываемым событиям? Упаси бог, нет! Но прошли годы, и не малые, и они-то многое изменили. И тебя, и жизнь.

Думаю, что *специально* о войне — еще один эпизод, еще одна атака, еще один солдат или офицер — писать не буду. Но не вспоминать о ней тоже не могу. Я, например, никогда точно не знаю, чем закончат начатый диалог мои герои. В общем-то они ведут меня за собой, а не я их, хотя я их создатель. А может, никаких „героев“ не будет, — меня не тянет сейчас ни к романам, ни к повестям, — а будет автор. Ну, а с ним труднее всего сладить — бог знает, куда его занесет».

5

Куда его «занесло» — мы знаем. Как человек не только редкой честности, но и отчаянно смелый, он не мог спокойно смотреть на творящиеся несправедливости, не мог не бороться за правду. Открыто выступал в защиту молодого украинского критика Ивана Дзюбы, подвергавшегося преследованиям. Пытался проникнуть на закрытые процессы, где судили диссидентов. Не колеблясь, подписал вместе с другими деятелями культуры и науки известное письмо 137-ми в защиту арестованных. А угроза ареста, казалось, нависла уже и над ним. Похоже, что ситуация складывалась для него даже опаснее той, что была в начале 60-х, хотя тогда он попал в немилость к самому Никите Сергеевичу: был обруган им и назван «не тем Некрасовым» — за публикацию в «Новом мире» зарубежных записок, за поддержку фильма Марлена Хуциева «Застава Ильича» и т. д. История эта, впрочем, хорошо ныне известна по воспоминаниям участников и свидетелей встречи Н. С. Хрущева с творческой интеллигенцией.

Мне же хочется рассказать о том, как эта кампания шельмования проходила у нас в Киеве. Тут тоже пригодятся мне старые блокноты, выписки, черновики собственных корреспонденций.

Апогей — 8 и 9 апреля 1963 года. Светлый и величественный, как его принято называть в официальных отчетах, Сессионный зал Верховного Совета УССР, вмещающий более тысячи человек, заполнен до отказа: здесь секретари обкомов и горкомов партии, руководители республиканских министерств и ведомств, политработники армии и флота, представители творческих союзов, комсомольские активисты, пропагандисты и агитаторы, библиотекари, завклубами…

Вдвоем с Некрасовым мы сидели на верхнем ярусе и, признаться, чувствовали себя довольно неуютно. Мне предстояло написать в «Литгазету» небольшую информацию об этом событии, Виктора ожидало нечто более серьезное — его заранее и уже не раз предупреждали, что обязательно нужно будет выступить, долго и нудно призывали признать ошибки, покаяться — только так, дескать, можно искупить свою вину.

Открыл заседание член Политбюро ЦК КПСС, первый секретарь ЦК Компартии Украины Н. Подгорный, доклад прочитал тогдашний главный идеолог республики А. Скаба. Помимо Некрасова, основного грешника, критиковались (за «туманное идейное содержание стихотворений») Микола Винграновский, Лина Костенко, Иван Драч, Савва Голованивский.

Начались прения, всё шло своим чередом, обстановка постепенно накалялась, специфически подобранная публика заученно реагировала возгласами «правильно!», когда председательствующий предоставил вдруг слово Некрасову. Я едва успел произнести «ни пуха!», он, как водится, послал меня к чёрту и твердой походкой неторопливо стал спускаться вниз. Нужно заметить, что «сошествие» это продолжалось непривычно долго. Все остальные намеченные к выступлению ораторы заблаговременно усаживались в ближайших рядах партера, чтобы мигом подняться на трибуну. Некрасову же предстояло выйти из зала в фойе, пройти его, спуститься по четырем лестничным пролетам, снова преодолеть широкое фойе и лишь затем, опять войдя в зал, прошагать к трибуне. Там уже нарастал шум нетерпения: «совсем не уважает аудиторию…» Но вот наконец на трибуне — главный виновник.

Честно говоря, я никогда до того не видел его выступавшим с трибуны, тем более — перед такой многолюдной аудиторией. К тому же настроенной, мягко говоря, недружелюбно. Мне стало страшно за него. Только б не сорвался… Но он уже говорил. И говорил таким звонким, таким ясным и уверенным голосом, что я

поразился. Ни тени волнения. А зал слушал, что называется, затаив дыхание. Говорил он о чести, о том, что всегда поступал по совести и писал честно, что никак не может принять обвинения и признать за собой несовершенные ошибки, ибо, признав, потерял бы уважение к себе как к писателю и коммунисту. И кончил громко, даже с несвойственным ему пафосом, что писал и будет писать правду. Ничего, кроме правды! Одну только правду, за которую сражался в окопах Сталинграда!

Что тут началось! Произошло настоящее чудо. Последние слова были произнесены таким тоном, что весь зал, за исключением, разумеется, президиума, буквально обрушился аплодисментами. Правда, под суровыми взглядами членов президиума рукоплескания как-то постепенно опускались ниже и ниже, как бы исчезая под откидными крышками, установленными перед каждым депутатским местом. Но всё равно настоящий и никем не ожидаемый триумф писателя и гражданина состоялся! Когда он возвращался на место, сидевший недалеко от нас многолетний редактор журнала «Перец» Федор Макивчук, человек, у которого была слава не только остроумца, но и неуемного матерщинника, в сердцах произнес громко: «Ну, Виктор, и врезал же ты им, трам-та-ра-рам-там-там!»

А Подгорный вынужден был в заключительном слове посвятить выступлению Некрасова еще целых десять минут. Дабы другим неповадно было! Особенно возмутило его то, что не признал ошибок. «…Участники совещания убедились, что Некрасов выводов не сделал, ничему не научился, да, пожалуй, и не имел такого желания», — заявил он, назван выступление писателя «путаным и таким же беспринципным, как и его писания последних лет».

Сегодня подобные нравоучения ничего, кроме грустной улыбки, не вызывают, тогда же от них переходили к прямым угрозам: «Естественно возникает вопрос: за какую же вы, товарищ Некрасов, стоите правду сегодня? От вашего выступления и идей, которых вы продолжаете придерживаться, очень несёт мелкобуржуазным анархизмом. А этого партия, народ терпеть не могут и не будут, — угрожал первый секретарь ЦК. — Вам, товарищ Некрасов, нужно очень серьезно над этим задуматься!»

…По дороге в корпункт в какой-то «стекляшке» мы выпили, как любил говорить Некрасов, «свои сто грамм», а может быть, и двести. С ходу набросав сухую, протокольную заметку даже без указания имен критикуемых, я прочитал его Виктору:

— Всё правильно, — сказал он. — Но про меня почему-то ни слова. Даже обидно. И почему бы не дать знать человечеству, что Некрасов все-таки не дрогнул, а?

Он прав, конечно. Но как это сделать? Как написать, чтобы редакция не выкинула, а бдительный цензор пропустил? У меня сохранился черновой набросок заметки с этим вписанным абзацем: «Серьезной критике были подвергнуты некоторые литераторы, в частности В. Некрасов, допустившие в своей работе идейные срывы». И далее указывалось, что его выступление «не удовлетворило», что он проявил «непонимание ошибок», «неумение оценить», «нежелание серьезно прислушаться»… То есть полный набор тогдашних зубодробильных штампов, из которых, однако, каждому становилось ясно, что грешник не покаялся. Так оно и было напечатано в «Литературке» — к явной радости ошельмованного, но действительно не дрогнувшего писателя.

У Подгорного в заключительном слове было одно любопытное рассуждение, которое, на мой взгляд, уместно здесь вспомнить. «Странно, — недоумевал он, — что до сих пор никто из критиков и писателей Украины не выступил в печати с основательной и принципиальной партийной оценкой идейно вредных взглядов В. Некрасова… Кое-кто из руководителей Союза писателей высказывал мысль о том, что писательская общественность будто бы не несет ответственности за ошибки того или иного литератора. Такое утверждение мы считаем неправильным. Мы полностью на стороне рабочих „Арсенала“, которые при встрече с писателями подчеркивали серьезную ответственность Союза писателей за идейные недостатки произведений своих членов…»

Что никто основательно не выступил — это правда. Действительно, никто из серьезных и уважаемых писателей Украины (не говорю о циниках-функционерах) не позволил себе ни разу выступить со статьей или речью против Виктора Платоновича, хотя многих уговаривали и даже заставляли. В особенно трудном положении находились тогда такие крупные мастера литературы, как, скажем, Микола Бажан и Олесь Гончар, — их обычно пытались «обрабатывать» на самом «верху». Тем не менее, и Гончар, вынужденный, как руководитель СП Украины, выступить первым после докладчика, и Бажан, которого тоже вытянули на трибуну, умудрились не высказать ни одного упрека или замечания в адрес критикуемых, вообще не сказать ничего конкретного — какие-то общие слова о высоких материях и ни слова по существу разговора. В ту эпоху наряду с эзоповской школой в чисто литературном творчестве возникла еще целая школа эзоповских выступлений с трибуны. Как ответ на ситуацию, когда защитить невозможно, отказаться от выступления нельзя, а говорить неправду совесть не позволяет:

если уж не помочь, то хотя бы не навредить; non vicere! — любили призывать древние римляне. К Некрасову, повторяю, лучшие писатели Украины, как старые, так и молодые, всегда относились с подчеркнутым уважением и симпатией.

В начале 1989 года поэт Григорий Поженян писал в «Известиях»: «…Да простит меня Олесь Гончар. Вы помните, Олесь, нашу с вами встречу в Ирпене? Это было, когда Виктор еще не уехал в Париж. Очень многим рискуя, вдруг бы я проговорился, вы мне дали деньги для Виктора».

На следующий день после выхода статьи Поженян подробно рассказал мне, как вместе с украинским писателем Василием Земляком встретили случайно в Ирпенском доме творчества Олеся Гончара, так же случайно разговор зашел вдруг о Некрасове, Поженян сказал, что Виктор буквально бедствует. Гончар попросил подождать несколько минут, зашел к себе в комнату и вынес деньги: «Передайте ему». Тронутый статьей Г. Поженяна, Олесь Терентьевич, вспоминая об этом эпизоде, говорил мне недавно:

— Вы ведь знаете, что мы не были близки с Некрасовым, но я очень уважал его, фронтовика, за честность и настоящий талант. Мне тоже кое-что досталось из-за него. Однажды меня, как руководителя Союза писателей Украины, пригласили на завод «Арсенал». (Думаю, что это именно тот случай, о котором на совещании говорил недовольный Подгорный. — *Г. К.-Г.*). Было это в период очередной идеологической кампании после некрасовских зарубежных очерков. Оказывается, Виктора тоже пригласили, но он не явился. Взвинченные кем-то люди выкрикивали из зала: «Мы знаем, где он живет, мы пойдем бить ему окна!»

«Как вам не стыдно! — сказал я им. — Вам не нравится его произведение — это ваше право, но разве можно вот так нападать на писателя?..»

Меня тогда поразило озлобление людей, — продолжал Гончар. — А как трудно было защищать Виктора Некрасова и Гелия Снегирева, когда поступила команда исключить их из партии. На парткоме мы тогда все-таки устояли, не исключили их. Это сделали позже, уже без нас…

Вспоминая тот тяжелый для Некрасова 1963-й год (в январе — недоброй памяти реплика «Турист с тросточкой» в «Известиях», в марте — яростные нападки из Москвы самого главы государства, в апреле — серия проработок в Киеве), просто диву даешься, как в такой обстановке он умел сохранять бодрость духа, продолжая вести себя так, словно ничего не случилось, оставаясь самим собой, всё тем же обаятельным и благородным

Виктором Платоновичем Некрасовым.

…Как-то вечером мы с женой вышли сделать кое-какие покупки и попутно прогуляться по Крещатику, — киевляне это любят. Была середина октября 1964 года. Столица республики готовилась торжественно отметить 20-летие освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков. Поговаривали, что на торжества приедет Никита Сергеевич. Мы шли по нечетной стороне и, миновав «пассаж», увидели вдруг, что на противоположной стороне с изгибистого здания у главпочтамта, где уже висели готовые к празднику портреты «вождей», вроде как снимают портрет Хрущева. «Видимо, переставят на другое место», — подумал я, но возня с портретом, висящим уже вниз головой, была настолько необычной, что я тут же позвонил из автомата Некрасову — он жил рядом.

— Ты можешь выйти? Тут напротив происходят какие-то манипуляции с портретом твоего лучшего друга.

Он сразу догадался, о ком речь, и через пять минут мы уже втроем смотрели на происходящее. В этот миг самый большой портрет полетел вниз. Раздался треск.

— Вот и всё, — сказал Виктор как-то отрешенно и беззлобно.

Мы вспомнили, что каких-нибудь 11 лет назад, когда было объявлено о смерти Сталина, случилось так, что мы тоже были вместе. Тогда зарождались надежды. Теперь многое было неясно, но всё же надежды на лучшее затеплились. Можно ли было предугадать, что еще через десять лет страна расстанется с одним из своих лучших писателей навсегда?..

6

Мы познакомились в конце сороковых, я тогда делал первые шаги в журналистике, а познакомил нас сотрудник республиканской газеты Я. Богорад — бывший командир партизанского отряда, человек исключительной скромности и человечности, Виктор его очень любил. Что больше всего объединяло нас? Пожалуй, минувшая война, мы еще сильно чувствовали ее недавнее дыхание. По-настоящему сблизились к середине 50-х, когда я уже работал корреспондентом «Литгазеты». В Киеве образовалась тогда небольшая группа интересных прозаиков, пишущих на русском языке. Живя в Киеве, они, тем не менее, печатались преимущественно в Москве: для нашего местного идеологического климата их правдивые произведения не подходили. Их было четверо: Н. Дубов — 1910 года рождения, В. Некрасов — 1911-го, Л. Волынский — 1912-го и самый

молодой М. Пархомов — 1914-го. Как видите, почти погодки, почти однолетки. Тогда еще сорокалетние — сейчас даже не верится. За исключением Дубова, который по состоянию здоровья не воевал, а работал, если не ошибаюсь, токарем на военном заводе, все — бывшие фронтовики. Первые трое — постоянные и весьма активные авторы «Нового мира». Позднее один известный литературный критик назовет эту четверку «киевской школой современной русской прозы». Они очень дружили, хотя были совершенно разными.

Николай Дубов, которого почти все почтительно называли Николаем Ивановичем, был человеком строгого нрава, достаточно суровым и требовательным (ко всем и к себе), немногословным, добрым. Он часто прогуливался с необыкновенно красивым и умным, угольно-черным громадным ньюфаундлендом по имени Бэр (я называл его уважительно Борис Николаевич). Одна за другой появлялись дубовские повести «Сирота», «Жесткая проба», «Небо с овчинку», «Мальчик у моря», «Беглец», наконец, роман «Горе одному». И была у этих произведений весьма оригинальная, я бы сказал, парадоксальная судьба: сначала их печатал «Новый мир» для своих взыскательных читателей, а вслед за тем они выходили отдельными книгами в издательстве «Детская литература». Книги для подростков? Да, но и для взрослых тоже. И Государственную премию СССР он получил тоже по разделу детской литературы. О творчестве Дубова много писал (и статьи, и отдельную книгу) Лев Разгон — тот самый, который в наше время широко известен своими рассказами о сталинских репрессиях, в те годы он только вернулся из лагеря в Москву.

Леонид Волынский, в компании просто Леля, красивый и всегда подтянутый, до войны и сразу после нее — график и театральный художник, потом писатель и публицист, автор популярных книг о художниках «Дом на солнцепеке» (о жизни Ван Гога), «Лицо времени» и других. Однако имя его вошло во многие энциклопедические издания и, без преувеличения, известно в мире вовсе по другой причине: именно он, будучи лейтенантом, во время штурма Дрездена по собственной инициативе (ведь художник!) и при поддержке солдат батальона занялся поисками и спасением неизвестно куда вывезенной фашистами знаменитой Дрезденской галереи — об этом впервые он рассказал у нас в «Литгазете», потом вышла его книга «Семь дней». Лично мне человек этот был близок еще и тем, что, как выяснилось, осенью 1941 года мы с ним почти одновременно очутились в окружении на Полтавщине, были ранены и попали в плен, и даже какое-то время шли в одной колонне пленных,

которых немцы гнали в Кременчуг и далее на запад. Об этом Л. Волынский написал, а «Новый мир» опубликовал эссе «Сквозь ночь» — и это был один из первых рассказов о трагедии советских военнопленных…

Михаил Пархомов, которого Некрасов любил называть на французский манер «Мишель», как и он сам, закончил до войны инженерно-строительный институт в Киеве, на войне попал в Днепровскую флотилию, затем был фронтовым корреспондентом, в первые мирные годы — редактор газеты «Днепровский водник», собкор «Водного транспорта», — нужно ли удивляться тельняшке на обложках его первых книг? Потом пошли серьезные повести «Судьба товарища», «Мы расстреляны в сорок втором», «Был у меня друг», «Нелетная погода». Благодаря суровой правде, они тоже пользовались успехом у читателей, отмечались критикой. Именно в его всегда открытом доме чаще всего собиралась четверка, к которой со временем примкнули и мы, молодые.

И, наконец, сама душа коллектива (как теперь сказали бы — неформального) — Виктор Платонович, которого я, однако, не собираюсь представлять как остальных: это, видимо, ни к чему, поскольку всё написанное тут так или иначе посвящено ему.

Так вот, четверка… Помню годы, когда регулярных встреч в Киеве им уже было недостаточно — вместе, порой попарно (Виктор с мамой, кто-то с женой) они ездили и на отдых. Ну, отдых — сказано слишком громко. Ездили, главным образом, работать, то есть писать: в Коктебель и Ялту, в Дубулты, в Подмосковье, иногда в Ирпень под Киевом.

Постепенно круг хоть и понемногу, чуть-чуть, но расширялся. Встречались, как говорили когда-то, домами, но это по вечерам, или в праздники, или когда приезжали гости, которых становилось с каждым годом больше. Но чаще всего собирались просто мужской компанией, на мужской разговор («на трёп», как тогда выражались), не без «своих сто грамм», разумеется. Встречи эти происходили преимущественно (тут я должен был бы написать что-то вроде «да простят нас былые главные редакторы „Литгазеты“»), да-да, происходили в нашем корреспондентском пункте на Большой Подвальной (бывшей улице Ярославов Вал, Полупанова, Ворошилова и теперь снова Ярославов Вал), № 10, во дворе. Заведовал корпунктом Владимир Леонтьевич Киселев, к тому времени уже известный писатель, я был просто собственным корреспондентом по Украине. Было у нас три смежных комнаты и никаких удобств: в первой сидел я, Киселев — в третьей, в средней хозяйничала секретарь Изабелла Русакова, которую потом сменила Валентина Кравченко, — обе великолепно печатали на машинке и отлично готовили кофе, которым иногда

завершались посиделки. Но чаще мы все-таки старались к пяти часам разделаться со всеми корреспондентскими делами (готовы были дописывать статьи ночами), отпускали секретаршу и готовились к приему гостей.

Сильнее всего остался в памяти праздник 20-летия Победы в 1965 году. Мы решили отметить его как-то особенно, насытив по возможности всякой фронтовой атрибутикой. Несколько дней пришлось мне потратить на то, чтобы добыть махорку и свиную тушенку, пусть не американскую, которая на фронте считалась главным лакомством, а хоть нашу родную. Киселев, использовав дружеские связи с крупными учеными-химиками, приволок два котелка со спиртом. Достали ржаной темный хлеб. Приготовили светильники из старых снарядных гильз. Нашли оловянные армейские ложки. Но гвоздем программы и самым неожиданным сюрпризом явился огромный, завернутый в несколько газет, чтобы не остыл по дороге, казан с пшенной кашей, заправленной старым салом, — это притащил из дому Некрасов. Кашу встретили криками «ура!». Вообще радости нашей не было предела. Фронтовой пир удался на славу. Людей было чуть больше, чем обычно. То был какой-то особый праздник. Господи, как нам было хорошо в той третьей, киселевской, темной комнате, какое братство царило за большим «директорским» столом, какие удивительные, невыдуманные (упаси, Боже!) истории там были рассказаны! Как веселился Некрасов!

Когда я думаю о нем, часто вспоминаю именно тот день. Интуитивно чувствую, что и он, когда особенно сильно тосковал в Париже по родным местам, тоже вспоминал тот наш прекрасный День Победы. Прости, Вика!

Киев, 1989.

Киселев Владимир
Загадка инопланетян

— Так у тебя в самом деле нет письменного стола? Где же ты создаешь свои бессмертные романы и повести?

— На коленке. На папке для бумаг.

— И никогда в жизни так и не было письменного стола? — еще больше удивился Виктор Некрасов.

— Ну почему же? Был стол. Хороший, дубовый. С маркетри. Скорее всего ясень пошел на рисунок по дубу. Но мы пошли в кино всем семейством, а Зоя Ефимовна оставила включенный утюг. И когда вернулись, увидели, что утюг вместе с никелированной подставкой лежит в ящике стола, в комнате

невозможный запах горелого дуба, а кот — у нас был тогда черный кот Минус, хотя фактически это была кошка, забился в угол и перепуганно наблюдает за первым в его жизни пожаром.

— И что ж вы сделали?

— Налили в прогоревший ящик немного воды, вынули всё из других ящиков, а когда стало потемней, мы с Лёней взяли стол с двух сторон, вынесли его во двор и поставили недалеко от черного хода.

— Вот дураки. Кто же его забрал? Отремонтировать этот ваш маркетри можно было за полчаса. Выпил же кто-то за твое здоровье! Значит, этот эпизод в «Девочке и птицелете» ты взял прямо из жизни? Горячим?

— Взял, выходит.

— Ну вот видишь. А ещё говорят, что писатели всё из головы выдумывают. Не всё они, черти, из головы выдумывают. Что-то и из жизни берут.

На следующий день Виктор Платонович Некрасов пришел ко мне вечером в непривычное время, около семи часов. По дороге он немного задержался на кухне, где слегка «попарлекал» по-французски с Еленой Семеновной — женино теткой, а потом вошел ко мне и объявил:

— Решил я тебе подарок сделать. Новый стол. Что за писатель без стола?

— Да ты же сам пишешь на коленке.

— Ты со мной не равняйся. У меня стол ого-го. Восемнадцатый век. Франция. Вандея. Еще отцовский. Короче, стол у тебя будет.

— Не надо, Вика, — искренне взмолился я. — Ну, пожалуйста, не надо. Очень прошу. Тесно у меня. Он мне мешать будет.

— Ничего, — сказал Вика. — Хороший стол не может помешать дельному писателю. Вот, держи.

Он развернул пакет, который до тех пор держал под мышкой. Там лежала белая доска из пенопласта величиной с папку и толщиной в сантиметр.

— Я проверил. Ничего не весит, на коленях лежит удобно, на диванной подушке помещается. В общем — идеал писателя. Считай, что я тебе обставил кабинет.

— Спасибо, — сказал я, успокаиваясь.

— Но к такому роскошному столу нужна и картина роскошная. Не все твои «штучки-дрючки». Нужен шедевр, неповторимый по технике и вечный по теме.

Вика развернул то, что оставалось в пакете. Это была небольшая картина. Очень хорошая. В самом деле — шедевр. На

картоне акварелью и гуашью, подсвеченными карандашом, были изображены какие-то загадочные существа. Трое. Вроде бы люди, а вроде и не люди. Губы какие-то жабьи, а глаза выразительные и умные. Тела очень красивые. Все они — в странном танце. У голой женщины в руке три полевые лилии.

— Как ты думаешь, что это? — спросил Вика. — Чья работа? Только давай сразу договоримся — без твоих шуточек. Это — оригинал.

Я, что называется, опупел.

— Неужто Матисс?

— Бери выше.

— Выше не бывает… А в самом деле, кто это? Судя по отработке фигур, это мог бы быть даже Гоген. Но и желтый цвет, и черный колеблющийся мрак вокруг изображения мог бы оказаться и кисти Сезанна… Хватит меня морочить. Скажи, кто это в самом деле? Где это выставлялось? Где приобретено?

— Ладно, скажу. Не поверишь, но это — я. На архитектурном все — несостоявшиеся художники.

— Где же ты нашел это теперь?

— Мама сохранила.

— Ну, Вика, — сказал я в совершенном восторге. — Подарки же у тебя! Понимаешь ты — пройдет десяток-другой лет, и работа эта, проданная Лёней, а может, уже и Сережей, в нью-йоркскую галерею нового искусства… А скорее всего, даже не Гугенхейму, а прямо в Лувр, будет привлекать знатоков со всех концов мира.

— Сколько же они за нее возьмут? — оценивающе посмотрел Виктор Платонович на свою работу.

— Ну, думаю, меньше чем за 25 тысяч долларов не уступят.

— Двадцать пять? — обиделся Вика. — Да они, сукины сыны, полмиллиона слупят и не поперхнутся.

— Для нас с тобой неважно, — сказал я, — как это называется. А для продавцов и покупателей это имеет значение. Как же это называется?

— А что, само изображение не подсказывает названия?

— Нет.

— Тогда назовем «Инопланетяне».

— Хорошо, — согласился я. — Но что они там делают? Что это за танец?

— Спросил бы что-нибудь полегче. Ты что думаешь, я помню? Танцуют, по-моему.

— Но была же у тебя какая-то идея, когда ты это писал? Замысел какой-то?

— Не помню. Чего не помню — того не помню.

Небольшая эта картина висит справа при входе в мою

комнату. Там на стенах, несмотря на критические замечания Виктора Платоновича Некрасова, висят не только «штучки-дрючки». Там есть прекрасное «Ню» Н. Глущенко, и хватающая за сердце церковь святого Николая в Новгороде-Северском работы Аси Файнерман, и такая пастель Бориса Рапопорта — «Девочка во ржи», что при взгляде на эту работу у тебя появляется мысль, которую лучше скрыть от самого себя: может, техника пастели была создана специально для того, чтобы Борис Рапопорт мог написать эту свою небольшую картину. Есть там и неожиданно смелая акварель покойного Гриши Гавриленко «В очереди за яблоком». Три городские потаскушки стоят в очереди перед деревом. С ветки свешивается змий и отпускает им яблоки. А дальше, между деревьев, расплывчатые фигуры тех женщин и мужчин, кто «отоварился».

В общем, немало здесь «штучек-дрючек», заслуживающих внимания. И всё же каждый, кто у меня побывал, серьезные знатоки и случайные аматоры, непременно останавливаются перед «Инопланетянами» и расспрашивают: чья работа, что изображено.

Чья работа — нам уже известно. А вот что изображено?.. Я долго думал над этим. Может, целый год. Нет, нельзя сказать, что я целый год не выпускал этого из головы. Выпускал. И снова возвращался. И в конце концов пришел к выводу, который совсем уже было собрался отправить Вике в Париж. Да не поспел. Помер он.

А вывод мой был таков: это изображение праздника в бойлерной ЖЭКа 105. В этом доме жил Вика. Празднуют Новый 2000 год. И никакие это не инопланетяне, а наши родные советские граждане.

Эх, думал я, зачем нам искать каких-то инопланетян. Виктор Некрасов и сам был инопланетянином. Он был впереди нас, лучше нас, добрее и умнее. И обладал той особой способностью, по которой сразу, с ходу узнаешь любого инопланетянина. Он обладал способностью замечать наши нелепости, наши глупости, мерзости и не соглашаться с тем, что в действительности так и нужно. Он обладал способностью видеть правду, как бы ни закрывали ему глаза и что бы ему ни врали. Ну да вы сами знаете, как это заведено у инопланетян. Может, и морды у инопланетян на картине несколько странные для непривычного взгляда. Губы какие-то вытянутые у них. От поцелуев. От любви.

Как бы то ни было, а горько мне думать, что вот погубили мы еще одного инопланетянина, который для нашей цивилизации нужнее тысячи ракет и десяти миллионов передовых статей. Опять будем ходить в бойлерную и потихоньку выспрашивать:

«Ребята, не найдется ли у вас где-нибудь инопланетянина? Хоть завалященького? Хоть на время?» А там, из преисподней, из клубящегося ледяного мрака перебоев в снабжении горячей водой, посмотрят сердито и скажут: «Где мы его вам возьмем? Своих, дураки, берегите».

Виктор Некрасов!

Живой, ловкий, стремительный. С той стеснительной улыбкой, которая не давала ему носить шляпу. Нельзя при такой улыбке ходить в шляпе.

Киев, 1989.

Кондратьев Вячеслав
Возвращение

«Здравствуй, лейтенант Володька! Только что с тобой расстался и уже соскучился… И вообще очень мне не хватает тебя здесь. Появись ты сейчас, пошли бы — нет, не пошли бы в мое излюбленное кафе, где я встречаюсь обычно с москвичами, ленинградцами и киевлянами, а купили бы поллитровку (очевидно, „Выборовой“) и пошли бы раздавливать ее ко мне, благо жена на две недели уехала и не будет этого обязательного: „Ах, что же ты не предупредил? Чем же закусывать будете? Кроме колбасы, у меня ничего нет…“ — и побежит гладить скатерть.

Нет, мы с тобой просто на клеенке и закусь — какие-то там сардинки, колбасу и сыр прихватим вместе с поллитрой. И выпьем по первой — ты знаешь за что! — за ребят там… и сразу же по второй, и только потом закурим (о, это спасительное, оттягивающее поминутное свертывание цигарки…). Закурим, если ты не привык к „Голуас“ (я полюбил с первого же дня), могу предложить беломорину, семилетней, правда, давности — уезжая, я велел прислать мой „Беломор“, и вот с тех пор и сохнет на полке.

Что же для начала разговора могу сказать тебе? Прошлялся я с тобой все эти сорок дней по Москве и смеялся твоим, увы, не частым смехом, и плакал твоими слезами… Многое ты во мне расшевелил. И солдатское тебе спасибо за это. И за то, что в собственную часть вернулся. Я в конце 43-го тоже в свою дивизию вернулся (правда, не в полк, а в саперный батальон, но тот самый, сталинградский, где много друзей было). А отпуск по

ранению у меня был короче твоего — всего 10 дней. И из своего бакинского госпиталя я попал не в столичную „благоденствующую“ Москву, а в Киев с проторенными в сугробах тропинками на разрушенном Крещатике, но мать застал живой и все 10 дней мучительно боролся с собой, чтобы не матюкнуться при ней… Ну, давай еще по одной…

И „Сашку“, и „Знаменательную дату“, само собой разумеется, прочел залпом. И сидя потом в кафе на бульваре Сен-Жермен и разглядывая проходящих красавиц и парней с сережками в ушах, всё злился на вас — тебя, и Сашку, и Димку, — что шляетесь там по всяким пивным барам и не приходит вам в голову, что собутыльник-то ваш ждет вас, а вас всё нет и нет… И вообще-то фронтовиков здесь совсем нет, один только на всё наше кодло (кроме профессоров в университете), да и тот из политработников…

Ну, ладно. Точка. Ещё раз спасибо! Без дураков. И впредь держать так. Жму руку. В.».

Вот такое письмо я получил от Виктора Платоновича в марте 82-го года. Боюсь, что, начав с этого письма, мне трудно будет сказать что-то более значимое об авторе «Окопов», потому что в нем, по-моему, Виктор Некрасов сказал очень много и о себе, и о своей нерадостной жизни в Париже. Но все же попробую…

Получив это письмо, не знал я и не ведал, что через год мне посчастливится встретиться с ним в Париже и он будет водить меня по милым парижским улочкам, встречать меня вечерами в условленном месте, довольно отдаленном от нашей гостиницы, чтобы, не дай Бог, не увидел кто-нибудь из наших письменников нас вместе и «не заложил», сведет меня в магазин русской книги, где купит мне за свои деньги Булгакова и Высоцкого, свезет меня на русское кладбище Сен-Женевьев-де-Буа, где постоим мы в молчании у могил И. Бунина и А. Галича, что будем сидеть в кафе, правда, не в его любимом, на бульваре Сен-Жермен, а в другом, и будем пить, только не «Выборову», а обыкновенный кофе, и что подарит он мне перед отъездом кучу всяких хозяйственных мелочей, таких, каких нет в Москве и какие я сроду не догадался бы приобрести. Да, не знал…

Но письмо принесло огромную радость: любимый мною писатель прочел некоторые мои произведения, и они ему понравились. А я ведь мечтал, когда писал «Сашку», показать эту повесть Виктору Платоновичу, однако к тому времени, как я ее закончил, Виктора Некрасова выгнали из России. Да, именно,

выгнали! Изгнали из отечества большого писателя, подлинного русского интеллигента, теперь можно сказать, что и русского дворянина, всеми корнями связанного с русской землей. Изгнали солдата, честно и храбро провоевавшего в самые тяжелые годы и в самом трудном месте — в Сталинграде и написавшего самую лучшую, по-настоящему патриотическую книгу о войне.

У Виктора Некрасова есть небольшое эссе — «Кому это нужно?», где он с горечью и обидой вопрошает: за что же его вынудили уехать из родного города и кому это было нужно? «Стране, государству, народу?» Да никому из названного писателем! Нужно это было абсурдной системе, при которой каждый самостоятельно мыслящий человек, кем бы он ни был, хоть гением, — безжалостно выталкивался из общества, из страны, потому что эта могучая машина подавления боялась любой неординарной личности, прекрасно сознавая, что эта личность понимает всю кухню этой системы и ясно видит, что представляет из себя каждый из составляющих ее. А потому — неизвестных сажала в лагеря, а известных изгоняла из страны…

Вот и не смог я показать «Сашку» Виктору Платоновичу, не смог поначалу и послать ему журнал, где был опубликован «Сашка». Не знал адреса, да и не уверен был, что повесть дойдет… В. Некрасову «Сашка» попался на глаза случайно, через людей дошло до меня, что хочет он познакомиться и с другими моими вещами, вот тут-то я и послал ему «Отпуск по ранению» и «Встречи на Сретенке»…

Кое-какие высказывания В. Некрасова о «Сашке» я слыхал по радио, кое о чем рассказывали люди, но письмо, которое я привел, было для меня первым словом писателя, обращенным уже ко мне. Не надо только удивляться, что назвал он меня не настоящим именем, а именем героя повести, что не подписал письмо полностью, а ограничился одним «В». Всё это доморощенная конспирация, Виктор Платонович всегда очень тревожился, что общение с ним может принести кому-либо какие-то неприятности. Сейчас это кажется уже странным, но тогда казалось нормальным и неизбежным. Чудно мы жили… И страшновато. И неужто прошло всего-то шесть лет с того времени?..

А заочное знакомство с В. Некрасовым произошло в 46-м году, когда попались мне номера «Знамени», где был опубликован роман «Сталинград», в дальнейшем переименованный автором по совету литначальников в «В окопах Сталинграда», потому что, дескать, нельзя локальный роман назвать таким «всеобъемлющим» названием, как «Сталинград». Прочел я этот роман взахлеб, потому что долго ждал, когда кто-нибудь напишет

наконец-то настоящую правду о войне, о войне, которая жила во всех нас, мучала, снилась ночами… Не у всех зажили еще к тому времени не только раны душевные, но и физические, еще многие из нас ходили в поликлиники на перевязки, многие лежали в госпиталях, еще у многих не извлекли пули и осколки из посеченных ранами тел, еще гремели в московских пивных тосты за Победу и Верховного, еще рассказывали друг другу бывшие вояки фронтовые байки, всякие там удивительные случаи, которыми изобиловала война, а рефреном всех этих разговоров было одно: не напишут никогда о войне **правду**, потому что правда эта так горька и страшна и вообще ни к чему: кто не был, тот побудет, кто был, тот не забудет…

И вот появилась все-таки такая книга!

Помню, «На западном фронте без перемен» Э.-М. Ремарка я перечел в 42-м году, вернувшись в Москву после боев подо Ржевом, и читал всю ночь, бормоча про себя, что и у нас так было, ну точно так… И тогда подумал, что о войне писать нужно только **так**. Но кто так напишет?

Но случилось чудо, всего через год после окончания войны никому не известный автор написал и… опубликовал книгу, — что тоже являлось чудом, — написанную с той же беспощадной правдой. И эта книга лежала у меня на столе! Я радовался и за неизвестного автора, и за всех нас, фронтовиков, что такая книга родилась и наша невпроворотная окопная жизнь нашла свое отражение, что всё же останется в истории и в литературе правда о войне…

Впервые Виктора Платоновича я увидел на похоронах А. Твардовского. За кордоном милиции, окружившей Новодевичье кладбище, стоял В. Некрасов и уговаривал милиционеров пропустить какого-то писателя, забывшего свой писательский билет, но не уговорил — писателя так и не пустили на похороны великого поэта. Я находился рядом и, конечно, тоже не смог пробиться через кордон, тем более, у меня-то тогда никакого писательского билета не было, но я глядел на Некрасова, надеясь, что, быть может, когда-нибудь мне удастся познакомиться с ним, поговорить и передать ему то, что чувствовал и переживал, читая и перечитывая его «Окопы…».

…И вот май 83-го года… Счастливым случаем я нахожусь в Париже, в одной из пригородных гостиниц, где нас поселили по пути в город с аэродрома. Я уже запасся в Москве телефоном Виктора Платоновича и сразу же, как вошел в номер, набрал его телефон… Трубку взяла его жена Галина Викторовна, я попросил позвать Виктора Платоновича, услышал его знакомый мне уже по передачам радио голос. «Добрый вечер, Виктор Платонович, это

говорит Кондратьев», — сказал я, волнуясь. «Кондратьев?.. — после небольшой заминки спросил он удивленно. — Вы откуда звоните?» — «Из Парижа», — ответил я и… тут… Тут уже — солдатское, радостное и… увы, непечатное…

Мы договорились о встрече, и вечером следующего дня он ждал меня у дальнего от нашей гостиницы «Гарнье» входа в метро. Он был в ковбойке, кожаной куртке и джинсах — подвижный, изящный… Мы обнялись, и после этого Виктор Платонович сразу же увел меня подальше от гостиницы. «Еще увидит кто из ваших нас вместе, и не видать вам тогда ни Рима, ни Парижа», — сказал он с улыбкой, но чувствовалась в его словах горечь — изгой, изгнанник, общение с которым может чем-то грозить… Гнусно, позорно, что два русских писателя должны встречаться как бы тайком, как бы незаконно, и от этого нам какое-то время было очень неловко, даже не сразу наладился разговор.

Первым делом я поблагодарил его за письмо, сказав, **чем** оно для меня явилось, Виктор Платонович небрежно отмахнулся от моих благодарностей и начал говорить о том, что самый для него тяжелый день в его парижской жизни — это день 9-го мая, День Победы, как бродит он в этот день по Парижу в бессмысленной надежде найти хоть одного бывшего фронтовика, с которым можно было бы чокнуться в честь праздника и поговорить, вспомнить войну. «Хоть какого-нибудь захудалого обозника», — усмехнулся он. Но никто ему, разумеется, до сих пор не повстречался, и в этот день приходилось ему забираться в какое-нибудь кафе и встречать этот праздник в одиночестве.

Я сказал, что и в Москве этот день не очень-то радостен для настоящих фронтовиков, потому что и там не удается встретиться с теми, с кем бы хотелось, что я доселе не могу разыскать своих ржевских однополчан, а потому тоже встречаю этот праздник либо один, либо не с теми, которые мне нужны. Я сказал об этом просто так, не с целью его утешить, сказал правду, но Виктор Платонович быстро спросил, неужто так и не довелось никого разыскать из тех, с кем воевал подо Ржевом? «Наверно, никого не осталось», — ответил я… И тут же Виктор Платонович стал рассказывать мне о Валеге, с которым ему все же удалось встретиться после долгих лет…

Да, война еще очень крепко сидела в душе Некрасова. Не ушла она и от меня, а потому наш разговор еще долго шел о ней, такой тяжелой, кровавой, но незабываемой… Затем он спросил, член ли я партии, я ответил, что нет. Он усмехнулся и покачал головой: «Как это вам удалось на фронте от этого отвертеться? А я вот вступил… И вполне искренно. Ведь война как-то „списала“

и коллективизацию, и тридцать седьмой… Во всяком случае, я тогда так думал», — добавил он.

После войны минувшей Виктор Платонович заговорил о войне нынешней, афганской, заговорил горячо, возмущенно и нашел, конечно, во мне единомышленника… В 83-м чуть-чуть уже намечались ростки будущих перемен, хотя бы в том, что нам, туристам, разрешалось в свободные от «мероприятий» часы самостоятельно бродить по Парижу, и я выразил надежду, что, как мне кажется, какие-то перемены в нашем обществе должны быть. «Дай-то, Бог…— вздохнул Виктор Платонович, а потом продолжил: — Знаете, я не по березкам скучаю, березки и тут есть. Скучаю по общению, по друзьям. Правда, я и тут встречаюсь часто и с москвичами, и с киевлянами, и с ленинградцами, спасибо им за это, что звонят по приезде, но все же хочется на родину, хоть туристом, хоть на недельку. Но я не получил еще французского гражданства, а потому не могу и туристом…»

После этого Виктор Платонович рассказал мне содержание своей новой повести «Если бы да кабы в саду выросли грибы…», а в последнюю встречу вспомнил о ней и стал сожалеть, почему не дал мне ее прочесть, она же коротенькая, всего сто страничек. Я уже не помню, но, наверно, я не догадался в то время, когда он мне о ней рассказывал, попросить эту повесть почитать. Вообще в наших коротких встречах мы что-то упускали важное, потому что происходили они урывками, в вечерние часы… Только в один день мы, туристы, были освобождены после обеда, вот тогда-то и смог Виктор Платонович свозить меня на русское кладбище, где нас сфотографировал Виктор Кондырев (пасынок Некрасова) на фоне кладбищенской церквушки. Эту и другие фотографии я получил оказией и думал ли, гадал, что эту фотографию смогу опубликовать через пять лет в «Московских новостях»! Тогда я думал: как хорошо, что у меня в архиве находится эта фотография и что, может быть, когда-нибудь, когда уже нас не будет, извлекут ее на свет Божий. Оказалось по-другому, но только Виктор Платонович до публикации этой фотографии не дожил всего один год!

В день его смерти радиожурналистка Фатима Салказанова, его большой друг, принесла ему «Московские новости», где мне впервые удалось сказать несколько слов о Викторе Некрасове. Была в этом интервью и цитата из стихотворения А. Галича: «Сколько раз мы молчали по-разному, но не против, конечно, а за…», но имя поэта меня попросили убрать, и когда Некрасов стал говорить обо мне что-то хорошее, Фатима резко возразила, вполне резонно: «Ну что же он в таком случае Галича цитирует, а имя его назвать не посмел?» На это Некрасов сказал так: «Я

уверен, что имя Галича вычеркнули в редакции газеты. Наверно, решили, что два таких имени, как Некрасов и Галич, для одной советской статьи многовато».

О, как знал Виктор Платонович наши нравы! Точно это же самое сказал Фалин главному редактору по телефону, это случилось при мне, — в одной статье два имени эмигрантов многовато… Когда же Ф. Салказанова прочла ему то место из интервью, где я высказывался за то, что обязательно надо переиздать у нас повесть В. Некрасова «В окопах Сталинграда», Виктор Платонович заметил: «До чего же быстро там всё меняется, до сих пор они переиздавали и говорили, что нужно переиздать, только книги тех эмигрантов, кто давно умер, а теперь им разрешают говорить это о книгах живых людей». Увы, не попади мое интервью именно в тот номер, а хотя бы в следующий, Виктор Платонович не увидел бы эту газету и ничего бы не смог сказать, потому что вечером этого дня он… умер…

Но то, что она дошла до него, живого, явилось для меня хоть каким-то небольшим утешением, что в последний день его жизни он получил весточку с родины, из которой увидел, что его помнят и любят… Все эти подробности я взял из рассказа Фатимы Салказановой «Последние дни Виктора Некрасова», опубликованного в «Русской мысли» вскоре после кончины Виктора Платоновича.

Полагаю нужным заметить, что некролог, напечатанный в «Московских новостях» 13 сентября 1987 года и подписанный Г. Баклановым, Б. Окуджавой, В. Лакшиным и мною, вызвал резкие критические отзывы в эмигрантской печати. Упрекала меня и Ф. Салказанова, что я подписал его. Возражения, критику и неприятие этого некролога вызвали следующие строки из него: «…Не всегда ждала Виктора Некрасова удача. Написанное в эмиграции даже по чисто художественному счету не идет ни в какое сравнение с тем, что создано на родине. Всесторонняя оценка им написанного — дело будущего». Я тоже не нахожу их справедливыми, здесь сработал стереотип, относящийся ко всем писателям-эмигрантам, — то же самое писали и о Куприне, и о Бунине, и так же несправедливо. Но в тот момент нам, подписавшим некролог, было крайне важно лишь одно — чтобы некролог был опубликован в советской газете и читатели России узнали о смерти большого русского писателя не только от «голосов». Тем более мы уже знали, что «Литгазетой» отвергнут некролог, написанный Василием Быковым, а потому и пришлось пойти на компромисс. Скажу, что и в «МН» публикация прошла с трудом. Сейчас, когда публикуется в «Новом мире» «Архипелаг…» А. Солженицына, вспоминать об этом даже странно, ведь

происходило это всего два года тому назад…

Прожить бы Виктору Платоновичу еще год, и мы, несомненно, встречали бы его в ЦДЛ, как встречали Коржавина, Копелева и Войновича, но, увы… И бесконечно горько думать, что мечте Виктора Некрасова — побывать на родине — не суждено было осуществиться. Горько не только для меня, но и для всех почитателей таланта автора «Окопов» и вообще для всех советских читателей, которые никогда не забывали его и продолжали любить, несмотря на то, что он был вне России.

В эмиграции Виктором Платоновичем была написана небольшая вещь под названием «Праздник, который всегда и со мной». Я читал ее в одном из кафе на «Пляс Кеннеди», совсем рядом с домом, где жил писатель, и которое он называл своим «утренним кафе», а потому читал не только с каким-то особым чувством причастности к месту, где сиживал автор «Окопов», но и в какой-то мере и с теми чувствами, которыми проникнута эта вещь, — печали и одиночества, потому что слово «праздник» в его названии не соответствовал общему настроению произведения.

Я сидел, пил пиво, закусывая круассаном, и листал страницы… В кафе было всё так, как описывал Виктор Некрасов: и ловко орудующий за стойкой хозяин кафе, бывший борец, и несколько маленьких столиков, и бесконечные «мерси, месье», которыми обменивались между собой хозяин и посетители, и мигающие огнями «дьявольские машины», как назвал Виктор Платонович игровые автоматы… Я читал этот «Праздник, который всегда и со мной», и это было словно бы продолжением нашего разговора 83-го года, в котором он рассказывал мне о Париже, о его достопримечательностях, о его быте, о его людях, но в каждом слове этого воображаемого разговора я ощущал его неизбывную тоску по России. Вот несколько строк из этой вещи: «…Продолжаю пить кофе с круассаном. Чувствую на себе косые взгляды соотечественников. Расселся, мол, в своем парижском кафе, кофеек попивает, да еще с круассаном, а тут не то что круассана не достанешь, а… Вот недавно приехал человек из Рыбинска, рассказывает, что… Тут я начинаю краснеть, живу в Париже в силу сложившихся обстоятельств, и если уж проводить параллель, то житель Рыбинска может в любой момент поехать в Москву, хоть за продуктами, хоть за чем-нибудь другим, а я — нет!..»

Чувствуете, сколько непроходимой боли и горечи в этом «Вот так-то…». Невозможность возвращения — вот неизбывная боль всей нашей эмиграции — и первой, и второй, и третьей волн, — какое не испытывают эмигранты из других стран, для которых всегда возможно возвращение домой, навсегда ли, на время ли…

А для наших — никогда! Даже на день, даже на час… И, описывая праздничный Париж с его сотнями кафе и ресторанов, магазинов, музеев, короче, весь этот «праздник», В. Некрасов никак не может забыть, что живет он здесь не по своей воле, что он **изгнанник**, что ему заказана дорога назад, в Россию, в любимые им Киев, Москву, Ленинград… А потому не увидел я «праздника» в душе Виктора Платоновича, хоть и назвал он эту вещь «Праздник, который всегда и со мной…».

…В Париж в этом году я попал 9 мая, в День Победы, который был так мучителен для В. Некрасова, и попросил встречавшего меня на вокзале Виктора Кондырева отвезти меня сразу же на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа, чтобы в этот святой для нас обоих день побыть вместе. Я долго стоял у могилы Виктора Платоновича, вспоминая нашу встречу в 83-м, когда мы не успели сказать друг другу всего того, что было нужно, так как встречи происходили урывками, были короткими…

И вдова писателя, и Виктор Кондырев рассказывали мне, как жадно читал В. Некрасов советские газеты и журналы, как радовался тому, что «тронулся лед» в стране, что начались так ожидаемые всеми нами перемены в жизни нашего общества, и как разгоралась в его душе всё больше и больше надежда на то, что вот-вот вернутся его книги в Россию, а может, вскоре и он сам сможет пройтись по любимому и родному Крещатику и побывать на могиле своей матери… Увы, не хватило всего двух лет жизни. И как это горько для всех нас. Опоздали мы, опоздала страна, но… не опоздала смерть. И как нестерпимо больно, что мы так и не смогли сказать: «Здравствуйте, Виктор Платонович, с возвращением вас на родину, домой».

Москва, 1989.

Коржавин Наум
А тройка мчится…

Взлёт мысли. Гнёт судьбы. Попойка.
И стыд. И жизнь плечом к плечу.
— Куда летишь ты, птица-тройка?
— К едрёной матери лечу…
И смех — то ль гордый, то ли горький —
Летит, хоть мы не в ней сейчас.
А над Владимирскою горкой
Закаты те же, что при нас.
И тот же цвет. И люди даже,
И тень всё та же — как в лесу.

И чьё-то детство видит так же
Трамвай игрушечный внизу.
А тройка скачет, скоро ухнет —
То ль в топь, то ль в чьи-то города.
А на московских светлых кухнях
Остры беседы, как всегда.
Взлёт мысли, боль тщеты… Могу ли
Забыть?.. А тройка влезла в грязь.
И гибнут мальчики в Кабуле,
На ней к той цели донесясь.
К той матери… А в спорах — вечность.
А тройка прёт, хоть нет пути,
И лишь дурная бесконечность
Пред ней зияет впереди.
А мы с неё свалились, Вика,
В безвинность, смыслу вопреки.
…Что ж, мы и впрямь той тройки дикой
Теперь давно не седоки.
И можно жить. И верить стойко,
Что всё! — мы люди стран иных…
Но эти мальчики!.. Но тройка!..
Но боль и стыд… Что мы без них?
А мы сидим и зависть прячем
К усталым сверстникам своим.
Летят! Пускай к чертям собачьим!
А мы и к чёрту не летим.
И, давней нежностью пылая
К столь долгой юности твоей,
Я одного тебе желаю
В твой заграничный юбилей,
Лишь одного, коль ты позволишь:
Не громкой славы новый круг,
Не денег даже… А того лишь,
Чтоб оказалось как-то вдруг,
Что с тройкой всё не так уж скверно,
Что в жизни всё наоборот,
Что я с отчаянья неверно
Отобразил её полёт.

Бостон, 1986

Корнилов Владимир
Памяти В. Некрасова

I

Вика, как тебе в Париже?
Вечный «с тросточкой пижон»,
Всё равно родней и ближе
Ты мне всех за рубежом.

Вика, Виктор мой Платоныч,
Изведясь, изматерясь,
Я ловлю тебя за полночь.
Да и то не всякий раз.

Голос твой, в заглушку встроясь,
Лезет из тартарары…
Вика, Вика, честь и совесть
Послелагерной поры.

Не сажали, но грозили,
Но хватали за бока…
Эх, история России,
Сумасбродная река.

И тебя, сама не рада,
Протащила ни за грош
От окопов Сталинграда
Аж куда не разберешь…

1983.

II

Ты любил свой город Киев
До тверезых слёз,
А потом его покинул,
Не хотел — пришлось.

Не одно промчалось лето
В спешке, в маяте,
И всё время был ты где-то,
А теперь — нигде…

Стройный, ладный и поджарый,
Еле седоват,
Не болезненный, не старый
И за шестьдесят.

Забулдыга и усатик,
На закате дня
Ты не выйдешь на Крещатик
Повстречать меня.

Москва, 1987

Лазарев Лазарь
Из огня…

До начала лекции оставалось минут тридцать, но все-таки я — жаль было терять зря время — пошел в факультетскую читалку. Как правило, мы, вернувшись с войны (те немногие ребята, что учились тогда — было это в конце сорок шестого года — на филфаке, сплошь состоявшем из девушек, почти все были фронтовиками), стали прилежными, усердными студентами, упорно грызли гранит науки…

У входа в читалку я столкнулся с Колей Непомнящим.

— Слушай, — остановил он меня, — ты в «Знамени» читал «Сталинград»?

Тон его вопроса свидетельствовал, что эта вещь чем-то его сильно поразила и ему не терпится с кем-нибудь поделиться своими впечатлениями. Прочитав до этого первенцевскую «Огненную землю», панферовскую «Борьбу за мир» (она тогда называлась «Война за мир» — вон куда махнул автор!) и многие другие такого рода сочинения, посмотрев «В шесть часов вечера после войны» и «Великий перелом», я довольно скептически относился к появлявшимся в ту пору книгам и фильмам, ничего хорошего не ждал и поэтому подумал, что опубликована очередная развесистая клюква, которая возмутила обычно невозмутимого Колю.

— Нет, не читал, — ответил я. — А что, описывает, как ловко

мы заманили немцев в Сталинград, чтобы там устроить им «котел»?

— Да нет, — остановил меня Коля, — это замечательная книга. Такой о войне еще не было. Ты не представляешь, какая книга. Написал один сапер, воевавший в Сталинграде. Какой-то Некрасов. Наверное, надо было ему псевдоним себе придумать — очень уж литературная фамилия. Прочитай обязательно! Такой книги о войне у нас не было, — повторил он.

Восторженное мнение Коли Непомнящего заслуживало доверия. Войну он знал, у него была трудная военная судьба. Студент-ифлиец, он дважды уходил добровольцем на фронт. Во время финской кампании — в лыжный батальон, там всё обошлось — не ранили, не обморозился. А в Отечественную ему не повезло — попал в плен, выжил чудом. А после плена — разумеется, клеймо. И хотя восстановили его на факультете вроде бы без особых мытарств, этот пункт в анкете — был в плену — долгое время не давал ему ходу в жизни. Короче говоря, если книга о войне произвела на Колю такое впечатление, значит, она и в самом деле нечто из ряда вон выходящее и ее надо прочитать…

В читалке я взял только что сданные Непомнящим номера «Знамени» — сдвоенный, тогда это часто практиковалось, восьмой — девятый и десятый — и стал читать «Сталинград». Прочитав первые страницы, я уже не мог оторваться — пропустил лекцию, а потом семинар и еще одну лекцию, хотя это было и не в моих правилах. Пока не дочитал, не ушел из читалки. Я был просто оглушен прочитанным — действительно, такой правдивой, такой талантливой, с таким знанием жизни солдат и офицеров переднего края написанной книги у нас еще не было. «Не хуже Ремарка и Хемингуэя», — подумал я.

Вот только название — «Сталинград» — не очень подходило этой повести. Потом, в отдельном издании, она называлась по-иному — «В окопах Сталинграда». Кто-то мне рассказал, что так она первоначально и называлась, ее перекрестили в журнале, видно, в слове «окопы» редакторы учуяли то, что позднее бдительные ревнители идейной «стерильности» преследовали как «дегероизацию», «ремаркизм», «окопную правду». Не хочу упрекать редакцию, нужна была немалая смелость, чтобы тогда напечатать такую вещь. Но, как это иногда бывало, подобного рода хитроумные защитные маневры привели к результату, противоположному тому, который был запланирован, — редакция не защитилась, а «подставилась». Тут же в название повести вцепилась критика определенного толка: дескать, книга, названная столь обязывающе, претендующая на широкую

картину, никак не передает подлинного масштаба и исторического значения Сталинградской битвы. Конечно, дело было не в названии повести, писал потом один из критиков, не хватает «генерального обобщения», «понадобятся другие книги, чтобы всё то, что мы называем Сталинградом, было запечатлено в искусстве».

Повесть Некрасова поражала прежде всего достоверностью, несочиненностью — я уже чувствовал тогда, что отсутствие литературщины есть высшее достижение писательского искусства. А главное — в ту пору для таких читателей, как я, это было безусловно самым главным — книга Некрасова представляла собой рассказ не наблюдателя, — пусть даже и очень глазастого, — в часы затишья ненадолго попавшего по газетной или какой-то другой надобности на передний край, а человека, познавшего жизнь «окопников» изнутри и изобразившего ее без прикрас и смягчений.

До этого жестокий, дорогой ценой оплаченный опыт солдат и офицеров с «передка» не находил настоящего отражения ни в книгах, ни в кинофильмах. В подавляющем большинстве произведений они были в лучшем случае безликой «массовкой», им полагалось дружно бежать в атаку, кричать: «За Родину, за Сталина! Ура!» — а изображения крупным планом удостаивались «орлы», «чудо-богатыри», которым всё было нипочем, и в огне они не горели, и в воде не тонули, неуязвимые для пуль и снарядов, они били захватчиков, как мух. Тот образ войны, который тогда всеми средствами искусства и пропаганды изо дня в день вбивался в головы людей, ничего общего не имел с тем, что видели и пережили мы на фронте, потому что такой войны, как в этих книгах и фильмах, просто не было. Повесть «В окопах Сталинграда» словно бы возвращала нам наше недавнее незаживающее фронтовое прошлое, перечеркнутое официально признанной и сверхобильно тиражируемой литературой.

Вот почему лучи славы великого однофамильца не затмили имени Виктора Некрасова — для большей части читающей публики при минимальном содействии критики он очень быстро стал самым близким, самым любимым военным писателем. Помню, — это повторялось не один раз, — как реагировали бывшие фронтовики, узнав, что в компании, засевшей в каком-нибудь ресторане или пивном баре Киева или Москвы, находится автор «В окопах Сталинграда». Эта встреча казалась им чудом (я и сам, знакомясь с Некрасовым, испытал это), они не могли поверить, что вот перед ними человек, который написал столь дорогую их сердцу книгу; к тому же сразу становилось ясно, что он «свой парень», такой же, как его герои…

Когда «В окопах Сталинграда» получила Сталинскую премию, читателями, не ведавшими о том, что происходит на идеологической кухне литературы, это было воспринято как нечто абсолютно закономерное — кому же как не Некрасову! Потом я узнал, что это был один из капризов Сталина, который я и сегодня не берусь объяснить, а партийное и литературное руководство писательским «цехом», как тогда частенько именовали Союз писателей, не только не собиралось поощрять это сомнительное сочинение, а готовило его разгром — уже состоялись осуждающие порочную повесть заседания правления и комиссии по военной литературе Союза писателей.

«В окопах Сталинграда» была книгой, определившей целое направление нашей военной литературы (и не только военной, воздействие ее на литературный процесс было куда более широким, литература не делится на автономные, непроницаемые тематические отсеки, завоеванный писателем уровень правды общезначим). Когда на рубеже 50-х и 60-х годов столь заметно заявила о себе литература фронтового поколения, или, как ее еще называли, «лейтенантская литература», сразу же обнаружилось, что у истоков ее — повесть «В окопах Сталинграда». Это засвидетельствовали многие прозаики этого призыва — Василь Быков и Григорий Бакланов, Владимир Богомолов и Алесь Адамович, Булат Окуджава и Вячеслав Кондратьев, поддержанные поэтами того же поколения Сергеем Наровчатовым и Константином Ваншенкиным, Григорием Поженяном и Юлией Друниной. Стоит добавить, что исключительное значение этой книги признавали и писатели старшего поколения — Александр Твардовский и Илья Эренбург, Константин Симонов и Александр Бек, Василий Гроссман и Александр Крон.

В 1965 году Борис Слуцкий писал: «…Повесть В. Некрасова обогнала свою литературную эпоху, во многом предваряя наше время». Это можно повторить и сегодня. Разве, познакомившись со Степкой Толкачем из «Круглянского моста» Быкова или с кондратьевским Сашкой, не вспоминаешь Валегу из «Окопов» и Леньку Богорада из «Второй ночи»? Разве, читая в романе Гроссмана «Жизнь и судьба» о свободе, которая была душой и целью стоявшего насмерть Сталинграда, о защитниках дома «шесть дробь один», взявших на себя во всей полноте ответственность за исход этой войны, не возвращаешься мыслью к повести Некрасова, показавшего, что именно эти простые солдаты и офицеры, а не «великий полководец всех времён и народов», именем которого их поднимали в атаку, одолели фашизм? Некрасов тогда, конечно, не мог осмыслить пережитое так, как Гроссман в этом романе, но верность правде и человечности

открыла ему глаза…

Впрочем, существовала и «обратная связь» — к Некрасову. В течение нескольких лет я не раз слышал от него: «О войне больше писать не буду. Всё. Ничего нового сказать не могу». Но вот появились первые повести прозаиков фронтового поколения, — Некрасов отнесся к ним с большим энтузиазмом, очень радовался их успеху. Хвалил «Батальоны просят огня», «Пядь земли», «Будь здоров, школяр», «Третью ракету». Помню, говорил: «А к „Пяди земли“ у меня особое, почти родственное отношение. Ты знаешь, что мамина девичья фамилия Мотовилова? Это вроде как обо мне». По просьбе Некрасова я познакомил его с Бондаревым и Баклановым, в другой раз — с Окуджавой, мне кажется, что и он им, и они ему понравились. А самое главное, книги «окопников» послужили для Некрасова неожиданным творческим толчком. Он вернулся к войне, написал превосходные рассказы — «Судак» и «Вторая ночь», которым не опасно сравнение даже с «Окопами»…

Пусть, однако, не возникает ложное представление. Некрасов страстно интересовался не только книгами о войне, а вообще «оттепельной» литературой. В ту пору, как и в наши «перестроечные» дни, оживление в литературе сулило долгожданные перемены в жизни — так к этому относился Некрасов, для него текущая литература была и барометром общественного бытия. Он услышал о выходе «Тарусских страниц» и попросил достать ему альманах. Через несколько дней пришло письмо, там приписка, видно, письмо уже было написано: «„Тарус(ские) страницы“ получил. Лучше всего, по-моему, Слуцкий и местами Корнилов. Но еще не всё прочёл. Говорят, собираются уничтожать. А?» И в следующем письме: «Как дела с „Тарус(скими) стр(аницами)“? Мне больше всего понравились Слуцкий, Казаков (особенно второй рассказ) и Окуджава. Володьку (Корнилова. — *Л. Л.*) я читал раньше. А вообще — будут долбать или нет?» Вот этим тогда и жили: удастся напечатать или зарежут, уничтожат или проскочит?

После того, как Некрасов вынужден был уехать за рубеж, его имя, его произведения стали запретными для печати, вычеркивались цензурой. Когда в 1975 году на писательской конференции в Минске, посвященной 30-летию Победы, Василь Быков в числе высших достижений литературы о войне назвал «В окопах Сталинграда», разразился скандал. Быкова сурово осудили, дали ему, как принято было говорить, достойный отпор. Да о чем тут толковать, если уже в новые времена, совсем недавно, написанный тем же Быковым некролог был в «Литературной газете» снят с полосы, «зарублен»…

А без творчества Некрасова, прежде всего без повести «В

окопах Сталинграда», вся картина развития литературы о войне — и не только о войне, хочу это повторить — оказалась не просто обедненной, а искаженной, сфальсифицированной. Противоестественность этого зияния в истории современной нашей литературы бросалась в глаза не только специалистам, но и самым обыкновенным читателям, — это было одним из вопиющих проявлений лжи, превратившейся в систему…

Независимость Некрасова иногда производила впечатление даже на «руководящих деятелей», вызывая у них уважение. Как-то его пригласил заведующий отделом культуры ЦК партии Поликарпов, он должен был принять решение, включить ли Некрасова в писательскую делегацию, отправляющуюся за рубеж, — на более низких ступенях начальственной лестницы мнения разошлись. Некрасов приехал в Москву вскоре после того, как у Василия Гроссмана, которого он любил и уважал, была изъята рукопись романа «Жизнь и судьба». Естественно, что он тут же отправился к Гроссману. Когда на следующий день Некрасов явился к Поликарпову, тот — видимо, за Василием Семеновичем «присматривали» и кому следует докладывали — сразу же с угрозой: «Не успели приехать в Москву — и побежали выражать сочувствие Гроссману!» Некрасов ответил не менее резко: «Неужели вам могло прийти в голову, что я способен отвернуться от друга, у которого неприятности?» Состоявшийся разговор не обещал ничего хорошего. «Попрощались, как встретились, без всякого дружелюбия, — рассказывал мне Некрасов. — Наверное, зарубят мою поездку». И был изумлен, что Поликарпов дал добро на поездку, писал мне: «Завтра приезжает Жоренька (Г. Брейтбурд — сотрудник иностранной комиссии Союза писателей. — *Л. Л.*), мы вместе с ним сходим к Бажану, и тогда, я думаю, я буду в курсе всех дел. Кстати он, Жоренька, сообщил мне, что мой визит к Мите (Д. А. Поликарпову. — *Л. Л.*) открыл мне семафор. Почему-то я ему понравился?! Бывает же…»

Некрасов не считал, что талант и громкое имя дает ему хоть в чем-то особые по сравнению с другими, обыкновенными, людьми права. Роль мэтра была явно не по нему. Вспоминаю такой эпизод. Некрасов написал для «Литературной газеты» большую статью «О прошлом, настоящем и чуть-чуть о будущем», посвященную проблемам архитектуры. Он выступал в ней против сталинского «неоклассицизма», отстаивал архитектуру, служащую человеку. «Не поражать размерами, высотой, дорогостоящей и мало что выражающей помпезностью, а искать простое, ясное, дружелюбное, иными словами — *человечное*», — писал он. Статью, как принято говорить в газете, организовал я, хотя архитектура относилась к епархии отдела искусства, что усилило

настороженное отношение к некрасовскому выступлению. Возникли замечания, большая часть которых носила характер перестраховочных придирок, вызванных тем, что Некрасов симпатизировал конструктивизму, отстаивал в архитектуре функциональность. Руководству газеты внушалась мысль, что за это выступление непременно крепко взгреют, так просто оно с рук не сойдет. Ненапечатанную статью предложено было обсудить архитекторам; шли споры, кого приглашать, а кого не приглашать на обсуждение. У архитекторов возникли какие-то свои претензии к автору — почти все не обязательные. Статья завязла — ее не отвергали и не печатали. Я предложил напечатать ее в дискуссионном порядке, хотя ничего спорного в ней не было. Возникло новое препятствие: сначала подготовьте выступления, оспаривающие Некрасова. В общем, этому не видно было конца.

Тут появился в Москве Некрасов. Пристрастившись в те годы к лыжным прогулкам, он ехал в зимнюю Малеевку (мы не раз там вместе ходили на лыжах — у меня сохранились фотографии; когда он не смог поехать в Малеевку, с грустью писал мне: «Давно мы на лыжах не ходили, а?»). Решили, что Некрасову надо пойти к Косолапову, который замещал находившегося в отпуске главного редактора. «Валерий Алексеевич, — внушал я Некрасову, который согласился совершить этот визит без особого энтузиазма, под моим нажимом, — человек, любящий литературу и с почтением относящийся к хорошим писателям. Ты должен помнить, что ты классик советской литературы, и соответственно держаться. Своей статьей ты облагодетельствуешь газету. Иначе дело может не выгореть».

Увы, с этой нехитрой задачей Некрасов не справился. Косолапов очень любезно его встретил, ему импонировал этот визит, он, несмотря на газетную круговерть, не прочь был побеседовать с известным писателем, но мне пришлось закруглить встречу. Некрасов не держался как литературный генерал, своим выступлением осчастлививший газету. Тем более установить между собой и благожелательно относящимся к нему человеком иерархическую дистанцию или хотя бы для пользы дела изобразить памятник себе Некрасов не мог, это было противно его натуре, живой классик из него не получался. Но я оказался не прав — и такой, каким он был, Некрасов произвел благоприятное впечатление на Косолапова. Визит свою роль сыграл: статью поставили в номер. На планерке Косолапов даже сказал, неизвестно кому адресуясь: «Это безобразие — столько времени мурыжить статью такого крупного писателя!»

Надо сказать, что в те времена, когда редакционные дела довольно часто приводили меня в Киев, корпункт «Литературной

газеты» играл там роль, выражаясь нынешним языком, неформального литературного клуба. И не только литературного — немало интересных людей самых разных профессий пришлось мне там видеть: и «киношников», и художников, и врачей, и инженеров, и даже закройщицу ателье, писавшую острые и проницательные статьи о современной литературе.

Уже в первый мой приезд в Киев я познакомился со многими «завсегдатаями» этого корпунктовского «клуба», самой заметной фигурой которого и его душой был Некрасов: уже бывшими или вскоре ставшими известными писателями — Николаем Дубовым, Леонидом Волынским, Михаилом Пархомовым, театроведом Вадимом Панкеевым-Сахновским, литературоведом Дмитрием Затонским — называю лишь тех, с кем у меня потом на долгие годы установились добрые отношения. На самом деле круг людей, так или иначе связанных с этим «клубом», разместившимся на улице Полупанова, дом 10, вход со двора, — вот ведь до сих пор сидит в памяти этот адрес, — был куда шире. Помню, как Некрасов водил меня во Дворец пионеров, чтобы познакомить с художниками Адой Рыбачук и Владимиром Мельниченко, показать выкладываемую ими замечательную мозаику. Как-то поздним вечером мы шли с Некрасовым по одной из киевских улиц, он вдруг остановился: «А здесь живет мой старый друг, замечательный архитектор Ава Милецкий, давай зайдем к нему, тебе будет интересно с ним познакомиться. Неудобно? Какая чепуха, он будет нам очень рад». Без предварительного телефонного звонка мы ввалились к Милецкому и просидели у него до поздней ночи… И в каждый мой приезд в Киев вот так возникали какие-то новые интересные люди…

Эта пестрая «клубная» компания состояла в основном из бывших фронтовиков, но тогда все еще были молоды, и нравы, и интересы соответствовали возрасту. В этой компании Некрасов был самым старшим — лишь Николай Дубов был старше на год, я, как и многие другие, был гораздо моложе его, но никогда не ощущал возрастную разницу (когда Некрасову исполнилось пятьдесят, я послал в Ялту, где он был в Доме творчества, телеграмму: «Не может быть», — она точно выражала мое чувство — действительно, никак не верилось), наверное, потому, что в чем-то очень существенном наш возраст одинаково определяется войной. Разговоры и споры о серьезном — о прошлом и будущем страны, о жизни, освобождающейся от сталинских оков, о путях литературы, о положении писателя — перемежались дурачеством, розыгрышами, коллективными походами на стадион, застольями на скорую руку — не всегда по достаточно веским поводам.

Постоянно царившую в корпунктовском «клубе» атмосферу серьезного дела и веселых розыгрышей, битв за правду и справедливость и почти мальчишеских проказ, — это было время «оттепельных» надежд и разочарований, и все-таки духовного распрямления, начавшегося еще на войне, на фронте, выражавшегося и в бесшабашности, и в проказах, — эту удивительную атмосферу можно почувствовать и в открытке Некрасова:

«4/11 61

Дорогой Лазарь!

Спасибо за письмо. Вчера же довёл его содержание до сведения тех, кому ты просил. В день, когда оно пришло, мы как раз сделали маленький загул в корпункте. Это по случаю того, что у Димы Затонского родилась дочь, а я отдал перепечатывать рукопись (путевые записки „По обе стороны океана“, опубликованные в ноябрьской и декабрьской книжках „Нового мира“ за 1962 г. — *Л. Л.*). В общем, ситуация как-то созрела. Думаю, что скоро появлюсь в Москве. Хватит писать, надо и печататься!

А Эренбург молодец. Выдает на старости лет! (Речь идет о необычайно остром для того времени выступлении Эренбурга на вечере в ЦДЛ, посвященном его семидесятилетию, на удивление всем, оно было передано по Всесоюзному радио, вероятно, Некрасов его слушал. — *Л. Л.*).

Обнимаю!

Привет семейству.

Твой Вика».

Начало этой открытки требует некоторых пояснений. В письме, на которое отвечал Некрасов, я просил его рассказать моим друзьям для «ориентации» в редакционных делах о том, что вынужден уйти из «Литературной газеты» в «Вопросы литературы», потому что дальнейшая моя работа в газете невозможна, главное недовольство у власть предержащих — прежде всего в ЦК, у Поликарпова, — вызывает позиция газеты в делах литературных, а руководство редакцией не в состоянии противостоять этим непрекращающимся атакам, сдает одну позицию за другой, и, судя по всему, «смирновский» период в газете на исходе.

В ту пору Некрасов стал писать мне чаще обычного — видно, считал нужным проявить ко мне особое внимание. Вообще он был

против моего ухода из газеты, за полгода до этого у нас был длинный разговор на эту тему. Я понимал, что в ближайшее время газету доконают, беспрерывные указания, замечания, наставления, всяческие придирки со Старой площади не давали работать, складывалась ситуация, при которой меня объявят «персоной нон грата». Некрасов говорил, что надо держаться до последнего, упирая на то, как много полезного можно сделать, работая в газете, сетовал, что сам оказался в положении «кустаря-одиночки», а он так любит и темп газетной жизни, и сам воздух редакции. Предупреждал меня, что я изведусь от тоски по газетной работе. Он подарил мне тогда, после этого разговора, только что вышедшее «Первое знакомство» с такой надписью: «Лазарю — подумай, о чем мы говорили».

Вскоре после открытки пришло письмо от Некрасова — от 22 февраля:

> «Я уже придумал тебе работу в твоем журнале. Разыщи где-нибудь журнал „Сов(етская) Украина“ № 1 за 1961, тот самый, в кот(ором) я состою членом редколлегии, и прочитай в нем 2 статьи (если хочешь, можешь и больше) — 1) Макаренко „Глядя в корень“ и 2) Шлапака — о совр(еменной) украинской литературе.
>
> О первой, бандитско-петлюровской, расскажу при встрече (вернее, не о ней, а об ее обсуждении на киностудии им. Довженко — знаменательное событие!), а вторая, по-моему, может тебе пригодиться для чего-нибудь. Ничего подобного по повальному восхвалению *всего* г… (да еще в каких выражениях!) я еще не читал. Почитай. Может, дадите кому-нибудь по черепу?
>
> На этом кончаю, т. к. меня зовут обедать.
>
> Рукопись уже в „Н(овом) мире“. В марте сюда приедет для дочистки И. А. Сац. Сегодня говорил с Герасимовым. Дементьев и Закс и, само собой, Трифонович не читали. Берзер и Женя (Герасимов. — *Л. Л.*) — за. Намечают вроде как на 5-й номер. О своем появлении в Москву, кот(орое), очевидно, возможно, в марте дополнительно сообщу».

Думаю, что «работа», какие-то просьбы (повод для этого и следующего письма Некрасова) были им действительно «придуманы». Просто просчитал, что, наверное, настроение у меня должно быть кислым, что адаптация на новом месте работы вряд ли дается легко, и подыскал вроде бы деловой — не утешать же! — повод, чтобы дать знать, что помнит.

«24/V 61

Дорогой Лазарь!

А я в Ялте! С мамой, Рабиновичами (Волынскими. — *Л. Л.*) и Верой Дубовой. Коля не поехал из-за Бера (огромный ньюфаундленд, которого нельзя было ни на кого оставить — без хозяев он объявлял голодовку. — *Л. Л.*). Приезду сюда предшествовал сверхсумасшедший „весенний месяц май“. 100 000 гостей, встречи, проводы, задуренная голова, окончание сценария для кинохроники (документального фильма „Неизвестному солдату“. — *Л. Л.*), конвульсии трусости „Н(ового) мира“ — одним словом, чуть не спятил от всей этой суматохи. К тому же обычная неясность с Италией. Ежедневные режиссерские звонки из Москвы: „Все в порядке, все в порядке…“ — и ничего с места не сдвигается, — и мотнул сюда. Что дальше — более или менее туманно. Здесь-то хорошо и спокойно, хотя и льет сегодня целый день дождь. Зато отдельная комната и никакой работы…

А что у тебя? Как Австрия? И когда?

У меня, кроме всего, есть еще про запас „литгазетовский“ Лаос. Но тут я уж совсем не знаю, что делать. Заполнил в Москве „объективку“, но тут встряла Италия, и я растерялся. Ко всему забыл фамилию того пожилого еврея из иностр(анного) отдела „Литературки“ и не знаю, к кому адресоваться. Фамилия его, кажется, на „Ш“ (М. Е. Шугал. — *Л. Л.*). Если вспомнишь, позвони ему и расскажи мою итальянскую ситуацию. Я, мол, не против Лаоса, но встряли Апеннины. А там дело хотя и сложное — волк, коза, капуста (Сурин, Де Сантис и я), но интересное, сам понимаешь…

Вот такие-то дела…

Если не лень — черкни. Привет Найке. Мать кланяется. Рабиновичи тоже. Я — целую.

Твой Вика».

При всей своей, как он пишет, «задуренности» — вполне понятной, потому что множество людей претендовало на его время и внимание, ведь с ним невозможно было пройти по улице и в Киеве, и в Москве, останавливали на каждом шагу, при свойственной ему импульсивности и безалаберности — вдруг чем-то увлекся, все планы летят кувырком — кого-то подвел, кто-то на него обиделся, — Некрасов был хорошим товарищем, на которого в серьезных делах можно было положиться, который, если требовалось, без просьб и напоминаний приходил на

помощь. Конечно, очень ценили его талант, но любили его, мне кажется, за это и за органически присущий ему демократизм…

Куда бы ни заносила Некрасова судьба, с какими людьми ни сталкивала, он с поразительной быстротой обрастал не только приятелями, но и друзьями — в этом нетрудно убедиться, прочитав его очерки о поездках в Италию, Францию, США, на Камчатку. «До Петропавловска лёту час или полтора, не больше, но за этот короткий промежуток времени мы умудрились с летчиками окончательно сдружиться», — писал Некрасов. И хотя видел он этих летчиков — вернее, летел с ними — лишь во второй раз, тут нет ни малейшего преувеличения. Не раз такого рода дружеские связи у Некрасова возникали у меня на глазах. Он притягивал к себе самых разных людей — и не только потому, что был человеком значительным и обаятельным, но и потому, — это обнаруживалось сразу, — что и они ему были по-настоящему интересны. И жизнь итальянского шофера, или коридорной парижского отеля «Лувр», или камчатского рыбака занимала его не меньше, чем беседа со всемирно известным и боготворимым им со студенческих лет Ле Корбюзье или генералом Игнатьевым, автором знаменитых в сороковые годы мемуаров «50 лет в строю».

Жадный, неутолимый интерес к так называемым простым людям, к их судьбе, к их жизни — неинтересных людей для него не существовало — одна из самых привлекательных черт некрасовских очерков, да и вообще его творчества (ему и доставалось вовсю за то, что у него герои «не те» — и в «В родном городе», и в «Кире Георгиевне», которая была предтечей «московских» повестей Юрия Трифонова, и в зарубежных записках). Ничто так не привлекало Некрасова, как обыкновенные люди, — в каждом он видел целый мир, суливший необыкновенные открытия: «Я покупал книги, открытки, билет в метро, маленькие сувениры, но кто те люди, которые мне их продавали, где они живут, что делают после шести вечера, какие газеты читают и читают ли вообще, а если читают, то почему именно эти, а не те, — ничего этого я не знал. Я всего лишь несколько минут постоял над тем парнем в клетчатой рубашке со шкиперской бородкой, а мне хотелось бы с ним посидеть в каком-нибудь бистро до двух часов ночи, и задать ему тысячу вопросов, и ответить на две тысячи его». И снова он пишет о том же, рассказывая об Италии: «Мы бродим по улицам, сидим в тратториях и остериях и не понимаем, о чем вокруг нас говорят, чему радуются, смеются, о чем возмущаются. А это, может быть, самое интересное: сидеть вот так вот, в углу за столиками, и слушать, наблюдать, а потом и самому ввязаться, затеять какой-

нибудь спор — итальянцы любят это, моментально подхватят». Но если во Франции в первую поездку он не мог это делать из-за недостатка времени, в Италии и США, кроме этого, мешал языковой барьер, то дома возможность поговорить, поспорить со случайно встреченными людьми в очереди в гастрономе и в электричке, в такси и у газетной витрины на бульваре, у табачного киоска и в мастерской по ремонту фотоаппаратов (говорю о том, что видел сам), расспросить их, внимательно выслушать их неожиданную исповедь — он использовал, как говорится, на все сто.

Поэтому, кстати, Некрасов очень обижался — и не без оснований — на Твардовского, который почему-то корил его тем, что он не знает настоящей жизни народа. Обижался, конечно, потому, что слишком много для него значил Твардовский, — не мог быть равнодушен к его мнению. «Многое я знаю лучше, чем он», — сердился Некрасов. Это была одна из тех больных тем, из-за которых почти каждая публикация некрасовских вещей в «Новом мире» сопровождалась у них размолвками и ссорами, горькими обидами. Наверное, не во всём был прав и Некрасов, считая, что редакция трусит, — положение «Нового мира» было тяжким, не позавидуешь, свирепое давление на журнал — и цензурное, и всякое иное — никогда не прекращалось. Но что было, то было. В одну из не самых светлых полос в их сложных отношениях с Твардовским Некрасов в письме просил меня: «Писать о Трифоновиче не хочется („Литературная газета“ заказала ему статью к пятидесятилетию Твардовского. — *Л. Л.*). Он слишком велик и прочен для меня. Выкрути как-нибудь изящно меня из этого дела».

Притягивая к себе разных людей, Некрасов был одержим желанием всех их связать общей дружбой. Он хотел, чтобы вокруг него был мир друзей, — это чувство, мне кажется, в немалой степени тоже имело своим источником войну, то, что называют иногда фронтовым братством. Не только в Киеве — там это в определенной мере можно объяснить долгом хозяина, но и в Москве он сводил, знакомил меня с людьми, с которыми, по его мнению, я не мог не подружиться. Разумеется, я был далеко не единственным, на кого распространялся этот принцип, — круг людей, к которым он благоволил, как я уже говорил, был довольно широким, и я в данном случае просто один из многих людей, и когда ему это удавалось, он очень радовался…

Некрасов познакомил нас с Лунгиными (он кинодраматург, автор сценариев многих фильмов, в том числе «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен!», «Внимание, черепаха!», «Агония» (эти вместе с И. Нусиновым), она

переводчица с трех языков — ей мы обязаны знакомством и со знаменитым Карлсоном, который живет на крыше, и изысканной прозой Бориса Виана) — их гостеприимный, всегда открытый дом не случайно был его постоянным пристанищем в Москве, стал как бы и его домом — во всяком случае, он приводил, приглашал туда как к себе домой. Мы стали бывать там, а они — у нас — и с его легкой руки это продолжается уже почти четыре десятилетия. Некрасов позвал нас к Лунгиным, чтобы мы прочитали добытую им в «Новом мире» на короткое время и потрясшую его повесть «Ш-854» (так первоначально назывался «Один день Ивана Денисовича» Александра Солженицына — это еще была авторская рукопись, напечатанная на неформатных страницах через один интервал). Некрасов пригласил нас к Лунгиным, прилетев с Камчатки: гигантская рыба — в Москве мы таких не видывали — заняла собой весь стол. Этот подарок ему вручили перед отлетом, и сначала рыба была продемонстрирована в упакованном виде — завернутая то ли в клеенку, то ли в целлофан, со сделанными из толстой веревки ручками, как к чемодану, — почему-то это выглядело очень смешно.

Мы были у Лунгиных в тот же или на следующий день после появления памятной многим до сих пор — она выделялась какой-то наглой разнузданностью — статьи в «Известиях» «Турист с тросточкой» («…Совершенно непонятно, как умудрился советский писатель не увидеть разительных социальных контрастов и классовых противоречий американской жизни, военного психоза, разжигаемого империалистическими кругами. Вот уж, действительно, приехал турист с тросточкой… В. Некрасов не просто делится впечатлениями, а все время пытается обобщить и по ходу дела порочит многое из того, что является святым для каждого советского человека. Мы уже не говорим о бестактном, оскорбительном отношении автора к своим товарищам по туристской поездке. Повторяем, дело не в фактических ошибках, а в тех легкомысленных и неверных обобщениях и параллелях, которые ведут к буржуазному объективизму и бездушному описательству, искажающему действительность», — вот некоторые фрагменты этого сочинения). Дверь открыл Некрасов, он встречал приходящих с какой-то тросточкой в руках. Потом через несколько лет, когда у него вышла книга «В жизни и в письмах», где на обложке была его фотография в полный рост, он, даря эту книгу, не надписывал ее, как обычно, а дорисовывал черным фломастером фотографию (он ведь очень хорошо рисовал, книгу «Первое знакомство» оформил сам, она иллюстрирована его фотографиями и рисунками) — получилось, что в одной руке он держит цилиндр, в другой — тросточку. В

другой раз «Окопы», вышедшие в переводе на арабский язык с моим предисловием, он надписал мне восточной вязью справа налево.

Из дома Лунгиных мы провожали Некрасова на Киевский вокзал, он приезжал в Москву прощаться, по возвращении в Киев должен был улететь за границу, пока в Швейцарию, уже был получен паспорт, взяты билеты. Народу на перроне было немного — кроме Лунгиных, я запомнил Асю Берзер, Евгения Евтушенко, Владимира Корнилова. Все понимали, что уезжает Некрасов навсегда, дороги назад не будет. Он старался шутить, но было невыносимо тоскливо…

Как-то все вместе встречали Новый год у нас — Лунгины, Ася Берзер, Некрасов с матерью, к которой он относился с удивительной нежной заботливостью. С Зинаидой Николаевной я познакомился еще в первый приезд в Киев. Был приглашен на завтрак. Помню, за столом она безуспешно — поскольку это, видимо, продолжалось всю жизнь — учила сына хорошим манерам: «Вика, не бери руками!» (он же всегда предпочитал застолье по-студенчески, без долгих приготовлений, что Бог послал, при минимальной сервировке и очень злился, когда «подготовительные работы» затягивались). Он отвечал: «Мамочка, это у меня наследственное». Через много лет, прочитав воспоминания Некрасова о бабушке, я понял, что расхожая реплика, которой так часто парируют критические замечания родителей, имела в их семье свое конкретное содержание.

> «Когда по каким-то причинам ни мамы, ни тети Сони не было на даче, — вспоминал Некрасов, — бабушка заговорщически подмигивала мне и полушепотом говорила:
>
> — Порезвимся, Викунчик?
>
> И я приносил тогда из погреба аккуратный кубик творога, и мы ели его руками, посыпая сахаром. Бабушка-смолянка любила есть творог не ложечкой, а именно руками, но при дочерях боялась „резвиться“».

Бабушка Некрасова — наполовину шведка, наполовину итальянка — была первой красавицей Смольного института благородных девиц, на выпускном бале ее пригласил на первую мазурку Александр II. После смерти мужа Алина Антоновна отправилась в Швейцарию, где дочери получили высшее образование — Зинаида Николаевна стала врачом. В Швейцарии они попали в круг русской интеллигенции левого направления — в их доме бывал Ленин (они оказались земляками — у бабушки было имение в Симбирской губернии), Плеханов, Классон,

который был женат на сестре Алины Антоновны, Луначарский, Ногин; бабушка вместе с женой Плеханова устраивала благотворительные концерты для русских эмигрантов и студентов, нелегально перевозила через границу «Искру».

Зинаида Николаевна была человеком доброжелательным, общительным, не чопорным, приветливо встречала друзей сына, но простота современных нравов все-таки ее несколько шокировала. Помню, как в Малеевке после лыж, сбросив лыжные ботинки и оставшись в носках, Некрасов вдруг воскликнул с выражением ужаса на лице: «Боже мой, что было бы с мамой, если бы она увидела, что я при дамах разгуливаю в носках!» Если Некрасов, когда приезжал в Москву с Зинаидой Николаевной, приходил к нам в гости, то непременно с ней — мне кажется, Зинаида Николаевна была к нам расположена и охотно бывала в нашем доме.

Некрасов привел к нам Марлена Хуциева, потом Геннадия Шпаликова. Он очень любил хуциевские фильмы, особенно его восхищала «Застава Ильича». Еще шли съемки, а Некрасов на все стороны трубил, что Марлен делает потрясающий фильм. Когда лента была вчерне смонтирована, уговорил Хуциева показать ее друзьям — так что нам удалось посмотреть еще не изуродованный фильм. Действительно, он производил очень сильное впечатление. Когда фильм подвергся гонениям, когда Хуциева заставили его кромсать, Некрасов клокотал от негодования. Встречаясь в прежние годы довольно часто с Марленом на «Мосфильме», мы нет-нет и вспоминали, что познакомил нас Некрасов, вспоминали его.

Кого только ни приводил к нам Некрасов из людей, симпатичных ему… Однажды он «достал» после какого-то затянувшегося мероприятия своего итальянского чичероне Юрия Крайского, впервые приехавшего в Москву, и потребовал, чтобы тот сейчас же явился к нам, иначе, мол, его представление о Москве будет неполным. Крайский, увидев в столь поздний час — близилась полночь — довольно многолюдную компанию, не собиравшуюся расходиться, был поражен: «Это возможно только в России. В Италии исключается — скучная страна». Не знаю, прав ли он был в отношении Италии, что же касается России, то он не учитывал, что видит в данном случае некрасовскую Москву.

Как-то мы приехали в Малеевку, Некрасов, встретив нас, сказал: «А тут сейчас Соколов-Микитов, вечером пойдем к нему. Как, вы не знакомы с Иваном Сергеевичем? Это прекрасный человек, умница, великолепный писатель. Обязательно надо к нему пойти». Сопротивляться в таких случаях Некрасову было безнадежно. По-моему, Иван Сергеевич сначала был несколько

смущен неожиданным нашествием незнакомых людей, но кто мог устоять перед напором Некрасова, убежденного, что все люди, к которым он хорошо относится, должны непременно понравиться друг другу? Вечер все-таки удался, Иван Сергеевич, чувствуя влюбленное отношение к нему Некрасова, разговорился, рассказывал много интересного…

Слова пушкинского Сальери о Моцарте — «гуляка праздный» — очень подходят Некрасову, в его отношении к жизни и к писательству было нечто «моцартианское». Свои «Городские прогулки» он начинает таким обращением к читателю: «…Если ты, кроме чтения и других полезных и даже бесполезных занятий, не прочь просто так, без дела походить по улицам, руки в брюки, папиросу в зубы, задирая голову на верхние этажи домов, которые никто никогда не видит, так как смотрят только вперед (или направо, налево, витрины, киоски), присаживаясь у столика кафе или на скамеечке в скверике среди мам, бабушек, ребятишек и пенсионеров, если ты любишь заводить случайные, обычно тут же обрывающиеся, но запоминающиеся знакомства, если тебе нравится без плана бродить по улицам незнакомого города, предпочитая их шум или тишину тишине прославленных музеев, — если ты такой, то, может быть, ты найдешь кое-что близкое, переворачивая эти странички…» — и назвать их он хотел «Прогулки зеваки».

Случалось и мне составлять ему компанию во время таких прогулок. В Киеве на Андреевском спуске, ныне приведенном в порядок, отреставрированном, я думаю и о Некрасове — это ему мы обязаны открытию булгаковского Киева. Да и в Москве в разных местах я теперь всегда вспоминаю его — на Волхонке («Посмотри, какой изящный балкон», — показал он мне), на Ново-Басманной («Замечательная кованая решетка!»), на Кировской («Пройдем еще немного, поглядим на дом Корбюзье»).

Есть художники, целиком поглощенные своим творчеством, для которых и окружающая, и их собственная жизнь лишь материал для слов, звуков и красок, труд их подчинен строгой самодисциплине и вольно или невольно становится самоотречением. Помню, с каким удивлением, соединявшим в себе восторг и неприятие, рассказывал Некрасов о том, как работает в Малеевке Тендряков — ни на что не отвлекаясь, без пауз, ни одного пропущенного дня, ни одного зря потерянного часа. Для Некрасова писательство было лишь частью жизни, многое иное в этой жизни представлялось ему не менее важным и притягательным. Какое уж там «ни дня без строчки» — работал, когда работалось, когда не работалось, не работал. Поддаваясь самым разным искушениям (встречи с друзьями, лыжи, купание,

поездки — и не обязательно за границу или в такие дальние экзотические края, как Камчатка и Командоры, но и куда-нибудь в Подмосковье, в окрестности Ялты — на день, на полдня, прогулки по старым московским улицам и переулкам, по наизусть исхоженному Киеву, какая-то выставка, новый кинофильм — кино он любил особенно страстно, довольно прохладно относясь к театру, хотя несколько предвоенных лет играл на провинциальной сцене, а может быть, именно поэтому — кто знает), легко отрывался от письменного стола.

Впрочем, письменный стол — это в данном случае фигурально сказано. «Вот на этом диване пишу», — показал Некрасов, когда я первый раз был у него дома, на видавший виды диван, занимавший много места в его небольшой комнате. «Не за столом?» — удивился я. «Нет, на диване. Кладу лист на эту фанерку, — он взял со стола фанерную дощечку чуть больше машинописной страницы, — и пишу. Очень удобно». Признаюсь, мне в этом померещилось тогда то ли некоторое пижонство, то ли намеренная «дегероизация» писательского труда. Очень скоро я понял, что ошибался: просто во всём он был верен себе, совершенно не заботясь о том, как это может выглядеть со стороны. Однажды он вдруг сказал мне: «Замечательная книга „Сага о Форсайтах“. Читаю — не могу оторваться». — «Разве ты ее не читал?» — спросил я, пораженный его пылом. «Нет, не читал. Все пайщики вокруг так ахали: ах, „Сага о Форсайтах“, ах, чудесная „Сага о Форсайтах“, что я не стал читать — решил, что какая-то толщенная скучища». Отправившись впервые за границу — в Италию и Францию, — Некрасов составил по путеводителю обширную «культурную программу», всё, что должен посмотреть в Париже интеллигентный человек. «Прилетев в Париж, — писал он потом, — я сунул брошюру в чемодан и никуда не пошел, даже в Лувр. Это — преступление, я знаю. Быть в Париже и не взглянуть на Венеру Милосскую и Мону Лизу равносильно к тому, что побывать в Риме и не увидеть папу. Но, поскольку в Риме я с папой так и не встретился, я позволил себе и вторую вольность — променял сокровища Лувра на парижские улицы». Некрасов не только не пошел в знаменитые музеи, поступив, как ему захотелось, но и не скрывает этого.

«Профессиональным литератором не считаю себя и сейчас», — писал Некрасов в 1962 году, отвечая на вопросы анкеты журнала «Вопросы литературы». «Я войне должен быть благодарен, — говорил он мне. — Если бы не война, вряд ли бы стал писателем, не о чем было бы писать. Я не настоящий писатель, я любитель, — он говорил всё это серьезно, без малейшей тени кокетства. — У меня нет воображения, мне

трудно придумывать (наверное, поэтому он так радовался, что „провёл“ читателей, вставив в зарубежные очерки несколько придуманных эпизодов, и огорчился, когда в двух случаях я разгадал, что они сочинены. — *Л. Л.*). Я могу писать только о том, что пережил или видел своими глазами. Я скорее очеркист, чем художник. И в повестях и рассказах тоже».

Конечно, это нетрудно оспорить — Некрасов здесь невольно подменяет понятие: «Прототипичность» повествования не противостоит художественности, это явления разного рода. Но его автохарактеристика, его представление о своих писательских возможностях говорят, что в творчестве он был так же внутренне свободен, как и в своем поведении. Так естественно, так органично выражается его личность в повествовании, что, кажется, ему вообще от природы была неведома «литературщина». На самом деле это не так: война сделала его писателем еще и потому, что тогда ему открылась подлинная цена «правды точной и нагой». Один знакомый чешский критик попросил меня узнать у Некрасова, писал ли он что-нибудь до войны и если писал, то как относится теперь к своим первым литературным опытам, — ему это понадобилось в связи с работой над статьей о Некрасове. «Сообщи чеху, — ответил Некрасов без малейшего пиетета к своему прошлому, — что в 36-м году я мечтал быть советским Корбюзье или на худой конец Станиславским, что идиотские опусы свои стал посылать в редакции только в 40-м году и то дальше „Вокруг света“ не шел… То-то…»

Однако пусть не возникает неверного представления, что писательство как-то тяготило Некрасова, что он принуждал себя работать. Такие писатели есть — не зря существует этот принцип «ни дня без строчки». Некрасов же работал увлеченно, получая от работы удовольствие, думаю, еще и потому, что это была для него возможность заново неторопливо пережить то, что с ним было, — на войне и после войны, в далеких краях и в родном городе Киеве. Я никогда не слышал от Некрасова жалоб на какие-то внутренние заминки в работе, если в письмах он иногда на что-то жаловался, то только на внешние обстоятельства. Всё чаще Ялта, Малеевка, Комарово — писательские дома творчества — становились для него не только местом, где можно купаться или ходить на лыжах, но и убежищем, где можно скрыться от всё труднее обуздываемой киевской и московской суеты. Этот мотив проходит через многие письма и открытки.

> «Привет из красавицы Ялты. Как видишь, художественные вазы и изящные щиты делают ее

красивой (открытка представляет собой блеклую цветную фотографию моста в Ялте через речку Водопадную, перила которого завершают чудовищные по уродству гипсовые вазы и щиты для „наглядной агитации“. — *Л. Л.*). Спасибо т. Бакману, что запечатлел это и не остался в неизвестности… А вообще здесь мирово. Тихо, спокойно, никаких телефонов и 100 грамм. Купаемся, загораем. *Работаю*. С 7 ч. утра!!! До завтрака. И вечером с 5—7 (как прием у зубного врача)».

«Что-то совсем не знаю, как течет твоя жизнь. Моя — прекрасно. В Ялте, во всяком случае. Погода чудесная. Купаемся. По вечерам кино. (Кстати, видел ли итальянское „Вакантное место“? Extra!) Работаю. Дую Францию (речь идет о путевых записках „Месяц во Франции“, опубликованных после долгих битв с цензурой только в апрельской книжке „Нового мира“ за 1965 год. — *Л. Л.*). Пока, очевидно, для потомства. Пошел уже пятый лист. Во как! Писателей здесь никаких, кроме Жоры Владимова и уезжающего на днях Волынского. Водки не пьем. Все на высочайшем уровне. Пробудем до 15.VII…»

«…Шлю вам из солнечной (вовсю!) Ялты новогодний привет! Желаю и т. д. Здесь тихо, пусто, рабоче (правда, еще только собираюсь) и тепло. Что еще надо?..»

«…Мы здесь, в Ялте, блаженствуем. Купаемся, загораем, чуть-чуть работаем (впрочем, о Лёле этого не скажешь — он далеко не чуть-чуть). Здесь сейчас Богорад, и нам всем уютно и весело. Очень изредка выпиваем. О Москве и Киеве думать не хочется. Приезжайте сюда — путевок сколько угодно — выдают направо и налево прямо на месте. У меня путевки до 1.VII, но, возможно, продлюсь на 2 недели…»

Тут придется сказать несколько слов о предмете, которого можно было бы и не касаться, если бы не некоторые появившиеся вскоре после смерти Некрасова воспоминания о нем людей, которые хотя и были с ним знакомы, но плохо его знали и создают о нем самое превратное представление. Предмет этот — поминающиеся в письме Некрасова «100 грамм». Было бы ханжеством скрывать, что любимым напитком многих людей, прошедших через войну, был отнюдь не кефир. Надо ли умалчивать, что в послевоенные годы, в годы нашей молодости,

эти самые «100 грамм» — что поделаешь, такая сложилась традиция, хорошая или плохая, но традиция — были непременным участником дружеских встреч? Так было… И Некрасов по этой части никак не выделялся — ни в киевском корпунктовском «клубе», ни в московских компаниях, где я его мог наблюдать, пил не больше и не меньше, чем другие, как всегда, был при этом и умен, и значителен, и обаятелен. Становился, может быть, чуть больше, чем обычно, говорлив и невоздержан в речи (хотя при Зинаиде Николаевне язык прикусывал). Отчасти он сам был виноват, что о его пристрастии к «100 граммам» возникли преувеличенные представления, — любил на эту тему поговорить с мальчишеской бравадой и самоиронией, что видно и в письмах. Он так часто повторял: «Следующую свою книгу я начну — это самый драматический момент в жизни советского человека — фразой: „Водки, как всегда, не хватило“», что мы (Рассадин, Сарнов и я, когда-то развлекавшиеся писанием пародий) начали пародию на его зарубежные очерки фразой: «Нарзана, как всегда, не хватило» (думаю, из-за этого пародия и понравилась Некрасову).

Но шли годы, и менялось соотношение пустых бутылок из-под водки и вина и из-под нарзана, остававшихся после застолий, — первых становилось всё меньше, вторых — всё больше. Как-то Некрасов с грустью написал о нашем общем друге Николае Дубове: «Дубыч из больницы вышел. Диагноз — гипертония, язва (под ?), атеросклероз, одним словом, старость. Пить нельзя, курить нельзя». Дубов после этого «завязал» — не курил, не пил, а прежде в этих занятиях, случалось, давал фору Некрасову. Наверное, так было бы в конце концов и у Некрасова, он начал всем этим тяготиться («Надвигаются праздники. Начнется крутеж и всякие ненужности. Ох, не люблю…» — писал он мне), если бы не безрадостные общественные и личные обстоятельства, которые сплелись для него в один тугой узел.

Статья «Турист с тросточкой» была, несомненно, сигналом. Когда над передовой начинала кружить «рама», мы знали, она наведет бомбардировщики, жди удара с воздуха. После статьи в «Известиях» надо было ожидать расправы с Некрасовым. Видимо, науськанный аппаратом идеологических служб и близкими аппарату литераторами Хрущев на встрече руководителей партии и правительства с деятелями литературы и искусства 8 марта 1963 года в свойственной ему манере разнес Некрасова (прошу прощения за несколько пространных цитат, но они, мне кажется, помогут молодым людям представить себе атмосферу тех дней):

«В художественном мастерстве, в ясности и четкости

идейных позиций — сила художественных произведений. Но, оказывается, это не всем нравится. Иногда идейную ясность произведений литературы и искусства атакуют под видом борьбы с риторичностью и назидательностью. В наиболее откровенной форме такие настроения проявились в заметках Некрасова „По обе стороны океана“, напечатанных в журнале „Новый мир“. Оценивая еще не вышедший на экран фильм „Застава Ильича“, он пишет: „Я бесконечно благодарен Хуциеву и Шпаликову, что они не выволокли за седеющие усы на экран всё понимающего, на всё имеющего четкий, ясный ответ старого рабочего. Появись он со своими поучительными словами — и картина погибла бы“. (Возгласы: „Позор!“)

И это пишет советский писатель в советском журнале! Нельзя без возмущения читать такие вещи, написанные о старом рабочем в барском пренебрежительном тоне. Думаю, что тон подобного разговора совершенно недопустим для советского писателя.

К тому же в названных мною заметках выражено отношение не только к частному случаю в искусстве, а провозглашен совершенно неприемлемый для нашего искусства принцип. И это не может не вызывать нашего самого решительного возражения».

А после этого пошло-поехало, Некрасова уже не оставляли в покое. Неодолима сила стереотипов — на «туриста» прежде всего навалились при помощи высмеянных Некрасовым всё знающих, обо всём судящих «седоусых рабочих» (это было похоже на пародию): в «Московской правде» слесарь Кузьменков, а в «Правде» токарь Титов — дежурные выразители мнения начальства, высказываемого от имени народа. И вот что характерно. Филиппика слесаря Кузьменкова: «Закрываешь с горечью последнюю страницу таких насквозь фальшивых записок и думаешь: зачем пишут такое писатели? Неужели они не понимают: из-под их пера выходит не художественное произведение, а нечто смахивающее на рекламный проспект капиталистической туристской фирмы. Нет, мы, рабочие, решительно против мирного сосуществования идеологий, мы за партийный подход к оценке капиталистического образа жизни — рая для богатых и ада для бедных!» или токаря-расточника Титова: «В. Некрасов не жалеет красок для восхваления многих сторон жизни в буржуазных странах, захлебываясь, восторгается

тем, как его обслуживали в заграничных кабачках. В то же время он часто необоснованно чернит нашу действительность. Как же мы, рабочие, можем мириться с таким ненормальным явлением!» — мало чем отличаются от пылающего гневом выступления в «Литературной газете» специалиста по Франции и журналиста-«автоматчика» Ю. Жукова, заклеймившего Некрасова за то, что он «расходится с тем, чему учит нас партия», «отказывается встать на одну сторону баррикады, разделяющей два мира, и предпочитает „витать над схваткой“ и защищать некую абстрактную „правду“», «подчеркивает, что критикует непорядки, имеющиеся на Западе, только тогда, когда одновременно критикует непорядки, имеющиеся в Советском Союзе».

Травля шла по нарастающей. В отличие от того, что происходило после статьи «Слова „великие“ и простые», явственно запахло «оргвыводами». Апофеозом кампании было выступление Хрущева на пленуме ЦК КПСС 21 июня 1963 года, снова обрушившегося на Некрасова:

> «Константин Александрович Федин не является членом партии, но он глубоко партийный человек, — говорил Хрущев. — А вот писатель Виктор Некрасов, которого я лично не знаю, хотя и является членом партии, утратил драгоценные качества коммуниста, чувство партийности. Однако это не должно нас удивлять.
>
> Партийность — это не врожденное качество, она воспитывается жизнью. Нестойкие люди, даже будучи членами партии, могут под воздействием враждебной идеологии утратить чувство партийности. Меня удивляет в Некрасове другое — он настолько погряз в своих идейных заблуждениях, так переродился, что не признаёт того, что требует партия. А что это значит? Это значит идти вразрез с линией партии. Это уже другое дело.
>
> Каждый коммунист имеет право высказать свое мнение, но когда партия принимает решение, намечает общую линию, тогда все члены партии становятся в общий ряд и начинают делать то, что выработано коллективной мыслью и волей партии. Если человек, считающий себя членом партии, занимает неправильные позиции после того, как партия высказалась и определила свое отношение к тому или иному вопросу, если он настаивает на своем, он, по существу, перестает

быть членом партии. Партия должна освобождаться от таких людей, которые свое ошибочное личное мнение считают выше решений партии, то есть всей великой армии единомышленников. И чем раньше партия освободится от таких людей, тем лучше, так как от этого она будет становиться всё сплочённее и сильнее».

Здесь раздались продолжительные аплодисменты. После этого, разумеется, началось персональное дело Некрасова — унизительное разбирательство закончилось первым строгим выговором…

Правда, когда сместили Хрущева, Некрасова — он рассказал мне всё это в подробностях — неожиданно пригласили к Шелесту, тогдашнему члену Политбюро, первому секретарю ЦК КПУ. Шелест обласкал опального писателя, сказал, что восхищался, с каким мужеством и достоинством Некрасов встретил хамскую, всех возмутившую критику Хрущева, и предложил ему выступить на партийном активе, посвященном разоблачению «волюнтаризма» Хрущева. Шелест, считая, что Некрасов не забыл обиды, не сомневался, что он скажет то, что требуется. Некрасов выступить согласился, но заметил, что оценивает Хрущева как политического деятеля положительно и не собирается этого скрывать в своем выступлении. «Как ты понимаешь, — смеялся Некрасов, — на актив после этого они меня забыли позвать». Думаю, что после этой истории начальство сделало окончательный вывод, что Некрасов человек дерзкий, неуправляемый, очень опасный и его надо при первом же удобном случае скрутить в бараний рог…

Некрасов задыхался в затхлой, фарисейской атмосфере так называемых застойных лет. Как ни омрачались порой у них отношения с Твардовским, «Новый мир» был его, Некрасова, журналом, это был единственный журнал, где он хотел печататься и где его печатали. Когда к радости всех сталинистов Твардовского убрали, «Новый мир» разгромили, печататься ему стало негде. Книги тоже не выходили. Угроблен был после выматывающих душу проволочек двухтомник избранных произведений (невеселая эта история происходила на моих глазах — я писал к нему предисловие).

Тут на беду тяжело, безнадежно заболела Зинаида Николаевна. И Некрасов стал запивать, чтобы хотя бы на время сбросить всё то тяжкое, что разом навалилось на него, чтобы отключиться, а ему уже и немного надо было — годы и здоровье были не те, что прежде. С тревогой и горечью писал мне тогда Дубов: «Виктор занят всё той же работой». И через два месяца

снова: «Мать Виктора сломала бедро, лежала на растяжке, в гипсе. По мнению нашего врача, положение ее безрадостное. Виктор занят всё тем же, когда не находится в клинике. И вьется вокруг него всякая сволочь. А помешать этому невозможно». Тягостно было всё это видеть, но самое ужасное — действительно ничего нельзя было сделать. Но не могу и не хочу осуждать Некрасова — и тогда этого не делал, и сейчас не стану, — очень худо ему было. Потом, когда преследования приняли совсем уж крутой оборот, он стал преодолевать себя — надо было держаться, надо было устоять, не уронив своего достоинства, и во время последних встреч перед отъездом он был всегда трезв, он был прежним, таким, каким я его знал много лет…

29 сентября 1966 года, в двадцатипятилетнюю годовщину первых расстрелов в Бабьем Яру, когда там собралось большое количество народу, возник стихийный, как ныне говорят, несанкционированный митинг. Некрасов произнес там речь. Вот как он сам описал всё это: «Каждый год, 29 сентября, сюда приходят люди. С венками и цветами. Молча, склонив головы, слушают произносимые с трибуны слова… А в двадцать пятую годовщину расстрела трибуны не было… В тот день люди плакали, рыдали, становились на колени, целовали землю, уносили горсти ее с собой. И, глядя на них, нельзя было не обратиться к ним с несколькими словами утешения и веры в то, что на этом месте будет, не может не быть памятника». После этого началось не только новое персональное дело Некрасова, еще один строгий выговор, а затем исключение из партии, в которую он, стоит об этом напомнить, вступил в Сталинграде, на Мамаевом кургане, в разгар ожесточенных боев, — кажется, с этого времени им вплотную занялся вездесущий и всемогущий Комитет государственной безопасности — слежка, подслушивание телефона, какие-то подозрительные люди, о которых писал мне Дубов, старающиеся втереться к нему в доверие, сорокадвухчасовой обыск, цель которого, как было написано в ордере, «обнаружение литературы антисоветского и клеветнического содержания», мешки изъятых рукописей и книг, параллельные обыски у друзей, вызовы на допросы к следователю по особо важным делам — подряд в течение шести дней…

Бабий Яр был у Некрасова незаживающей раной. В конце сентября 1960 года он позвонил мне и спросил, не могу ли я в самые ближайшие дни приехать в Киев: «Договорись с начальством. Я начал писать небольшую заметку. О Бабьем Яре. Если не успею дописать до твоего приезда, кончу при тебе. Важно ее быстро напечатать. Возьми с собой фотоаппарат». Я прилетел в Киев, устроился в гостинице и позвонил Некрасову. Он сказал,

что заметку кончил, сейчас зайдет за мной и мы поедем на Лукьяновку. Там он сначала повел меня на старое еврейское кладбище — я не знал, что Бабий Яр находился с ним по соседству. Кладбище вообще печальное место, особенно старое, запущенное кладбище, но это производило тягостно мрачное впечатление из-за того, что не было на нем того покоя и уважения, которые полагаются усопшим, — недавно поваленные памятники, разбитые надгробья, антисемитские надписи, фашистская свастика. «Чтоб тебе было ясно, что я написал не только о прошлом», — сказал Некрасов. Оттуда мы пошли в Бабий Яр. То, что когда-то было оврагом, оказалось довольно большим искусственным озером. Дело было уже к вечеру, темнело, кроме нас и стоявших в отдалении двух стариков, никого не было. «Утром и днем здесь было много народу, — заметил Некрасов и объяснил: — В эти дни шли первые расстрелы». Мы молча постояли, я сделал несколько снимков — они у меня есть. Я плохой фотограф, и снимки не передают того тоскливого и горького чувства, которое вызывала эта картина противоестественного, намеренного забвения.

Поехали к Некрасову, я прочел написанную им заметку — три машинописных страницы. В ней было выражено то чувство, с каким я только что — полтора часа назад — смотрел на место, где в сорок первом разыгралась страшная трагедия:

«Прошло восемнадцать лет…

И вот я стою на том месте, где в сентябре сорок первого зверски было уничтожено сто тысяч советских людей, стою над Бабьим Яром. Тишина. Пустота. По ту сторону оврага строятся какие-то дома. На дне оврага вода. Откуда она?

По склону оврага, продираясь сквозь кусты, поднимаются старик и старуха. Что они здесь делают? У них погиб здесь сын. Они пришли к нему… У меня тоже погиб здесь друг. В Киеве нет человека, у которого бы здесь, в Бабьем Яру, не покоился бы (нет, тут другое слово нужно) отец или сын, родственник, друг, знакомый…

Сейчас в Архитектурном управлении города Киева мне сообщили, что Бабий Яр предполагается „залить“ (вот откуда вода!), иными словами, засыпать, сровнять, а на его месте сделать сад, соорудить стадион…

Возможно ли это? Кому это могло прийти в голову — засыпать овраг глубиною в 30 метров и на месте величайшей трагедии резвиться и играть в футбол?

Нет, этого допустить нельзя!

Когда человек умирает, его хоронят, а на могиле его ставят памятник. Неужели же этой дани уважения не заслужили

тысяч киевлян, зверски расстрелянных в Бабьем Яру, на Сырце, в Дарнице, в Кирилловской больнице, в Лавре, на Лукьяновском кладбище?» По моей просьбе Некрасов в одном месте заменил «нам» на «мне» — вся заметка была написана от первого лица. Затем мы вместе ломали голову над названием, перебрали несколько, пока не остановились на «Почему это не сделано…». На полях я записал источник цитаты: из сообщения Чрезвычайной государственной комиссии, включенного в материалы Нюрнбергского процесса (каким-то чудом рукопись оказалась в моих бумагах и сохранилась).

И тут Некрасов сказал: «Слушай, если удастся это напечатать, то я очень хочу, чтобы 10 октября. И ты должен сделать для этого всё возможное». — «Я постараюсь. Может быть, удастся напечатать даже на номер раньше», — ответил я. «Нет, именно 10 октября», — стал настаивать Некрасов. «Но почему, Вика, какая разница для такого материала — двумя днями раньше или позже?» — недоумевал я. «Потому что у евреев это день поминовения — ионкипур». И, прочитав на моем лице, что этот довод не кажется мне столь неотразимым, как ему, он очень на меня разозлился — пожалуй, единственный раз за долгие годы наших отношений. Я понял, что если заметку не опубликуют десятого, он будет сильно огорчен. Очень уж важным нравственно ему казалось то, что он задумал. К счастью, всё получилось, как он хотел.

…Мы отправились на какую-то выставку в Манеже. Там была выставлена и картина «Бабий Яр». Задержались у нее. «Интересно, что говорят?» — сказал Некрасов. Тут к картине подошла экскурсия, и экскурсовод бойко и уверенно начала нести какую-то ахинею: «Бабий Яр — это овраг под Киевом, где гитлеровцы в годы Великой Отечественной войны расстреляли группу советских женщин». Она, видимо, считала, что поэтому овраг назвали Бабьим. Прервав ее, Некрасов, едва сдерживая себя, сначала сообщил ей всё, что думает о ее профессиональной подготовке, а потом начал объяснять, что происходило в Бабьем Яре. Экскурсовод, однако, была не из тех, кто может позволить отодвинуть себя в сторону. Назревал скандал. С трудом я увел оттуда чертыхающегося Некрасова, он всё порывался вернуться, считая, что сказал ей еще не всё, что надо было сказать…

И еще о Бабьем Яре. В Киеве Некрасов как-то повел нас на выставку проектов памятника в Бабьем Яре (она была почему-то закрытая, и без него мы на нее, конечно, не попали бы). «Ну, что тебе больше всего понравилось?» — спросил он. Я показал на памятник (сейчас уже не помню, кто был его автором): бетонная дорога, в которую вдавлены следы от колючей проволоки, в конце

дорога вздымается вверх как от взрыва — символ страшного пути, ведущего в никуда. «А как ты думаешь, какой памятник поставят?» Я указал на какой-то мало выразительный, вполне традиционный памятник — из тех, что как две капли воды похожи на многие другие, уже установленные: «Наверное, что-нибудь в таком роде. Привычно». — «Наивняк, — воскликнул Некрасов, — какой наивняк! Это было бы ничего. Поставят самый бездарный — из тех, что даже не попали на эту выставку, не пропустила конкурсная комиссия». Но все-таки он тогда верил, что памятник — пусть плохой — скоро поставят. Увы, до этого еще было очень далеко…

До своего последнего часа Некрасов жил нашими делами. Впрочем, почему нашими — это были и его кровные дела. Казалось бы, он, с детства знавший французский, так просто устанавливавший контакт с людьми, легко войдет, вольется в другую, новую, жизнь, а наша отодвинется, затмится свежими, более близкими впечатлениями. Но этого не произошло. Мне рассказывали, что он, так любивший зарубежное кино, готовый отправиться в любое время дня и ночи к черту на кулички, чтобы посмотреть новую картину, даже к нему утратил интерес. А наши газеты и журналы читал, кажется, больше и внимательнее, чем до того, как оказался в эмиграции. Иногда, верный себе, шутил: «Замечательное лекарство от ностальгии!»

В 1987 году я получил по почте газетную вырезку (ни названия эмигрантской газеты, ни даты на ней не было) — это была небольшая заметка Некрасова, отклик на мою статью в «Новом мире». В ней были добрые слова обо мне — надо ли говорить, как они были мне приятны. Но главным чувством, которое вызвали у меня прочитанные строки, была горечь: он укорял всех нас, пишущих о Великой Отечественной войне, за то, что мы молчим о войне в Афганистане. И он был прав. Ведь многие из нас с самого начала понимали, что это безумие, что за эту войну дорого придется расплачиваться народу и стране, но говорили об этом только между собой — в компании верных друзей. Я не пытался искать себе оправдания: мол, хорошо ему писать в Париже, у нас всё равно никто бы этого не напечатал. У него было право упрекать нас, он бы на нашем месте, если бы не напечатали, всё равно не промолчал бы, где-нибудь да выступил, как тогда, в двадцатипятилетнюю годовщину расстрела в Бабьем Яре. Не зря в стихотворении, посвященном памяти Некрасова, его старый друг Владимир Корнилов писал:

Вика, Вика, честь и совесть
Послелагерной поры.

Я читал больно меня ранящие строки Некрасова не с обидой, а с чувством восхищения им — он всю жизнь был верен себе, исповедуемым простым и высоким нравственным принципам — и тогда, когда воевал на Мамаевом кургане, где на квадратный метр земли — после войны это подсчитали — пришлось от 500 до 1200 осколков и пуль, и когда потом писал правду об этих боях в Сталинграде, и тогда, когда как свободный человек рассказывал о своих зарубежных впечатлениях, и тогда, когда не отступил, ничего не уступил, как на него ни наваливались литературное и партийное начальство, пресса и КГБ, и теперь, когда писал о войне в Афганистане.

Эта, одна из последних, неизвестная нашим читателям, статья Некрасова содержит, мне кажется, непреходящий урок и писательского, и человеческого поведения. Именно поэтому приведу её полностью, оговорив лишь, что сам я не оцениваю себя так высоко, как аттестует меня Некрасов.

Об «окопной правде» и прочем

Л. Лазарев — один из лучших, серьезнейших советских критиков. Я его давно знаю и всё, им написанное, всегда читаю с большим интересом. Умный, честный, пишет не о пустяках, а о том, что действительно задевает его.

И вот прочитал в 11-м номере «Нового мира» за этот год его статью «На всю оставшуюся жизнь» — заметка о повести Василя Быкова «Карьер» и о некоторых проблемах литературы, посвященной Великой Отечественной войне.

Начинается статья со слов: «Опять Василь Быков рассказывает о войне…» И в другом месте: «…у читателей и зрителей оскомина: — А, про войну… Не буду, сыт по горло…» Объясняет это Л. Лазарев засильем в нашей так называемой «военно-патриотической» литературе лжи, фальши, полуправды, трескуче-барабанного боя. И тут же вспоминает, как трудно было пробиться в литературу молодым представителям «окопной правды» — Бондареву, Бакланову, Быкову, К. Воробьеву. А многие при жизни так и не пробились. Как, например, Конст. Левин, стихи которого напечатаны только сейчас в «Дружбе народов». Л. Лазареву

посчастливилось слышать его стихи давным-давно, в исполнении самого автора, и он запомнил их навсегда. Не могу не привести их:

Нас хоронила артиллерия.
Сначала нас она убила.
Но, не гнушаясь лицемерием,
Теперь клялась, что нас любила.

Она выламывалась жерлами,
Но мы не верили ей дружно
Всеми обрубленными нервами
В натруженных руках медслужбы.

Мы доверяли только морфию,
По самой крайней мере — брому,
А те из нас, что были мертвыми,
Земле и никому другому.

Тут всё еще ползут, минируют
И принимают контрудары,
А там уже иллюминируют,
Набрасывают мемуары.

А там, вдали от зоны гибельной,
Циклюют и вощат паркеты.
Большой театр квадригой вздыбленной
Следит салютную ракету.

Напечатано ли и это стихотворение в «Дружбе народов», не знаю, но Лазарев в своей статье обнародовал его. Спасибо ему…

Я, к сожалению или не к сожалению, отношусь к тем читателям, которые не хотят уже читать о войне. Той, нашей. Один Вячеслав Кондратьев всколыхнул меня своим «Сашкой», опубликованным, кстати, через сорок лет после того, как автор кончил воевать.

Так почему же мне не хочется читать о войне, той самой, в которой сам принимал участие и даже писал о ней? По одной простой причине — *потому что идёт другая война*. Вот уже семь лет!

Я не задаю вопроса, почему В. Быков до сих пор пишет о той войне, которая была одним из главных событий нашей жизни — и его, и моей в частности. Не

задаю и вопроса, почему тема эта до сих пор волнует критика Л. Лазарева. Это их право. Но, читая с интересом и того, и другого и радуясь, что хоть сейчас смог прочитать стихи К. Левина, я ужасаюсь тому, что о льющейся сейчас крови ни один из тех писателей, которых я уважаю, не пишет.

Война в Афганистане не прекращается, и конца ей не видно. Сколько погибло там наших ребят, сколько уничтожено нашими бомбами кишлаков и их жителей, никто толком не знает. Более четверти населения — почти пять миллионов — бежало в соседние Пакистан и Иран. И правду об этой войне мы узнаем только от нескольких бежавших солдат да тех врачей с Запада, которые отваживаются помогать афганскому народу. Рискуя жизнью — честь им и хвала. Но ни иностранных журналистов, ни специальные комиссии ООН в страну не допускают. Ну, а советская пишущая братия? Журналисты — те, для которых слово «стыд» ничего не значит, — скажем просто, врут! Беззастенчиво врут, и только с того момента, как велели им врать, — первые годы о войне этой писать было просто запрещено. И что самое страшное, ложь эта произносится не сквозь стиснутые зубы, а с циничной «искренностью», с восторгами по поводу скромных и застенчивых, для которых дружба в бою — самое святое дело, а помощь братскому народу — еще святее.

Нет-нет, а сквозь этот барабанный бой доносились иногда какие-то тревожные нотки о так называемых «афганцах» — так они себя называют, — которые, вернувшись домой, по ночам собираются и тренируются, чтобы бороться со злом — спекулянтами и жуликами — у себя на родине. Правда, промелькнуло это на страницах «Комсомолки» и вдруг исчезло. На смену пришли описания каких-то слётов бывших «афганцев» в городе Кирове, где их самые красивые девушки угощали тортами и мороженым, а они клялись, что по-прежнему будут бороться за правду — где и как, не совсем ясно…

Статья Лазарева заканчивается произнесенными где-то словами Василя Быкова:

«От умения жить достойно очень многое зависит в наше сложное, тревожное время. В конечном итоге, именно наукой жить достойно определяется сохранение жизни на Земле. Жить по совести нелегко. Но человек может быть человеком, и род человеческий может

выжить только при условии, что совесть людская окажется на высоте…»

Как хорошо сказано…

Да, жить по совести нелегко… А если к тому же запрещено? А может быть, даже и наказывается? С каким трудом пробивалась та самая, то пацифистская, то ремарковская, «окопная правда» про Великую нашу Отечественную войну. А про эту — и не великую, и не отечественную, а позорную — кто и когда расскажет? В ней-то теперь и окопов как таковых нет, а есть вертолеты, и непонятно, кто враг и кого от кого защищаешь… И защищаешь ли… Может, просто убиваешь. И сам гибнешь. Неизвестно, за какую «правду». А может быть, просто за Зло.

Бог ты мой, как трудно быть русским писателем. Как трудно жить по совести…

Виктор Некрасов

15 декабря 1986.

Разве и не о своей собственной судьбе слова, которыми заканчивается эта статья Виктора Некрасова, — хочу повторить их: «Бог ты мой, как трудно быть русским писателем. Как трудно жить по совести…»

Москва, 1989.

Лунгин Семён
Тени на асфальте

Все долгие последние годы моей жизни, и особенно теперь, я постоянно перебираю в памяти всё, что связано с Виктором Некрасовым, с первых мгновений знакомства, с самого начала нашей редкостной дружбы, как говаривали в доброе старое время, дружбы домами. Я знал его большую половину моей жизни. Наш дом на Калининском стал очень скоро его московским домом. А мы гостевали у них в пассаже, в Киеве, а потом, после его изгнания, в Париже, на «Пляс Кеннеди», 3, главным образом, когда его домочадцы бывали в отъезде.

Поэтому пусть никого не удивляет, что я пишу эту историю, употребляя прямую речь, словно бы сочиняя. Мы с Некрасовым столько раз проговаривали ее, как всегда, перебивая друг друга, проигрывали, развлекая наших гостей, а мы очень любили

изображать разные сценки и разных людей, и друзья наши могут подтвердить, что я верен здесь не только духу событий, но и их букве.

Нас очень всегда радовал этот наш маленький «театрик для себя», и когда мы валяли дурака, пародируя что-то, и когда в трусах, перед большим зеркалом у нас в передней, напрягали «ну так, не самые могучие мышцы» и втягивали животы, изображая стройных циркачей-силачей. Господи, до чего же нам бывало весело вдвоем и безо всяких «ста грамм»!..

Все наши совместные истории от многих повторений становились своего рода «устными рассказами», и сейчас, в горькое время сиротства, когда он покинул нас навсегда, я решил вспомнить, как произошло наше знакомство. Всё, что тут написано, — правда, и если есть погрешности, то только в том или другом выражении, но не в их смысле.

Итак, мы познакомились в сорок девятом.

По стране, набирая силу, гулял «космополитизм». И меня этот морок тоже захлестнул своей удавкой. В те годы я преподавал в МГТУ — городском театральном училище, ставил первое действие «Снегурочки» с третьекурсниками. Получалось довольно мило. Однако после зимнего просмотра на педсовете один народный артист по фамилии Свободин, числившийся тогда во МХАТе, сказал — я очень хорошо запомнил не только его слова, но и интонацию, с которой они были произнесены, и «охотнорядское» выражение его лица: «Весьма сомнительно, что педагог… как его… Луг… нин, что ли, сможет научить наших студентов вольному русскому стиху Островского…» И никто из моих коллег, тоже преподававших мастерство актера, представьте себе, ни единый человек из тех, кто видел мои работы уже не первый год и нахваливал за них и меня, и моих ребят, не возмутился, а все прочно стиснули зубы и принялись изучать свои пальцы. А ведь мы должны были постепенно перейти от первого действия ко второму и далее сыграть всю пьесу как дипломный спектакль. Увы, смолчал и я.

В моей жизни было два явных случая, когда я так постыдно промолчал, что до сих пор содрогаюсь от гнева на себя и презрения к себе. Вот этот — один из них. Первый. А второй, если хотите, — когда моего старшего сына выгоняли из школы. Из седьмого класса. За то, что он развесил на доске и по стенам превосходные репродукции импрессионистов. Растлевал детей буржуазным влиянием. А это было в то время более чем серьезное обвинение. Школа-то привилегированная, с французским языком, тогда еще единственная в Москве. Директор просил меня

сдерживаться и молчать. И всё будет в порядке… А на кой ляд мне нужен был их «порядок»?.. «Порядок», который я ненавидел. Ух, как они мучили мальчишку… Как эти отвратительные упыри, выхваляясь друг перед другом, клочьями рвали с него кожу… А сын глядел на меня испуганно и не понимал, что со мной случилось, почему я молчу, словно завороженный, и не защищаю его, когда надо было «психануть»… Наверное, он и до сих пор этого не понимает… Вот — второй случай. А написал я о нем только потому, чтобы сбросить с души тяжкий груз. Да вряд ли удалось…

Итак, с Некрасовым мы познакомились весной 1949 года…

А черная волна накатывала все круче, все шире разливалась и наконец добралась до театра Станиславского, где я тогда работал.

Как-то меня вызвали в директорский кабинет и объявили (я ждал этого и всё думал, как они мне скажут, а всё вышло очень просто), что отныне должность моя упраздняется и я могу убираться на все четыре стороны. И дело тут исключительно в простом сокращении штатов, и ни о чем другом я, естественно, не должен думать. Но если я хочу дожидаться лучших времен, хотя они едва ли предвидятся, то меня хоть сейчас могут оформить рабочим сцены, причем не формально, а по существу — устанавливать декорации. Правда, в свободные часы, сверх того, если я готов заниматься текущими делами — вводить новых исполнителей на роли, следить за состоянием спектаклей и прочее, — то в такой подсобной режиссуре мне отказа не будет, конечно, не афишируя это и без дополнительной оплаты. Короче, в профессиональном значении жизнь моя становилась вполне бессмысленной.

Вот как раз в эти-то дни я и познакомился с Виктором Платоновичем…

Однажды в расписании объявили, что тогда-то, с 15 до 17.30, состоится читка новой пьесы «Опасный путь» лауреата Сталинской премии Виктора Некрасова. Читает автор. Это было новое имя. В среде драматургов я о нем еще не слышал и ничего из созданного им не читал.

Мы закончили репетицию ровно в три и поднялись в верхнее фойе. Там уже собралось много народа. Мебельщики поспешно расставляли стулья, из разных спектаклей сдвигали банкетки. Скоро мы все расселись, еще переговариваясь, но постепенно затихая, готовясь слушать.

Все с любопытством поглядывали на автора, очень (во всяком случае, на первый взгляд) моложавого человека, который в это время как раз снимал пиджачок и аккуратно умащивал его на спинке стула.

Из актерских негромких разговоров я узнал, что кое-кто из старых студийцев, еще довоенного «разлива», его помнит. Он вроде бы приходил на Леонтьевский прослушиваться к Станиславскому, но не прошел. И еще говорили, что он будто бы последний, кого Константин Сергеевич экзаменовал лично.

«Старики» стали ему кивать, как знакомому. Он отвечал на кивки, словно тоже кого-то вспоминая. Во всяком случае, в его колючих глазах вдруг вспыхивал какой-то «узнавательный» огонек.

— Вы сами объявите, — осведомилась директриса и, справившись по бумажке, добавила: — Виктор Платонович?

— Сам… Спасибо, сам, — весьма деликатно, но определенно сказал он, расстегивая третью пуговку клетчатой ковбойки. И теперь его загорелая грудь была видна чуть ли не до пупа. Чуть-чуть присвистывая на «с», он стал говорить о том, что пьеса эта лежала в литчасти МХАТа лет сто, если не больше. Ее улучшали, шлифовали, насиловали все, кому не лень, и довели, видимо, — тут он криво усмехнулся в свои тоненькие пижонские усики, — вот до этого совершенства, — и он поднял папку. Короче, того первого моего варианта, который хотелось бы мне вам прочитать, здесь нет, есть, правда, дома, в Киеве, но кто же знал?.. Значит, либо отложить, либо читать то, что есть, но за этот текст автор ответа не несет. Как обществу, — он так и сказал: «обществу», — будет угодно…

Обществу было угодно слушать, все сидящие загудели.

А я все еще стоял. Он тоже еще не сел. И помнится, что мы зафиксировали друг друга этакими нейтральными взглядами и уселись каждый на свой стул.

— Во-первых, — как-то торопливо сказал Некрасов и пожал плечами, — тут почему-то написано — «Опасный путь», а не «Испытание», как было всегда… Видите, мои испытанья уже начались. Ладно, пошли…

И он принялся читать. Не спеша. Внятно. Вроде бы поставленным голосом, во всяком случае, громче, нежели говорил. Он старательно играл за всех действующих лиц, менял голос, акцентировал наиболее важные места. Он читал, часто отрывая глаза от строчек, и проверял, какое впечатление производит его чтение. Я понимал, что этими нехитрыми уловками он рассчитывает вернуть тексту его первоначальный смысл, интонацию и колорит. Выглядел этот «драмкружок» довольно обаятельно, что вполне соответствовало некрасовскому облику, особенно в те миги, когда его брови вдруг лезли на лоб и глаза выражали прямо детское удивление по поводу очередной нелепости в прочитанной им фразе. Как он огорчился, хоть вида и

не показывал!.. Но я отчетливо слышал, как скрежещет его душа от этих неожиданных и незаслуженных обид. Я, пожалуй, никогда потом не видел у него такого расстроенного взгляда… У него всегда хватало юмора одолевать всякую гадость.

— Почему ты не бросил читать? — спросил я его уже много лет спустя.

— А! — с нарочитой киевской ужимкой выдохнул Некрасов и махнул рукой.

…Наконец добрался он до конца пьесы, с чувством, близким к отвращению, захлопнул папку и тщательно завязал тесемки. Раздались традиционные бессмысленные аплодисменты, на которые появилась директриса.

— Ну, кто желает выступить? — бодро воскликнула она на ходу.

Началась обычная вялая толковня со всеми полагающимися словесными атрибутами: «Новая тема… Явление, схваченное врасплох… В самом зародыше… А что, так действительно было?.. Появление нового героя… Какой же он, герой?.. Обогащение драматургического фона… Эгоизм и стяжательство как побочный результат войны… Я не думаю, что такое бывает… Нет, бывает!.. Бывает…» Ну и так далее. Дошла очередь до меня.

Мне пьеса не понравилась. Мне показалось, что всё в ней очень задано, что заранее предвидится конец, что, кроме постановки вопроса, в ней нет ничего неожиданного, но что этого и самого по себе было бы немало, если бы… Короче, пьеса, на мой взгляд, требовала усилий не столько редакционных, сколько композиционных, конструктивных… Не пойму, но что-то меня злило в этой пьесе, и если бы я не думал, что карьера рабочего сцены от меня все-таки не уйдет даже в самые распрокосмополитические времена, то я бы и не стал выступать, да и автор, как теперь говорят, мне не показался, что-то снобистское слышалось в его подчеркнуто киевской манере говорить, да к тому же расстегнутая до ремня рубаха и густая гривка черных волос, как бы накинутая на покатый морщинистый лоб, тоже не радовали глаз. Эдакий перезрелый пацан с днепровского пляжа! Всё в нём было не по мне, даже то, что под закатанным по локоть рукавом виднелся глубокий рубец — след от, видимо, ужасного ранения… Вроде бы в доказательство чего-то, что и без того известно. В общем, не понравился он, и всё тут.

Я поднялся и сказал, что мне, к сожалению, не близок такой тип драматургии, что я предпочитаю пьесы, где меньше «быта» и «текущих» разговоров, и что мне всегда бывает неприятно подглядывать за жизнью персонажей, так сказать, сквозь замочную скважину, — эту фразу он никогда не мог мне

простить…

Его лицо, и так темное от загара, потемнело еще больше, стало злым. Кожа на скулах натянулась, но он ничего не сказал в ответ, только поглядел на меня с неприязнью, учтиво поклонился всем, благодаря за обсуждение, и ушел в сопровождении директрисы.

На том, собственно, и могла бы закончиться эта история, если бы не одно абсолютно непредвиденное обстоятельство.

Через какое-то время меня вызвали в дирекцию и сказали, что возникла необходимость чуть ли не с завтрашнего дня начать работу с актерами над новой пьесой «Опасный путь». Подписывать афишу будет тогдашний начальник Управления театров, он же и выпустит спектакль как постановщик, а всю предварительную работу надлежит проделать мне.

— А монтировочная часть?

— Одно другого не касается, — был ответ.

— Но как же?

— Очень просто, — произнесла директриса жестко. — Не хотите, как хотите. Назначим другого, кого-нибудь из артистов, только и всего.

— Ясно, — сказал я. — А то, что я так поливал пьесу?..

— Значит, вы знаете ее изъяны и поможете их исправить.

Как волк в загоне: куда ни повернись — смерть!

— Постановщиком, — продолжала она, — наставником нашим будет имярек, сам начальник Управления. Вашу кандидатуру мы уже обговорили с ним, и он дал согласие… Мало ли как потом повернутся дела…

О, воистину неисповедимы начальственные пути!.. Откровенно говоря, я тогда даже не мог сосредоточиться, чтобы понять, во благо мне всё это или во зло. Ясно было, что меня еще на какое-то время оставляют в театре, и я согласился.

Много лет спустя, когда я уже стал профессиональным сценаристом, я в студийном коридоре нежданно-негаданно столкнулся нос к носу с моим тогдашним наставником. Слухи о его крушении уже давно долетели до меня, и я знал, что жизнь его покатилась по печальной колее. В конце концов его наняли консультантом в студийный парткабинет. Выглядел он удручающе изможденным. Видно, какая-то злобная хворь точила его… С этих пор мы частенько встречались на «Мосфильме», и всякий раз он кидался ко мне как к родному, чуть ли не с объятиями, тормошил меня, теребил, всячески выказывая свое расположение. «А помнишь?.. А помнишь?..» — восклицал он, припоминая какую-нибудь театральную мелочь тех лет…

Уж мне-то не помнить?.. Я по минутам помнил тот каннибальский, звериный пятидесятый год… А вот помнил ли он, помнил ли мой наставник что-либо, кроме всех этих пустяков?.. Что таилось за его ставшими такими плывущими и тусклыми глазами?..

— Приходи ко мне в кабинет, — десятилетиями выработанным тоном говорил он, забывая при этом добавлять «парт» — парткабинет.

Да, знаменитая притча о колесе не потеряла смысла и в наше просвещенное время. Вспоминаете, что ответил победителю-фараону плененный царь соседней земли, которого тот, для пущего уничижения, еще и впряг в свою колесницу вместо коня?

— О чем ты задумался? — спросил царя фараон.

— О колесе, — ответил пленник. — Та его часть, что сверкает на солнце, вскоре утонет в дорожной грязи, а та, что сейчас погружена в грязь, — снова засверкает на солнце.

А после того разговора в дирекции был вывешен приказ о начале моей работы над пьесой лауреата Сталинской премии В. Некрасова «Опасный путь». Постановщик — имярек. Режиссер — я.

Я пришел домой и в тот же вечер написал в Киев открытку такого содержания:

«Глубокоуважаемый Виктор Платонович!

Волею случая я назначен режиссером на Вашу пьесу… Благоволите сообщить, когда Вы предполагаете приехать в Москву и уделить мне некоторое время для работы над текстом. С глубоким уважением» и т. д.

Мне кажется, что через неделю, не больше, я вынул из почтового ящика открытку с киевским штампом. Я ее хорошо запомнил — написанную крупными, круглыми буквами, которые я потом узнавал с расстояния в несколько метров:

«Глубокоуважаемый Семен Львович!

Я приеду в Москву такого-то и буду рад встрече с Вами. Но только не для работы над текстом, который мне остое… Бог с ним! Может, хватит? Уже поработали над ним всласть… С глубоким уважением» и т. д.

Ну, подумал я, это будет трудный случай. Но хоть его открытка и обидно-откровенно пародировала мою, которая, к слову сказать, заслуживала этого, она была информативна, и, главное, четко определяла наши позиции. Ладно, поглядим…

Как-то рано утром мне позвонили из театра и сказали, что автор приехал и бродит по фойе. Репетиции еще не начались, театр был пуст, только секретарша сидела уже на месте. Я

помчался на Сретенку и заметался по лестницам — театр же в подвальном помещении — бывшая студия Завадского, Каверина… Моего автора нигде не было.

— Он, небось, во дворе, — сказал мне дежурный пожарный.

Я кинулся во двор.

Некрасов и вправду стоял на залитом асфальтом дворе и курил папиросу, разглядывая отвесную стену многоэтажного дома над театром.

— Здравствуйте, Виктор Платонович, — сказал я, задыхаясь от бега.

— Здравствуйте, Семен Львович, — сказал он, затянувшись «Беломором».

Он цепко всматривался и меня, потом ухмыльнулся:

— Значит, автор подглядывал жизнь в замочную скважину? А как же увидеть настоящую жизнь, если ее вам не показывают? А, хлопчик?

И что-то такое презрительное было в этом «хлопчике». Что-то такое неприязненное… Я никогда потом не слышал, чтобы он к кому-нибудь так обращался. И, откровенно говоря, не мог простить ему этого «хлопчика».

— Пойдемте, — указал я ему на ворота, ведущие на сцену.

Мы прошли через сцену. Посредине горела дежурная лампочка на штативе… В щели дверей сочился в партер тускло-зеленоватый, профильтрованный тьмой фойе и коридоров, откуда-то сверху проникший в театр уличный свет. Подвальный дух стоял в плохо проветриваемом низком зальчике.

— Это что, — спросил Некрасов, спрыгивая со сцены в проход, — здесь начинал Завадский? Я же видел до войны тут… Ну, это знаменитое, с Мордвиновым… Тьфу, черт, как его?.. Шоу!

— Да, — сказал я, — «Ученик дьявола».

— Не знаю, — вдруг продолжил он, — понравился бы мне сейчас этот «Ученик дьявола». Сомнительно…

— Почему? — спросил я. — Говорят, был блестящий, настоящий театр.

— Игры было много… — Он подумал и добавил: — Всякой «фуйни-муйни»…

Вот так у нас и начался разговор, как теперь говорят, «по делу»…

А тем временем мы дошли до фойе, в котором обычно репетировали. Оно было наполнено серым пыльным воздухом, и пылинки явственно стояли в плоских зеленоватых лучах, перерезающих густой, неподвижный воздух.

— Мы что, здесь будем говорить? — спросил Некрасов и почесался.

— Можно зажечь свет. Или пойдемте в дирекцию. Или туда, где вы читали пьесу…

— Но там же проходной двор. Может быть, пойдем куда-нибудь? — взглянул он на меня хитрым глазом.

— А куда?

— На Рю де ля Пе.

— Куда? — переспросил я.

— Моя машинистка там живет и пускает нас с мамой, когда мы приезжаем в Москву. Там и переулок тихий. Плотников.

— На Арбате? Где диетический магазин? Так я же живу в пяти минутах ходьбы. Угол улицы Чайковского и Кутузовского проспекта.

— Это где курортология?

— Всё знает! — засмеялся я. — Как раз напротив.

— Туда моих друзей пацан в садик ходит… Пошли?..

— Ко мне? — спросил я, не уверенный, что у нас дома всё в порядке.

— А куда же?

И мы пошли.

В те годы многое случалось гораздо проще, чем теперь. А может быть, так кажется? Нет, на самом деле. Ну, скажем, пивные. Они были прямо-таки за каждым углом и безо всякой толчеи и скандалов. «Полуторка с прицепом» — это из тех времен, а означало, для несведущих, сто пятьдесят граммов — полуторка и кружка пива — прицеп. Мы уже прошли было мимо одной такой «забегаловки», как Виктор Платонович остановился, весьма лукаво, иначе не назовешь, поглядел на меня — о, этот взгляд сопровождал меня все почти сорок лет нашей службы! — и кивнул в сторону пивнушки. Я повернулся кру-гом! и послушно пошел вслед за ним.

Сказочный запах разливного московского пива, который я уже так долго не вдыхал. Мы взяли всего по пятьдесят граммов и по кружечке.

— Будацкая была идейка разговаривать у вашей директорши, — сказал он. — Только этого и хотелось! Скажите, вам всегда приходят в голову такие правильные мысли? — Он взял граненый стаканчик. — Ну, давайте знакомиться, — сказал он, — Вика…

— Сима, — сказал я.

— Это что же, от Симон?

— Нет, Семён… Моя нянька была помешана на Серафиме Саровском… И так все привыкли… Скажите, как вы вытерпели всю эту мхатовскую волынку?

— Во-первых, из почтения. По этим коридорам… На

стульях… Объектив фотоаппарата глядел на того, кого снимал, — вот его портрет… Шутка сказать!.. Потом Павел Александрович Марков… Любезные разговоры за жизнь… Не угодно ли стаканчик чайку?.. Едал я этот чаёк!.. Борис Ильич Вершилов: я обнаружил вас в «окопах Сталинграда», как в свое время «Дни Турбиных» — в «Белой гвардии»… солидно… Всё неспешно… А во-вторых — гордыня! Гордыня одолела — лучший театр должен ставить лучшего писателя… А как же! Разве не так?.. Всем ли вы довольны?.. Всё ли у вас в порядке?.. Сердечный привет вашим домашним… Надеюсь, все в добром здравии? Мы вам тут же пошлем телеграмму…

Изображая мхатовских мастеров, он изгибался в талии, шаркал ножкой, говорил медовым голосом, всё это проделывал очень смешно, не обращая внимания, что на него смотрят стоящие поблизости и хохочут так же, как и я. А я так просто заходился от смеха. Это было как раз то самое, что я любил, да и теперь люблю больше всего на свете, — такая роскошная импровизация! Мы допили пиво и двинулись дальше, к Сретенским воротам, чтобы потом, пройдя по Лубянке, войти в метро «Дзержинская» и ехать к нам. Но тут, как раз за углом какого-то переулка, появилась новая «забегаловка» — дощатое строение, по периметру стен которого изнутри шла полочка для кружек, полных и пустых. Мы взяли по кружечке и только устроились, стоя друг против друга, подняли их к губам, как вдруг некто, тоже стоящий с кружкой в руке и, как я заметил, не спускавший с Некрасова глаз, тронул меня за плечо.

— Отойдем, кореш, — сказал он тихо и отвел меня на несколько шагов в сторону. — Это писатель с тобой?

Я кивнул.

— Который «В окопах Сталинграда»?

Я снова кивнул. И спросил:

— А откуда вы его знаете?

— В газете снимок видел. Я его по усам узнал.

— По усам только товарища Сталина узнают, — сказал Некрасов, подходя к нам. — Не помешаю?

— Вот товарищ узнал вас по газете, — сказал я.

— Где воевал? — деловито спросил Некрасов.

— Третий Украинский, — ответил незнакомец. — Очень рад, что тебя увидел. Ну, я пошел… — заторопился он. — Желаю успехов… Слушай, а капитан этот… как его?

— Керженцев?

— Это ты?

— Более или менее.

— Я так и подумал. Жалко, что не вместе воевали.

— Но ты же на Третьем Украинском.

— Вот я и говорю — жалко. Ну, здравия желаю…

— Э-э-э! — воскликнул Некрасов. — Куда? А свои сто грамм? Пойди возьми, — и протянул мне десятку.

Он впервые обратился ко мне на «ты».

— У меня есть.

— Делайте, что говорят, — приказал он непререкаемо.

— Так точно! — сказал я, подхватывая игру…

Когда я принес от стойки три граненых стакана, обхватив их двумя ладонями, и поставил на мокрую от пивной пены полку, они о чем-то увлеченно говорили.

— И у меня локтевой сустав разбит, — сказал новый знакомый. — Видишь, не сгибается. Кон-трак-тура. Мне было приказано разрабатывать, а я думаю: хрен с ней… — и он махнул сгибающейся левой рукой. — На мой век хватит. У меня же пулевое сквозное, в легком дырка.

— И зря… Я разрабатывал, — сказал Некрасов. — Мне велели делать мелкие-мелкие движения пальцами всё время, пока не сплю, делать мелкие движения… Вот я и стал писать, в госпитале, лежа, карандашом. Ну, давайте со знакомством. Ты кто? Майор?

— Капитан.

— И я капитан. Будь здоров, капитан. Я очень рад, что мы повстречались.

— Вы уж простите, что я в вашу компанию…

— Не свисти, капитан. Ну, давайте!..

Мы, запрокинув головы, выпили до дна. Потом он попрощался и ушел.

— Бывает же такое? — сказал Некрасов, он был явно доволен. — Слушайте, Сима, пошли еще в какую-нибудь тошниловку, вдруг еще кого-нибудь встретим…

Хотите верьте, хотите нет, но всё было так.

— Знаете, эта сцена — как из пьесы Арбузова, — сказал я.

— Это — жизнь, молодой человек, словно сквозь замочную скважину…

— Да будет вам, — сказал я, и мы вышли на улицу. — Забудьте.

Мы деловито шли по Лубянке, мимо «Стрелы» — закрытого распределителя НКВД, мимо Московского управления в прекрасном особняке за фигурным забором, хотели было свернуть на Кузнецкий, но двинулись к метро. «Детского мира» еще не было, был еще Лубянский пассаж и отличный ресторанчик в подвале, на углу Рождественки. Туда мы не пошли, а перебежали на другую сторону, к метро «Дзержинская». Там, в угловом доме, тогда был продовольственный магазин. Мы переглянулись и

вошли.

Боже, как иногда ярко запоминаются отдельные, вроде бы несущественные сценки многолетней давности! Я терпеть не могу словосочетания «как сейчас помню», но я действительно сейчас вспомнил, как он сказал: «Можно, я куплю пол-литра?» Как я полез в карман. Как он произнес: «Разрешите, я приду в ваш дом с бутылкой?» Как я в ответ сказал: «Тогда я куплю закуску». Как он кивнул и показал на окно: «Встречаемся тут…»

Мы вышли из магазина и двинулись к метро. Солнце било нам в спину, и на тротуаре четкими силуэтами чернели наши тени. Две, примерно одного роста. И я подумал: вот мы идем вдвоем, как шли, наверно, Станиславский и Немирович-Данченко, как раз оттуда, из «Славянского базара», после того исторического разговора… И так же их тени рисовались на тротуаре, только одна высокая, в шляпе, другая — сильно пониже, тоже в шляпе. А у нас не было шляп, и ветер, задувавший вдоль Никольской, вздыбливал наши волосы, и на черных тенях было видно, как поднимаются черные прядки…

Дома никого не было.

— Здорово, что мы пошли не на Рю де ля Пе, а сюда. Большая квартира, а там как-то всё давит, — сказал он.

Мы расставили бутылки, их оказалось две, я принес тарелки, разложили колбасу и свежий хлеб.

— Отличный батончик, — сказал он, помяв горбушку.

Откупорили одну.

Я достал из буфета хрустальные рюмки. Он звякнул одной о другую — дзы-нь!

— Льем в фамильные хрустали, — сказал он. — Ну, Сима, значит, какое-то время мы будем существовать если не вместе, то рядом. А?

— Да, — сказал я, — если только меня не выпрут до этого «какого-то времени».

И я рассказал ему про мои дела.

Он почернел, как тогда на обсуждении пьесы, после моего выступления.

— Ну, что за тра-та-та-та! — воскликнул он. — Что за мерзость!.. Евреев они не любят, сволочи! Что вы им все глаза мозолите? Давайте…

Мы выпили по первой. Потом я стал рассказывать ему про пьесу. Как, по-моему, надо ее ставить. Какое оформление. Что следовало бы уточнить, что убрать. Фантазия моя включилась, я почувствовал себя свободным, особенно подхлестнул меня удивленно-заинтересованный взгляд, которым он на меня смотрел. Я вспоминаю эти минуты как одни из счастливых в моей

жизни. Стали говорить о том, про что пьеса. И вдруг словно с цели сорвались и начали говорить, да что говорить — орать о нашей жизни, о том, что творится в стране… Мы кричали, не закрывая рта, перебивая друг друга, о том, как всё это ужасно и с евреями, и с немцами Поволжья, и с крымскими татарами, и про весь этот кровавый маразм, что творился вокруг. В Киеве какой-то инженер повесился от ужаса, что его сошлют на Колыму, и всю его семью с ним, и старую маму… «Откуда вы знаете?» — спросили его накануне смерти. «Ссылками всегда всё кончалось, — ответил он, — а сейчас ими начинается…»

— Где Короленко? — закричал вдруг Некрасов. — Где эти благородные русские интеллигенты, которые всегда говорили правду властям в глаза? Жалкие трусы, почему мы молчим? Неужели нас так запугали, что мы потеряли облик человеческий? Я смолчу, но мама моя не смолчит… Гады! Гады! — Он произносил «хады». — Вот уж правда: «Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин…» Неважно куда, лишь бы в бой… На ту еврейскую старуху, так на старуху — в бой! А несчастный инженер удавился… Какой позор!.. А ему, — он показал на меня, — эту долбанную «Снегурочку» не дали ставить!.. Тра-та-та-та!.. Вольный русский стих!.. Короленко на них нету!.. Деградация вонючая!.. Ну, японский бог, где Короленко?

В это время хлопнула входная дверь. Пришла Лиля. Она была на последнем месяце — носила Пашку — и с трудом таскала свое брюхо.

Мы уже начали вторую бутылку.

— Что вы орете, как полоумные? — сказала она.— На площадке всё слышно.

— Вот это моя жена, Лиля, — сказал я. — А это Виктор Платонович Некрасов.

Он поднял руку и помахал ей. Лиля тоже махнула ему рукой и ушла.

— Твоя самка на сносях? Ну, хохмачи, нашли время рожать…

И снова он разразился гневной речью, обкладывая всё и вся… Тут раздался тихий Лилин голос, она звала меня.

— Ты что, обезумел? — сильно волнуясь, сказала она. — А если это всё слышно? Если они подслушивают? Честное слово, это похоже на провокацию…

— Прекрати, — сказал я. — Это подтекст пьесы. Пойдем туда.

Я взял Лилю за руку и вывел ее в столовую.

Некрасов вроде бы разом отрезвел. Он улыбнулся и сказал тихо:

— Ваш муж гениальный режиссер!.. Он рассказывал мне, как надо ставить мое произведение. Лучше и не мечтаю… Это будет

потрясающий спектакль. Выпейте глоточек… Нет, надо! Я лучше всех знаю, что надо, а что не надо… Пожалуйста, из моей рюмки, за нашу дружбу. Этот ваш носач мне очень нравится. Ну, чуть-чуть…

Лиля пригубила рюмку.

— И вы тоже… Такая пузатая, просто прелесть! Хорошая пара, честное благородное слово… Знаете, возьмите меня третьим…

И мы взяли.

Взяли на все годы и были с ним во всех местах на земле, где нам приходилось вместе бывать. Взяли, когда ему было тридцать восемь, и расстались, когда ему исполнилось семьдесят шесть. Нашему старшему сыну Павлику, оказавшемуся в те дни в Париже, пришлось видеться с ним, уже страшно изнуренным болезнью, и гулять вдвоем по Латинскому кварталу, и провожать его домой в Ванв, и сиживать в кафе, где они не спеша потягивали пиво из высоких стаканчиков — «деми», как их называют официанты. И Женя, младший наш сын, он и сейчас живет в Париже, постоянно виделся с ним и развлекал, как мог. Только трудно было развлечь дядю Вику в эти дни… Накануне ужасного конца Павлик позвонил в госпиталь, где Вика лежал, и сказал, что приедет его навестить.

— Не надо, Пашка, — сказал ему в трубку Некрасов. — Чего тебе тащиться сюда, в такую даль. Завтра меня обещали отпустить. Встретимся, как всегда, на втором этаже «Монпарнаса», выпьем «деми» и потреплемся. А сейчас даже разговор с тобой меня не веселит… Пока…

А завтра уже не было. Не было ни «деми», ни «своих ста грамм», не было чудесных разговоров о том о сём, не было его вопросов, что там у нас в Союзе, в Москве, у друзей, про которых он хотел знать всё.

Он умер под вечер, там же в больнице, где и лежал. Исхудавший, с пергаментной кожей, сильно поседевший и с изнуренным лицом, без желаний. Господи, как это выражение не шло его натуре. Он так хотел везде быть, всё успеть, всех увидеть, всё досмотреть до конца. И то, что у нас. И то, что у них…

Он похоронен в чужой могиле на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа. В чужой, потому что мест на этом русском кладбище уже давным-давно нет. И Галич лежит в чужой, и Тарковский — в чужой. Там под крестом маленькая табличка из белого мрамора, на которой золотом написано: «Виктор Платонович Некрасов», а ниже — по-французски: «Nekrasoff». Дорожки на кладбище засыпаны мелким гравием. Он хрустит под ногами даже в дождь. И когда кто-нибудь идет туда, то слышно.

Да, а спектакль «Опасный путь» прошел бесславно, хотя в нем играли хорошие артисты. Евгений Леонов, Петр Глебов, покойный Борис Балакин, Татьяна Краснушкина, Екатерина Соколова, тоже покойная, — все еще молодые, одержимые. К сожалению, наш постановщик опять перекореживал пьесу, сокращал «левой ногой», выбрасывал важнейшие куски. Эх, да что говорить!

Потом автора вызывали на приемку спектакля. Да что за приемка, когда сам начальник — постановщик! Хозяин — барин. Потом спектакль. Публика хлопала, вызывала артистов, но на душе была тоска. Автор кланялся и с артистами, и один. Наконец все разошлись и мы остались вдвоем, договорившись устроить банкет после следующего спектакля.

Мы вышли на улицу, дошли до телеграфа послать телеграмму в Киев, Зинаиде Николаевне.

— Что написать?

— Что всё в порядке.

— Я знаю, — сказал он.

И я через его плечо глядел, как он своими крупными, круглыми буквами выводит: «ПРЕМЬЕРА ПРОШЛА УСПЕХОМ».

Эта фраза стала у нас рабочим термином, и во всяких сомнительных ситуациях он, морщась, говорил:

— Ну что, премьера прошла успехом, а, падла?..

И хохотали.

Однажды в Париже, когда я в первый раз туда приехал, Некрасов повел меня в парк Монсури, где он малюткой гулял с мамой и тетей Соней.

И когда мы переходили улицу, чтобы войти в ворота парка, я увидел на асфальте наши две тени рядом, и по движениям плеч было ясно, что мы идем в ногу. Я помню наши тени на тропинках Коктебеля, на шоссе, когда мы гостили у Ивана Сергеевича Соколова-Микитова в Карачарово, в Киеве на Бабьем Яре, в Ленинграде, на Кировском у «Ленфильма», — я приезжал к нему на съемки «Солдат», — в Тулоне, когда выглядывало солнышко между короткими средиземноморскими ливнями… И я всё думаю, неужели земля не впитала в себя наши тени, неужели она не запомнила их навсегда?

Москва, 1989.

Мельник Валентина
Мать и сын

Я познакомилась с Виктором Платоновичем в 1948 году,

вскоре после того, как он стал лауреатом Сталинской премии. Кстати, когда об этом так или иначе упоминалось в разговоре, он обычно отмахивался и переводил беседу на другую тему.

Вспоминается он мне чаще всего в домашней обстановке, за вечерним чаем в трудные послевоенные годы. Большой столовый стол в просторной комнате, за которым, как правило, все места заняты. На нем — самовар, укрытый куклой-матрешкой, и незатейливые бутерброды. Чай пили вприкуску, с колотым, купленным на базаре пережаренным сахаром, который внешне напоминал щербет. Подобное угощение по тем временам было роскошью. Поэтому казалось, что семья Некрасовых имущая, — как-никак хозяин ведь лауреат самой престижной в стране премии. Но мало кто знал, что Виктор Платонович кому только не помогал! В доме неизменно кто-то проживал: приехав на несколько дней — то ли на консультацию в госпиталь, то ли для определения на учебу, — а кто и на довольно длительное время. Жили здесь студенты каких-то техникумов и вузов, друзья-фронтовики. Запомнился молоденький темноглазый солдат Ваня, которому Виктор Платонович прочил будущность художника, помог куда-то определиться на учебу. Этот студент долго квартировал у Некрасовых, так как на общежитие рассчитывать не мог. Помню еще аспирантку по фамилии Аль, с восточным типом лица и раскосыми пытливыми глазами. Она прожила у Некрасовых от первых дней аспирантуры до возвращения в Ленинград. Гости располагались на ночлег на нескольких раскладушках, которые на день исчезали где-то в чулане…

Всем хозяйством в доме распоряжалась пышная и малоподвижная Аня, женщина лет пятидесяти. Она давно жила в этом доме и считалась равноправным членом семьи. Всё, касавшееся ведения хозяйства, было всецело в ее руках. Поэтому неудивительно, что Виктор Платонович перед тем, как кого-то принять, заручался прежде всего поддержкой Ани. Она была словоохотлива, свою русскую речь пересыпала украинизмами, пословицами и поговорками.

Бывали случаи, что финансов на самый неприхотливый вечерний чай для гостей у хозяина не было, и нередко он сам не решался прибегать к помощи строгой «домоправительницы», предлагая обратиться к ней кому-нибудь из нас.

Деньги Аня хранила в самом обыкновенном, крепко завязанном женском чулке и прятала его где-то в недрах своей постели. Перед тем, как потянуться к заветной копилке, она несколько минут обязательно отчитывала своих хозяев: мол, без нее у них бы никогда ничего не было, так как они не представляют себе, как трудна жизнь, не знают толком, сколько

можно тратить. Но за всем этим чувствовались и любовь к своим нерасчетливым хозяевам, и гордость за собственное умение быть экономной.

В доме Некрасовых всегда было как-то светло и, казалось, празднично. При этом атмосфера приподнятости возникала непроизвольно — просто от доброжелательности и сердечности хозяев. Здесь велись далеко не праздные разговоры о дальнейшей доле каждого из нас, о судьбах страны, о новинках литературы и искусства.

Для меня, студентки, заканчивающей университет, Виктор Платонович был большим авторитетом. Я внимательно прислушивалась к его суждениям о смысле жизни, о роли человека на земле. На мой вопрос: почему, имея две профессии (Некрасов закончил Киевский инженерно-строительный, а затем театральное училище), он свою душу отдает литературе и что ему прежде всего хочется сказать читателям — он ответил примерно так: «Хочется, чтоб люди поняли и ощутили, сколь ничтожны все проблемы перед великим счастьем просто чувствовать себя человеком и не знать войны». Говорил, что об этом очень много думал на фронте, а после ранения, в госпитале, почувствовал своим долгом об этом написать.

В Викторе Платоновиче жила неуемная молодость души, стремление придавать жизни гораздо больше поэтичности, чем ее было в действительности. Любил фотографировать. Помню, однажды в выходной много снимал в разных ракурсах бывшую Калининскую площадь, полностью разрушенную, и тут же описывал, какой эта площадь видится ему в будущем. Впоследствии очень возмущался по поводу однообразной архитектуры, особенно блочных пятиэтажных домов, которые неудержимо размывали зодческий стиль и своеобразие наших городов.

Некрасов любил жизнь во всех ее проявлениях. Умел искренне радоваться удачам и достижениям других и поддерживать в людях веру в успех. Умел сострадать, переживать, участливо решать чужие проблемы. Помню, меня вначале удивляло, что Виктор Платонович каждый день получает много писем. Думалось, ему пишут как лауреату, идут, мол, поздравления. Но вскоре я узнала, что время от 5 до 6 часов вечера в доме Некрасовых — это святая святых: и он, и мама отвечают на письма. Из этого режима их не выводили никакие обстоятельства. И тогда я поняла, почему их почтовый ящик всегда переполнен.

Бывало, Виктор Платонович уезжает из Киева, проходит 3—4 дня — и уже получаешь от него весточку: «Я в Коктебеле, со мной

такие-то писатели, у меня такое-то настроение и планы». Или из Москвы: «Несколько дней я неразлучно с А. Т. Твардовским, решаем проблему такого порядка… Был в гостях у генерала Игнатьева» и т. д. В большинстве случаев письма довольно короткие, динамичные, нередко — просто почтовые открытки. Но в них всегда экспрессия чувств и мыслей, важные новости. В таком же стиле писала и его мама — Зинаида Николаевна. Ну, а если Виктор Платонович расставался с ней на какое-то время, то ежедневное получение писем друг от друга было почти непременным.

Представление о Викторе Платоновиче было бы далеко не полным, если бы хоть немного не рассказать о его маме. Когда вспоминаю Зинаиду Николаевну, вижу ее в неизменном пенсне и обязательно с книгой в руке. По натуре она была эмоциональна и восторженна, а если что-то ее приятно волновало — сразу же на ее лице появлялась улыбка умиления и почти детского удивления. Была изумительным рассказчиком и, казалось, никогда не уставала в этой роли.

Ее жизнь была богата впечатлениями, наполнена встречами с интересными людьми — писателями, актерами, учеными. При этом она обладала незаурядной памятью на лица, факты, события и умела их воспроизводить картинно, образно, рельефно, владела искусством передавать настроения и чувства не только словесно, но и выразительной мимикой, жестами. В то же время ей не изменяло чувство умного и тонкого юмора. В ее рассказах нередко фигурировала она сама, и Зинаида Николаевна в свой адрес не забывала посылать критические реплики, сопровождая их доброй, мягкой, а порой и лукавой улыбкой.

Она щедро делилась своими знаниями. Помню, как в первый раз пришла с Виктором Платоновичем к нам, когда у меня родился сын. Лишь за несколько дней до того вернувшись из роддома, я только обретала навыки новоявленной мамы. Получила уже немало советов от окружающих, что ребенка надо крепко пеленать, вытянув по струнке его ручки и ножки, — тогда, мол, и ноги будут стройными, и спать будет спокойно, иначе станет размахивать руками и будить себя, а то, гляди, еще и лицо себе исцарапает. Услышав всё это от меня, Зинаида Николаевна в недоумении развела руками: «А ну-ка давай я тебя попробую так спеленать, в позе оловянного солдатика, — уснешь ли ты и долго ли выдержишь такое истязание? А потом все звереныши, и котята, и медвежата, разве себя царапают?» И тут же быстро и ловко запеленала ребенка снизу до пояса так, чтобы ножкам было свободно. Ручки же оставались совсем на воле. И добавила: «В любую пору года и при любой погоде ребенок должен быть на

воздухе не менее трех часов».

Мне всегда казалось, что Зинаида Николаевна постоянно пребывает в одном и том же возрасте на протяжении многих лет. «С годами человек не стареет, — говорила она, — а лишь взрослеет, и в этом прелесть, ибо у каждого возраста свое мироощущение, свое восприятие действительности». Она была достойной иллюстрацией этих слов.

Виктор Платонович любил всюду бывать с мамой — в гостях, на отдыхе, в доме творчества, в театре и концерте. В Зинаиде Николаевне жила неуемная молодость души, и, возможно, поэтому сын и мать были не только большими друзьями, но, казалось, и сверстниками, единомышленниками.

В то же время мнения Зинаиды Николаевны и сына по тому или иному вопросу часто расходились, и тогда начинались жаркие прения. Как правило, мама задавала тон, а у Виктора Платоновича срабатывала привычка не соглашаться слишком легко с иным мнением. Сколько же прелести было в таких дискуссиях!

Зинаида Николаевна, врач по специальности (один вуз она закончила в России, другой — за рубежом) очень много энергии отдавала другим людям. Человек не бытовой, она была неприхотлива в выборе житейских удобств, предпочитала не сосредоточивать внимание на мелочах жизни и, о чем бы ни заходила речь, умела уводить от них собеседника, поднимала его до уровня настоящих ценностей человеческой жизни.

У Виктора Платоновича, несомненно, многое было от мамы. Человек с сильным характером и в то же время добрый и чувствительный, он невольно привязывал к себе каждого, способного понимать и ценить эти высокие человеческие качества. Ему органически было присуще умение не быть мелочным, проявлять великодушие. Истинная доброта — это ведь не уступчивость, а умение прощать проступок ближнего, не прощая собственной вины.

Он дорожил честью, тем представлением о себе, как о человеке и художнике, которое сложилось в нем и в писательской среде, и в самом широком кругу общества. Он никогда не принижал себя, знал себе цену, но относился к этому обстоятельству с достойным спокойствием.

В последний раз мне довелось встретиться с Виктором Платоновичем накануне его отъезда за рубеж. Встреча была случайной, на улице Ленина, в почтовом отделении. Я отсылала конверты с авторефератами своей диссертации перед ее защитой. Моя научная тема касалась особенностей художественного почерка писателей-фронтовиков, в их числе и Виктора Некрасова.

Приглашаю его на защиту, а он отвечает, что пришел бы охотно, но завтра уезжает.

Вид у него был непривычно усталый и подавленный. Хотелось чем-то его подбодрить, и я поторопилась сказать, что в последнее время прочла немало лестных отзывов о его книгах в некоторых периферийных журналах. Помню, он ответил: «Каждому приятны хорошие отзывы прессы, но для меня самый строгий и самый придирчивый судия — я сам. А потом всё это теперь не имеет значения, этого не захотят уже обо мне услышать».

Спросила, надолго ли едет. Сказал: «Пока на два года, а там — как знать…»

Уезжал он со своей семьей. Мамы уже не было. Женой стала былая в молодости его любовь, давняя знакомая, с которой он когда-то работал в Ростовском театре. Не хотелось верить, что расстаемся мы с ним надолго, а оказалось — навсегда.

После отъезда Виктора Платоновича стало как-то пусто, пришло понимание того, что его отсутствие — это нехватка чего-то очень важного и нужного для жизни.

Жадно вчитывалась в пробивавшиеся в периодической печати строки о последних днях его жизни на чужой земле…

Киев, 1991

Озеров Лев

Терпение — мужская работа

Не так просто установить время нашей первой встречи. Примерно: 1931—1932. Место первой встречи — большая комната одноэтажного дома Союза писателей Украины на углу Пушкинской и Ленина. Здесь собирались студенты, библиотекари, журналисты, люди разных профессий, пробовавшие писать — кто в стихах, кто в прозе, кто робея, кто самоуверенно. Руководил этими нечастыми собраниями писатель Дмитрий Эрихович Урин.

Он был нам известен как автор рассказов, повестей, пьес. Позднее обнаружилось, что он писал и стихи и прятал их в стол. (Помню строки: «Мне стихи никогда не приносили дохода, я когда-нибудь их к алкогольным грехам отнесу, но когда ты под утро выходишь на холод восхода, так и хочется выть на тишину и росу»).

Иногда бывал у нас Николай Николаевич Ушаков, который до этого вёл студию стиха и погружал нас в таинства версификации. Невысокого роста, бледный, узколицый, с пристальным ироничным взглядом и красивыми кистями рук с удлиненными пальцами, Дмитрий Эрихович Урин был златоустом, для которого разбираемое произведение начинающего служило лишь отправной точкой для роскошного монолога, в котором характерное, лиричное чередовалось с насмешливым, подчас уничижительным. Это был мастер разговорного жанра, образец для подражания. Талант его был отмечен Бабелем, но этому таланту не дано было осуществиться — острый язык, рефлексия, болезни, ранняя смерть.

Посещал эту студию спортивного типа юноша с запоминающимся лицом и жестами. Студийцы заметили его. Потом узнали, что это Виктор Некрасов. Он учился в архитектурном институте. При знакомстве как-то мелькнуло имя Кричевского, художника и архитектора. Задержались на нем. На школах рисования. На художественной молодежи начала тридцатых годов.

Сперва общей толпой, а потом — уже на Владимирской — отдельными группами шли к Днепру. Читали друг другу. Забывали, где и когда живем. Все-таки юность. Возникало чувство общности. Говорили, перебивая друг друга, — многое накопилось у каждого на душе.

Человек убежденного бодрствования и веселого нрава, Виктор Некрасов легко знакомился, быстро сходился с людьми и

так же легко расходился. Он не останавливался на выяснении причин того и другого. Так получалось, так сложилось. Он без предупреждения покидал вечернюю компанию. Всем или многим могло показаться, что он обиделся. Ничего подобного. Через несколько дней он так же неожиданно появлялся и мог с легкой душой продолжать прерванный разговор. Он казался мне несостоявшимся советским денди. Не дали развернуться. В нем было много артистичного, игрового, и ему нравились эти его качества. В них он спасался от жизненных тягот, от неразрешенности современного ему бытия.

Несколько раз мы встречались с Виктором Некрасовым на дому у Дмитрия Эриховича Урина на Мало-Васильковской, рядом с Кузнечной. Первый этаж. Старомодная квартира, прохладный кабинет Дмитрия Эриховича. Жена его Мифа умела радушно всех разместить и приготовить всех для общей беседы. Она поглощала внимание многих, в том числе и Некрасова. Впоследствии они подружились. Дмитрий Эрихович, автор книг рассказов и повестей, вышедших в киевских издательствах, естественно и по праву был в центре внимания. Он умел и любил рассказывать. Особенно оживленными были его рассказы в пору, когда он приезжал из Москвы, где жил его брат, тоже литератор, подписывавшийся Давурин, где он встречался с видными писателями. Его рассказы о Бабеле и Олеше, Паустовском и Славине, художественных выставках, концертах производили сильное впечатление. Сожалею, что они не записаны. Блестящий слог, поддержанный артистичным жестом, а главное — умение наблюдать и делать выводы.

Среди посетителей нашей студии были П. Глазов, Я. Хелемский, С. Спирт, А. Рохлин, И. Локштанов, Б. Минчин, А. Бродский, А. Тростянецкий, Г. Скульский, Л. Серпилин, Б. Палейчук… Всех не помню. Некоторые заняли определенное место в литературе. Среди них Виктор Некрасов.

Шло время нашей юности. Время, казалось бы, традиционной беспечности, хотя не было никаких оснований для беспечности. Некрасов казался мне неунывающим. У этого, думал я, жизнь пойдет без драм. Вокруг спорта и театра. Не тут-то было. Начало 30-х годов. Жесточайший украинский голод. Маниакальная борьба с национализмом (пишущий эти строки был заклеймен как украинский буржуазный националист). Мы старались вести беседы на улице, в саду, в лесу, но не в закрытых помещениях, в которых нам мерещились подслушивающие аппараты.

Мы вышагивали с Виктором от университета до Владимирской горки, от нее до «Арсенала», от «Арсенала» до Подола. Наши беседы надо измерять не часами, а километрами. Я

читал стихи — свои и чужие. Он характеризовал их кратко, односложно. Не спешил с окончательными суждениями. Умел слушать. Это качество было в нем воспитано матерью Зинаидой Николаевной, с которой он не расставался до ее последнего дня и которая была для него первым человеком, как, собственно, и должно быть.

Напомню, что речь идет о начале 30-х годов, близящихся к их середине. Свободные собрания людей по поводу дней рождения, именин, свадеб, без поводов, хождение в гости постепенно сходили на нет. Люди чуждались друг друга, переставали друг другу доверять, страх овладевал душами людей.

При встречах с Некрасовым я не замечал этого повального, грозящего стать стадным явления. Он по-прежнему был доброжелателен, весел, но всё более ироничен, и эта ирония его всё более и более горчила. Мы не касались так называемых общих вопросов, проблем существования, политики. Говорили, главным образом, о девушках и об искусстве. Но при расставании без особой связи с предыдущими высказываниями он говорил:

— Будем терпеливы. Надежда питается терпением, иначе оно истощается.

Не ручаюсь за точность слов и за их порядок, но при его весело-грустном выражении глаз и смешинке, трепетавшей в уголках губ, он высказывал именно эту мысль. Более отчетливо помню его слова — опять-таки о терпении. Он высказывал их не как выношенный афоризм, а как обычную бытовую фразу, он никогда не любил романтической патетики и высокого штиля. Напротив, высокий штиль всегда пытался снизить.

— Терпенье — мужская работа. Но именно в этом мужчин превосходят женщины…

— Слушай, Вика, ты стал говорить стихами: «Терпенье — мужская работа». Трехстопный амфибрахий…

— Что? Что?

— «По синим волнам океана…» Помнишь у Лермонтова? Тот же амфибрахий.

Люди жили общаясь. Люди переставали общаться.

Шли годы, и процесс разобщенности людей увеличивался. Это стало хронической болезнью и находилось в прямой связи с увеличивавшимися репрессиями. Редели гостевые столы в семьях Урина, Перлиных, Ушакова, Тычины, Гофштейна, Спиртов, Глазовых, Новофастовских, Рохлиных, всех семейств, где ранее происходили наши встречи и беседы. Киевский голод 1932—1933 годов придал всему этому трагедийное значение.

В написанной уже в позднюю пору и изданной в Париже «Маленькой печальной повести» есть у Виктора Некрасова строки:

«Может быть, самое большое преступление за шестьдесят семь лет (это написано в 1984 г. — *Л. О.*), совершенное в моей стране, это дьявольски задуманное и осуществленное разобщение людей. Возможно, это началось с коммуналок, не знаю, но, так или иначе, человеческое общение сведено к тому, что, втиснутые в прокрустово ложе запретов и страха, люди, даже любящие друг друга, боясь за свои конечности, пресекают это общение. Из трусости, из осторожности, из боязни за детей, причин миллион».

Это написал Виктор Некрасов. Он выразил и мои мысли, наши общие наблюдения и выводы, словно бы вспомнил наши беседы тех далеких лет. В редкой из наших встреч мы не касались этого больного вопроса. Поначалу в 20-е годы мы мечтали воспитать коллектив друзей, товарищей, сообщество. Вырастили же индивидуев (в отличие от индивидуальностей), владельцев духовных приусадебных участков и личных палисадников, частников, леваков, хапуг, приобретателей, толпу одиноких. Это «выдающееся достижение» сталинщины, ее победа — удар по нескольким поколениям. Некрасов это чувствовал. Это чувствовали все мы.

Если в скромной, трудолюбивой семье без каких бы то ни было причин изъят, репрессирован и не вернулся хотя бы один человек, жизнь этой семьи на несколько поколений покорежена. Она ущербна в силу совершённой несправедливости, в силу пережитой жестокости. Немота, недоверие, жажда мести, тоска по правде, скорбь сковали уста людей. Они чуждались друг друга, как никогда прежде не чуждались в таких грандиозных масштабах. Палец, предупреждающе приставленный к губам, был типичным жестом родителей по отношению к детям, старших друзей по отношению к младшим.

Виктор Некрасов заметил это явление и выразил в точных словах. Я вздрогнул, обнаружив в поздней его работе одну из главных тем наших разговоров. Мне нравилось, что Некрасов никогда не хотел прослыть ни умным, ни находчивым, ни веселым. Он не заботился о репутации. Ум его проявлялся непроизвольно, к месту, без заготовленных цитат и ссылок на авторитеты, находчивость его находилась в сфере случайности и экспромта, веселость его рождалась тогда, когда для этого были видимые причины. Естественность человека зеркально отобразилась на его сочинениях.

В эссе о французской актрисе Мадлен Рено писатель и философ Альбер Камю говорит: «Есть люди, которые умны как бы заранее, еще ничего не испытав в жизни. Это ум по стойке смирно». Некрасов был умен и готов к испытаниям жизни. Он не накликал их на себя. Просто в жизни его так случилось. Могло

случиться и иначе. Но судьба распорядилась именно так.

В испытаниях проявились и его ум, и его находчивость, и его веселость. Он был ко всему готов. Но не был готов к жизни в таком мире, где царит разобщенность. Эту горечь он пронес до конца. Завершенная жизнь позволяет сделать именно такой вывод.

От характеристики мне надо поскорей перейти к событию.

Киев сразу же после войны, Киев в руинах. Отыскиваю уцелевших родственников и друзей. Со мной, при мне просьба Эренбурга записать всё, что можно узнать о Бабьем Яре. У меня ни навыков такого рода, ни записей нет. По ходу дела учусь. Беда учит. Массированного удара сообщений о том, как всё это было, сердце не выдерживает. Считаю — не могу сосчитать погибших в Бабьем Яре моих родственников, близких, друзей. Нахожу выход в стихе. Сама себя написала небольшая поэма «Бабий Яр»:

Я пришел к тебе, Бабий Яр.
Если возраст у горя есть,
Значит, я немыслимо стар,
На столетья считать — не счесть…

Всё, связанное с Бабьим Яром, забирает меня всё больше и больше. Я ездил туда один. Я ездил туда с Тычиной и художником Шовкуненко. Я проделал пешком путь, который проделали киевляне в той процессии, которая вела к гибели. Позднее Эренбург в письме попросит моего разрешения воспользоваться этими сведениями для романа «Девятый вал». В романе это можно прочитать.

Очерк о Бабьем Яре я сделал Эренбургу для готовившейся «Черной книги». Мой текст был отредактирован Василием Гроссманом. В пору редактирования мы несколько раз встречались с Василием Семеновичем. Его «Треблинский ад» был уже написан. В книге участвовали Платонов, Лидин, Сейфуллина и другие. Книга, как известно, была издана во всём мире. Советский Союз составлял исключение. Жданов долго держал рукопись и не решался дать ей добро. Сталин сразу же запретил. Несколько раз я ездил в Киев и понял, что ни в очерке, ни в книге, ни в серии книг не исчерпать горя, перенесенного народом с самого начала войны. Это неизбывно. Это на всю жизнь. Встречал сочувствующих, встречал равнодушных, встречал злобствующих из числа неопознанных полицаев. Они нашлись и среди знакомых, соседей, полудрузей.

Приехав (в который раз!) из Киева, переполненный устрашающими впечатлениями, я искал способа поделиться ими с

близкими и друзьями. Рассказ, обкатываясь, обретал временную последовательность. Но совладать со своей впечатлительностью я не мог («если возраст у горя есть, значит, я немыслимо стар»). Моменты патетические сводились к минимуму — в них не было потребности. Чем суше и лапидарней я рассказывал, тем большее впечатление производил самый рассказ. Мои слушатели в один голос советовали мне записать всё «подряд» и попытаться напечатать. Указывалось даже издание, которое могло бы дать несколько печатных колонок для этого рассказа. О славные советчики, боевые друзья каждого сочинителя, чьими благими намерениями выстлана дорога в ад…

Условился я с тогдашним редактором «Литературной газеты» Сергеем Сергеевичем Смирновым. Он меня принял, мягко сказав, что у него время ограничено. В таких случаях я говорю, что у меня времени еще меньше, его уже нет, и ухожу. Но Смирнов понимающе улыбнулся. Его бледное лицо осветилось. Рассказ всё же я не сократил, и автор «Брестской крепости» выслушал меня внимательно, без должностных гримас и привычных редакторских жестов.

— Всё это надо записать. И передать нам. Срок? Вчера… Ну, ладно, неделя.

Дома я сразу же лихорадочно стал записывать текст. Сидел долго заполночь и строчил, строчил. Поздно ночью звонок. Сергей Сергеевич Смирнов говорит:

— Хотел с вами посоветоваться. Всё хорошо. Тема утверждена редколлегией. Но вот что возникает. Вы не очень обидитесь, если мы переадресуем этот материал и попросим написать о Бабьем Яре кого-либо из писателей Украины? Так будет лучше. Понимаете? Я не знаю: Бажан, Тычина, Рыльский?.. Без вас мы не хотели определять. Это будет удобней по некоторой причине, о которой мы с вами догадываемся. Вы меня поняли?

Причину он не назвал, но по интонации я давно уже всё понял. И понимать нечего. Варварский, не принятый нигде во всем мире обычай, при котором человек некой национальности не должен писать о людях его же национальности. Дабы его, чего доброго, не обвинили в национализме.

Поняв, в чем дело, т. е. уразумев, что о тысячах погибших евреев не должен писать их единоплеменник, я невольно согласился с «Литературной газетой». Пусть напишет мой давний земляк, коренной киевлянин, но ни в коем случае не иудей, а украинец или русский. Так, мол, будет сподручней, объективней. Мы привыкли к разговорам и действиям в «таком стиле».

— Согласен. Но кто же? — спрашиваю. — Может быть, Виктор Платонович Некрасов?

— Спасибо. Давайте подумаем.

— Ну, полагаю, на этом моя роль завершается. Дело редакции. Некрасов… Отлично!

Я отошел в сторону. Редакция действовала.

Выбор пал именно на Виктора Некрасова.

Киев, русский, солдат, известен широким кругам, вольнолюбив, хорошая репутация, отменный слог. Сперва всё же предлагали двум-трем украинским писателям. Вежливый отказ. Позвонили Некрасову. Он согласился.

Согласился, выхлопотав себе двухнедельный срок.

Статья была напечатана. В долгую пору преследования Некрасова и издевательств над ним ему попомнили и эту статью. Статья и выступление на митинге, посвященном Бабьему Яру.

Дальнейшие редкие встречи были случайны. Виктор Некрасов приезжал в Москву в связи с книгой «В окопах Сталинграда», имевшей огромный читательский успех. Молва вместе с текстом опережали и журнальный вариант, и отдельное издание. Пришла слава, несущая радость, ошеломление, зависть коллег, потерю части старых друзей, обретение новых, неудобства, связанные с ожиданием редакциями новых рукописей, прихлебатели, собутыльники, непрошенные биографы и теоретики. Некрасов нежно говорил о Твардовском и о круге «Нового мира». Здесь обрел истинных друзей.

При встрече я получил книгу «В окопах Сталинграда» с надписью — издание «Советского писателя» — к пятидесятилетию Октября, 1967, т. н. «золотая серия». Я вручил Виктору новую книгу стихов, но не заметил по дальнейшим встречам, что он ее читал. К стихам, как мне кажется, он не проявлял интереса. Так, заставочки, виньеточки, прокладочки между прозой и публицистикой.

До меня доходили слухи на уровне достоверных сведений, что в Киеве жилось ему туго, неуютно, к нему относились с нараставшим недоброжелательством. Он искал душевного равновесия в подчас случайном собутыльничестве, когда «коллеги» именовали его то мэтром, то ведущим, то классиком. Иногда слезно-иронически он протягивал руку и говорил:

— Подайте советскому классику!

Он играл на сцене жизни. Этакий Барон из горьковской пьесы «На дне».

Равновесие не удавалось. Некрасов был удручен не только своей судьбой. Он зорко наблюдал за тем, что творилось вокруг.

Успех книги «В окопах Сталинграда» сделал имя Виктора Некрасова известным за рубежом. Его приглашали в разные страны. Но разрешения на выезд он не получал. Рассказывают

(знаю это не от Некрасова), что ему лично послал вызов Пальмиро Тольятти. Вместо Некрасова в Италию послали Любомира Дмитерко. Последнего приняли, но Тольятти напомнил, что он вызывал Некрасова персонально. Последовал второй вызов. Вместо Некрасова послали Суркова. Тольятти был удивлен и шокирован. Он спросил кого-то из работников ЦК или руководителей Союза писателей (кого именно, я не запомнил):

— Хотел бы знать, что у вас гласит закон гостеприимства: если приглашают Иванова, может ли являться в гости Петров?

В третий раз наконец послали Некрасова. Он был принят должным образом и написал об Италии прекрасную книгу.

Чем радушнее принимали Некрасова за рубежом, тем тяжелей жилось ему в Киеве. Его «поправляли», «наставляли», прорабатывали. Точнее — и ближе к жизни: приходили с обысками, вызывали, допрашивали. Постарались в этом деле посещавшие Хрущева шептуны и его застольные информаторы Корнейчук и Василевская, запугивающие Никиту Сергеевича якобы существовавшими в интеллигентных кругах заговорами, чем-то вроде «клуба Петефи» в Венгрии. Хрущев им верил и на дачных встречах показывал писателям, художникам, музыкантам «кузькину мать». Матерная символика имела успех.

В последний раз мы встретились с Виктором Платоновичем во второй половине шестидесятых годов в Дубултах. Его с матерью Зинаидой Николаевной поселили в старом так называемом Белом доме, где уже несколькими днями раньше вместе с моей матерью Софьей Григорьевной поселился я. Мы жили на первом этаже. Некрасовы — на втором. Белый дом выходил на улицу, которая вела с шоссе к морю и называлась улицей Гончарова. Говорят, в свое время здесь живал автор «Обломова» Иван Александрович Гончаров. Отсюда и название улицы.

Рано утром до завтрака мы с Некрасовым бежали к заливу, купались, прохаживались по берегу до Майори и обратно. Потом бегом возвращались в Белый дом, где, облокотясь на подоконники, нас уже ждали наши матери. Одна в первом этаже, другая — во втором. Умилительно и незабываемо.

О многом мы успевали поговорить во время наших ежедневных прогулок. Жизнь текущая, литература, «Новый мир», Твардовский, дела киевские, судьбы старых друзей, их разобщенность, разобщенность совсем молодых. О чем только ни говорили! И одна тема не столько главенствовала, сколько глубоко касалась обоих, особенно, осмелюсь сказать, меня, т. к. это была пастернаковская тема. Она тянулась с киевских времен, когда я с переменным успехом читал Некрасову наизусть

полюбившиеся мне строки из ранних книг — «Сестра моя — жизнь», «Поверх барьеров», «Тема и вариации». В тех случаях, когда в молодости мы заняты были другими темами, Некрасов не без ехидства напоминал:

— Что-то давно я не слышал Пастернака?

Сейчас при новой, как я уже сказал, последней встрече Некрасов поведал мне о своей поездке в Италию, о Фельтринелли, первом издателе «Доктора Живаго», о том, как попала к нему рукопись романа. Отчетливо помню, как в самом начале развязанной против Пастернака кампании Некрасов, увидевший в руках Фельтринелли протестующую телеграмму автора «Доктора Живаго», был крайне растревожен. Виктор Платонович позвонил в Москву в Союз писателей и просил опубликовать в советской прессе текст этой телеграммы. Вполне возможно, что это сняло бы напряжение и вывело бы Пастернака из-под удара. Но, как показала жизнь, его хотели подвести под удар. И — подвели.

Дважды Некрасов беседовал с Сурковым, один раз — с человеком, фамилии которого сейчас не помню. Было обещано решительно всё сделать (мелькнуло словцо «оперативно»), но всё было сделано наоборот. Шло время. И Некрасов послал в Союз писателей телеграмму. Ответа не было. И когда он приехал из Италии, кампания была развязана и развивалась с неслыханной быстротой. Уже гремел Семичастный, уже экскаваторщики высказывались в «Правде», уже ликующая часть студентов Литературного института выходила на улицу с лучезарными лозунгами, предлагающими выдворить за пределы Советского Союза отщепенца и предателя. Я просил Некрасова написать об этом. Мне неизвестно, что хранится в его парижском архиве, есть ли в нем материалы на эту тему, но среди опубликованных его строк я ничего об этом эпизоде не читал. Интонация поведанного мне Некрасовым была такова: запомни, пожалуйста, это и, уж коли ты занимаешься «почвой и судьбой» Пастернака, расскажи об этом.

Мой краткий без подробностей, потонувших в бездне беспамятности, рассказ передает то, что слышал и о чем не смею молчать. Мы не были близкими друзьями, ни у Некрасова, ни у меня не было попыток сближения. Между встречами пролегали подчас огромные временные пласты, делавшие нашу перекличку почти неслышимой, сведённой на нет. Но каждый раз при новой встрече, самой короткой, возникало ощущение (по крайней мере у меня), что виделись только вчера и разговор вчера был важный, но он нечаянно прервался, и вот он возобновляется. Видимо, это чувство возникает у людей, которые встречались в юности,

возлагали общие надежды на будущее, но жизнь-разлучница развела их и только то и делала, что добавляла горечи и соли, и белила волосы, и укорачивала и перечеркивала надежды. В зрелые и поздние годы Некрасов уже не говорил: «Будем терпеливы. Надежда питается терпением, иначе оно истощается». Он молчал, и под его седеющими усиками подрагивала в уголках губ едва заметная усмешка.

Москва, 1989.

Окуджава Булат
«Париж для того…»

Париж для того, чтоб ходить по нему,
глазеть на него, восхищаться.
Грозящему бездной концу своему
не верить и жить не бояться.

И чтоб, подавив народившийся крик,
и вздрогнув, и высушив слезы,
укрыться от правды хотя бы на миг,
и от переделкинской прозы.

Он благоуханием так умащен,
таким он мне весь достается,
как будто я понят уже и прощен,
и праздновать лишь остается.

Париж для того, чтоб, забыв хоть на час
борения крови и классов,
войти мимоходом в кафе «Монпарнас»,
где ждет меня Вика Некрасов.

Париж—Москва, апрель 1990

Пархомов Михаил
Был у меня друг…

Много лет тому назад я написал повесть под таким названием. Слабую повесть, хотя о ней и отозвался одобрительно покойный критик И. Козлов. Дело происходило в осажденном Севастополе. В одной из вражеских траншей санитары нашли

раненого командира-моряка. Вокруг лежали убитые враги. Их насчитали полтора десятка. И начальство отнесло их на «личный счет» раненого командира, которому за этот подвиг присвоили звание Героя Советского Союза. Но человеку было совестно смотреть в глаза братве. И он… покончил с собой.

Такова была полная правда. Я не отважился ее рассказать. Оттого и повесть получилась вымученной, слабой, хотя можно в ней обнаружить и честные, выстраданные строки. Теперь, воспользовавшись тем старым названием, я хочу написать всю правду.

Был у меня друг. Настоящий. Единственный за всю долгую жизнь. Звали его по-домашнему просто: Вика.

Так его называла мать, Зинаида Николаевна, так к нему обращались его сверстники и даже юноши, которые были втрое моложе. Не Виктор, не Виктор Платонович и не по довольно распространенной в России фамилии, а просто: Вика. И он не обижался. Лишь однажды он лукаво выразил протест. На приеме во французском посольстве по случаю приезда министра культуры Андрэ Мальро, который когда-то присутствовал на первом писательском съезде. Среди приглашенных оказался и мой друг. Он разговаривал с Владимиром Солоухиным. Тот, естественно, тоже называл его просто Викой. И тут к ним подошла тогдашний министр культуры Екатерина Алексеевна Фурцева. И тоже сказала: «Вика…»

— Называйте меня Виктором Платоновичем, — сказал мой друг. — Иначе мне придется вас называть Катей.

Между прочим, они были ровесниками. И к чести Е. А. Фурцевой надо сказать, что она не растерялась и ответила:

— Пожалуйста.

Кто еще из пишущей братии обращался в те приснопамятные годы к секретарям ЦК или министрам просто по имени? Даже к инструктору райкома комсомола ребята должны обращаться по имени-отчеству: «Валентин Петрович» или «Геннадий Михайлович». Так, дескать, «принято». И еще принято носить галстук и пиджак даже в летнюю жару. Когда мне исполнилось шестьдесят лет и «Литературная газета» поместила крохотную фотографию, пририсовав, разумеется, галстук, мой друг ехидно поздравил меня телеграммой: «Впервые увидел галстуке тчк Поздравляю».

Сам он тоже не носил галстуков. В безгалстучную литературную команду, помнится, входили Даниил Гранин и Константин Ваншенкин, Владимир Тендряков и многие, многие другие. У каждого свой вкус и свое понятие о приличии.

Как люди становятся друзьями? В жизни еще много

необъяснимого. Однажды мой друг, вернувшись из Москвы, сказал, что третьего дня проснулся ровно в пять тридцать утра и подумал о старом киевском фотографе НН, обладателе коллекции удивительных снимков довоенного Киева: ампирные фасады особнячков, деревянные флигельки, уютные дворики, церквушки на окраинах, извозчики на «дутиках», лоточники, усатый водитель единственного в городе открытого «паккарда», афишные тумбы… «Надо навестить старика, — сказал мой друг. — Мы давно у него не были». На следующий день мы пешком отправились на окраину. И услышали, что именно в ту самую ночь в пять тридцать старик умер. Как это объяснить?

А разве не странно, что мы, учась в одном институте на одном архитектурном факультете (тогда в Киевском строительном институте насчитывалось всего около пятисот студентов — сейчас их там десятки тысяч), ежедневно встречаясь в аудиториях и коридорах, так и не сблизились? А могли бы! Нас тянуло к литературе. Сокурсник моего будущего друга И. Локштанов уже печатал стихи в местном журнале, другой будущий архитектор Л. Серпилин сочинял прозу, а тот, которого я потом называл Викой, тоже писал про каравеллы и корсаров, беря уроки, мастерства у известного в то время киевского беллетриста Дмитрия Урина, автора нашумевшей «Шпаны». Пробовал перо и я сам. И все-таки мы ни разу не произнесли хотя бы мысленно: «Есть контакт!»

Думаю, что всему виной было внезапное увлечение театром. Мой будущий друг, окончив предварительно студию при Киевском театре русской драмы, стал театральным художником и актером. Эту же студию окончил также И. Локштанов, впоследствии заслуженный артист БССР.

Снова встретились мы уже после войны, когда трехлетняя разница в возрасте стерлась сама собой. Оба был капитанами, оба начинали писать о пережитом. Мой будущий друг был демобилизован по ранению еще в сорок четвертом, пытался поступить в аспирантуру, но «не прошел», как ранее, до войны, «не прошел» у Станиславского, хотя мог бы стать отличным актером, а твердость руки и острый глаз сохранил на всю жизнь. Во всяком случае, когда много лет спустя он в Малеевке сам оформлял свою будущую книгу «Первое знакомство», его рисунки хвалили такие мастера, как Кукрыниксы. А вот поди ж ты, «не прошел». И должен был поступить в газету, занимавшуюся вопросами искусства…

Это только в кинофильмах солдаты возвращались с войны усыпанные цветами под бравурное ликование до блеска надраенной меди духовых оркестров. В жизни всё происходило

куда прозаичнее. Киев был разрушен на три четверти. Водопровод не работал. Света не было. Но, к счастью, немолодым уже женщинам удалось пережить оккупацию. Мать и тетя моего друга только переселились в другую коммунальную квартиру на последнем, четвертом, этаже другого уцелевшего дома, стоявшего чуть ниже на той же Кузнечной (ныне им. Горького) улице. Жили в двух комнатах. Ту, что была побольше, разделили фанерной перегородкой. И там, при свете плошек, была карандашом — он всегда работал карандашом, «не заводя архива» для потомков, — написана одна из самых пронзительных, одна из самых честных книг о войне.

Сначала она называлась «На краю земли». Затем в журнале «Знамя» ее переименовали в «Сталинград». А к широкому, массовому читателю она пришла под названием «В окопах Сталинграда».

Позднее, много лет спустя, когда мы хоронили поэта Якова Городского, мой друг сказал: «Знаешь, он был первым человеком, прочитавшим мою рукопись».

Но Я. Городской не стоял у власти. Он мог помочь только добрым словом. Пришлось отослать рукопись в Москву. К счастью, она попала в руки талантливого, умного и честного критика Александрова, а затем уже на стол Всеволода Вишневского.

«Этот год пройдет под знаком „Сталинграда“ Виктора Некрасова», — написал Вишневский.

Он не ошибся. Повесть была удостоена Сталинской премии. И тогда к автору снизошел «сам» руководитель Союза писателей Украины Александр Корнейчук.

— Вика, — сказал он, золотисто сияя лауреатскими медалями и орденами. — Давай поедем на моей машине по Украине.

— С удовольствием, только без этого, — Некрасов показал на грудь литературного генерала.

— Ну зачем же? Пусть люди видят, с кем имеют дело, — ответил Корнейчук.

Поездка, конечно, не состоялась.

И второй разговор Некрасова с Корнейчуком ни к чему не привел. Некрасов получил письмо от своего фронтового друга Ивана Фищенко, выведенного в повести под именем Чумака. Человек, прошедший огонь и воду и медные трубы, многократно раненый, награжденный многими орденами, в том числе и орденом Боевого Красного Знамени, по глупости завербовался на Дальний Восток. Он работал в шахте, и у него открылись старые раны. Как его оттуда вытащить? Некрасов обратился к

всесильному Корнейчуку. Но тот ответил: «Ничего, пусть узнает жизнь».

Это Чумак, морская душа, должен был «узнать» жизнь! Некрасов написал Борису Горбатову. Тот был дружен с министром угольной промышленности и сделал всё, чтобы спасти бывшего воина. Надо ли после этого удивляться тому, что литературный чиновник и честный писатель не питали друг к другу особой симпатии? «Подумать только, — жаловался на одном собрании Корнейчук. — Приезжает в Париж автор идейно порочной повести „Кира Георгиевна“, и об этом пишут во всех газетах. А приезжаешь ты, заместитель председателя Всемирного совета мира, и это событие отмечают петитом на последней странице!»

На том собрании в бывшем институте благородных девиц Некрасова впервые публично и далеко не благородно прорабатывали. В его защиту смело выступил только критик Иван Дзюба, сбежавший для этого из больницы, в которой лежал. Оратор прямо сказал всё то, что думает о литературных чиновниках, назвав их поименно. Что тут началось! «Кто за то, чтобы разрешить Дзюбе продолжить свое выступление?» — архидемократично, не сомневаясь в результатах голосования, спросил председатель. Только мы с Некрасовым подняли руки. И оратора лишили слова. Кому приятно выслушивать правду, которую режут тебе в глаза?

Подавленные ушли мы с того собрания. Некрасов молчал. В его жизнь начали настойчиво вмешиваться. Делай то, не делай этого… Раньше всё зависело от него самого. А теперь… Он стал другим. Жестким, молчаливым, несговорчивым. Оставаться покладистым и веселым парнем он уже не мог. Когда вмешиваются в твою жизнь, когда хотят ее переделать на свой лад, ты либо протестуешь и сопротивляешься, либо подчиняешься. Но достаточно тебе хоть один раз наклонить голову, только один раз, — и ты пропал. Будешь потом оправдываться, криво усмехаясь, что не надо плевать против ветра, что умный в гору не пойдет…

— Слушай, — сказал мне при встрече писатель Валентин Бычко, — скажи своему Некрасову, пусть напишет Хрущеву, покается. Он что, умнее всех нас?

— Нет, — ответил я. — Он не умнее, а честнее.

Примерно это же, но другими словами, сказала мать Некрасова Зинаида Николаевна, провожая нас на очередное партийное собрание. «Мальчики, веселитесь», — напутствовала она нас, а потом обратилась ко мне одному, чтобы Вика не слышал: «Если он начнет каяться, он перестанет быть моим

сыном».

Врач по профессии, Зинаида Николаевна училась в Швейцарии. То ли потому, что она была из Симбирска, то ли потому, что русская колония была не очень велика, но у нее в доме частенько бывал Владимир Ильич Ленин (я видел письмо из московского музея, просившего прислать скатерть, на которой он чаевничал). Семья Некрасовых была дружна и с А. В. Луначарским, который помог Вике поступить в институт, когда туда принимали преимущественно детей рабочих. А сестра Зинаиды Николаевны, тетя Соня, в двадцатых годах работала с Надеждою Константиновной Крупской. Всем этим можно было гордиться. Но мой друг никогда этим не козырял. И его мать тоже. Однажды, когда после ужина мы присели к радиоприемнику, моя жена, чтобы занять Зинаиду Николаевну, стала перелистывать с нею старый семейный альбом. Обнаружив в нем фотографию Владимира Ильича, жена спросила: «А это кто?» На что Зинаида Николаевна ответила: «Один мой знакомый».

Свою мать я не помнил, рос сиротой, и относился к ней как к матери.

Доброты она была необычайной. Однажды мы возвращались из Одессы. Взяли одно купе. Постелей в нем не оказалось — все постельные принадлежности железнодорожное ведомство отправило «покорителям целины». Стоя в коридоре, мы «поливали» железнодорожников. Жена старалась нас утихомирить. А когда мы вернулись в купе, то увидели, что Зинаида Николаевна, скрепив английскими булавками часть своего гардероба, соорудила «думочку». Протянув ее моей жене, она сказала: «Лидочка, это для вас. Иначе вы не заснете».

Зато у ее сестры Софьи Николаевны был гордый, строптивый характер. Когда в начале пятидесятых отстроили сгоревший пассаж и Некрасову (лауреат все-таки!) предоставили в нем отдельную двухкомнатную квартиру, она наотрез отказалась покинуть свою каморку. И денег от племянника тоже не брала — жила на скудную пенсию. Поэтому Некрасову пришлось хитрить. Он приносил ей иностранные журналы якобы для перевода от имени какого-то издательства, а потом по почте отсылал за эту работу «гонорар». Только на закате жизни она «разбогатела»: журнал «Новый мир» опубликовал ее воспоминания (ее девичья фамилия Мотовилова).

В этой семье относились без почтения к денежным знакам. В то время, как другие лауреаты торопливо обзаводились дачами и автомашинами, Некрасов отдал свою премию на приобретение мотоколясок для инвалидов войны. Жили скромно. Утром —

кофе с гренками из оставшегося с вечера батона, обед из двух блюд (накормят любого случайного гостя) и холодная вода в графине для матери, вечером — свежая булка с маслом и сыром, чай из самовара, варенье… Вещи — только самые необходимые. «Цейсовские» книжные шкафы, диван для гостей, кушетка и тахта, комод и старый двухтумбовый письменный стол. На этажерке — радиоприемник (позднее появился и черно-белый телевизор). На стенах картины Серебряковой и Бурлюка, которые пришлось продать перед вынужденным отъездом за границу, гравюры и дружеский шарж на Игоря Александровича Саца работы хозяина.

Некрасов помогал многим опальным писателям — их в те годы хватало, а когда сам обезденежел, ему в трудные дни помогали деньгами москвичи, ленинградцы и киевляне. Иначе и быть не могло.

У меня с ним тоже были самые простые денежные отношения. Он мог позвонить и, спросив, сколько у меня на сберкнижке, сказать, что берет половину. Мог предложить вместе поехать в дом творчества и, услыхав, что у меня нет денег, купить путевки на всех.

Даже в те дни, когда он сидел на бобах, он не поступался своими принципами. Была, помнится, чистая белая зима. Именитый кинорежиссер Бондарчук пригласил Некрасова на званый обед и предложил написать сценарий многосерийного фильма по роману Л. Н. Толстого «Война и мир», посулив толстые тысячи. «А что мы будем делать с Платоном Каратаевым? А как вы относитесь к высказываниям Толстого о роли личности в истории?» — спросил Некрасов. Режиссер отмахнулся: «Пустое…» И Некрасов отказался. «Надо иметь право поставить свое имя рядом с Толстым», — сказал он мне.

А кино он любил. Позади у него уже был сценарий кинофильма «Солдаты», написанный по книге «В окопах Сталинграда». Картину снял на киностудии «Ленфильм» режиссер Иванов. Это одна из лучших картин о войне (за сценарий автор был удостоен премии). В этой картине в роли Фарбера впервые снялся Иннокентий Смоктуновский, а в роли Чумака — «чапаевский Петька» Леонид Кмит. Но это картина о той войне, которую видели солдат Виктор Астафьев и окопный офицер Виктор Некрасов. Генералы и маршалы знали совсем другую войну. Не потому ли генералу Чуйкову эта картина не понравилась? Тогда Чуйков командовал Особым Киевским военным округом. Он пригласил Некрасова к себе. Вернувшись от него, Некрасов признался: «Знаешь, что он мне сказал? Что гора родила мышь». Еще бы, ведь в картине не было мудрых стратегов

и храбрых полководцев.

С Чуйковым Некрасов был уже знаком. Они встречались в Сталинграде. Но после войны. Приехав туда, Некрасов встретил Бориса Полевого, и тот пригласил проведать прославленного генерала, остановившегося в номере «люкс». Вечером писатели пришли в гостиницу и застали генерала… под лестницей. Оказалось, что его вытурили из номера, поскольку туда должна была въехать шахиня. Если мне не изменяет память, то была шахиня Сорейя, оставленная впоследствии шахом и ставшая кинодивой. По этой причине три бывших фронтовика распили бутылочку под лестницей.

Случалось, я забегал к Некрасову среди дня. Обычно он лежал на тахте с журналом или книгой. Над ним всю стену занимала подробная (виден фасад каждого дома) карта Парижа. В углу над постелью матери желтело костяное распятие. В те дни сильное темное чувство тревоги не отпускало Некрасова. На него часто находили минуты тоски.

Я ложился рядом. И мы вспоминали Коктебель или Ялту. Там море совсем близко. Внизу, на набережной, тяжелые темные волны с грубым грохотом налетали на причал, раскачивали пришвартованные катера. Там играла курортная музыка, а мы ныряли вниз головой, боролись с большой водой.

Литературную судьбу Некрасова трудно назвать легкой, хотя уже его первая книга была удостоена премии. После «Окопов» он написал пьесу «Опасный путь», которую МХАТ анонсировал, но не поставил. Свет рампы она увидела только в постановке С. Лунгина на сцене театра им. Станиславского, а опубликована была лишь спустя четверть века в журнале «Радуга». За пьесой последовал рассказ «Рядовой Лютиков», который тут же подвергли уничтожающей критике. И пошло… Повесть «В родном городе», это первое честное произведение о возвращении с войны, изданное мизерным тиражом «Молодой гвардией», также вызвала раздражение официальной критики. А писалась эта книга трудно. Когда Некрасов закончил повесть и отослал ее в «Новый мир», в журнале неожиданно сменился редактор.

— Не повезло, — сказал Некрасов.

— Вот увидишь, Симонов тебя напечатает, — обнадежил я.

И точно, пришла телеграмма от Симонова, отдыхавшего на Кавказе. Константин Михайлович приглашал Некрасова к себе.

Вскоре журнал напечатал повесть. Но радости она автору, повторяю, не принесла. Критики были настороже. Великовозрастная дама из комсомольской газеты жаждала идеального героя, представляя его себе этаким Тарзаном (трофейный фильм о нем не так давно прошел по всем экранам),

но, разумеется, рабоче-крестьянского происхождения. Ученые мужи требовали героев, достойных подражания, — гидальго Дон Кихот из Ламанчи и Чичиков их не устраивали. Ну, а демобилизованный офицер Митясов по всем статьям в герои не годился. И досталось ему по первое число.

Зато «Первое знакомство» пришло к читателю легко. Почта еще работала, как в доброе старое время. Некрасов отправил рукопись в журнал, который снова редактировал Александр Трифонович Твардовский, и тот уже на следующий день, придя в редакцию, утром прочел рукопись.

Некрасов вылетел в Москву.

Так после войны о заграница еще никто не писал. Разумеется, и раньше были честные свидетельства о «той» жизни. Но книга Б. Пильняка об Америке давно была под запретом, а «Одноэтажная Америка» Ильфа и Петрова считалась вредной. В чести были только те сочинения, в которых грубо охаивалось всё чужое. В них империализм неизменно загнивал, капиталисты разлагались, а рабочие бастовали. Фотографии трущоб Нью-Йорка печатались во всех газетах из года в год. Ну, а что касается сочинений журналистов-международников, то они обычно начинались словами: «Наш серебристый воздушный лайнер оторвался от бетонной дорожки родного аэродрома…»

Некрасов же написал об Италии с любовью. Его возмущало, что иные работники советского посольства, живя в Риме, мягко говоря, не уважают итальянский народ. Сам он познакомился в Италии со многими людьми. Потом они приезжали к нему в гости — художник Ренато Гуттузо, художник и писатель Карло Леви, издатель Эйнауди… Карло Леви рассказал о своих киевских встречах в книге «У будущего древнее сердце». А Эйнауди приехал в Киев с женой и приятелем, писавшим для детей. Им захотелось приобрести хоть какую-нибудь лубочную картину.

Достать ее можно было разве что на Житнем базаре. Утром мы пришли к гостинице «Украина», чтобы сопровождать гостей. Молодая интуристовская переводчица, явно стесняясь, сказала, что иностранцам на рынок ездить не полагается, у них совсем другая «программа». Но мы ее заверили, что она может не беспокоиться, никаких военных объектов гости не увидят.

Житний базар расположен возле Днепра. Когда-то здесь торговали житом.

Что представлял собою в то время Подол? Хибары, облупившиеся фасады двух- и трехэтажных домишек, булыжные мостовые, заколоченные церквушки, крытые зеленой жестью, чахлый бульвар, отделявший Верхний Вал от Нижнего. Бульвар упирался в площадь. Здесь-то и было пестрое, крикливое

торжище, именуемое Житним базаром. Свирепо пахло дегтем, влажными рогожами, килькой и свежей днепровской рыбой. Гости оживились. Быть может, рынок напомнил им родную Италию?

Мы с трудом протискивались между возами, забираясь в самую гущу хмельной от возбуждения базарно-праздничной толпы. Лубочных картинок с лебедями и хвостатыми русалками на сей раз не было. Дошли до стены, ограждавшей базар. Там на возу с полосатыми херсонскими арбузами живописно возлежал однорукий инвалид. Был он в синей рубахе и линялых портках. Эйнауди нацелился на него объективом своей зеркалки. Осведомился: «Можно?» Некрасов ответил: «Разумеется».

И тут перед нами выросла толстая подольская торговка. Лицо ее было в таких внушительных бородавках, что напоминало рогатую морскую мину. «Ши-пи-оны!.. — завопила она, проявляя высочайшую бдительность. — Наших инвалидов хфотографируют!..»

Нас окружили местные доброхоты. Появился милиционер. Он и отвел всех в ближайший подотдел нашей рабоче-крестьянской.

Помещался он в бывшем магазине. В тесном пространстве было полно народу. Заслуженная гнусавая проститутка, ханыги, вертлявые карманники, цыгане… Молодая цыганка, сидевшая на полу в застиранных пестрых ситцах, кормила грудью младенца. Ханыги ругались. Наши гости были растеряны. Думали, должно быть, что прямиком попадут в Сибирь.

Некрасов пошел объясняться к начальнику. Паспортов ни у него, ни у меня с собой не было. Удостоверений тоже. Пришлось звонить в Союз писателей.

Вскоре всё уладилось.

Об этой истории не стоило бы вспоминать, если бы всё не повторилось летом восемьдесят восьмого… Об этом поведал комментатор телевидения Игорь Фесуненко, сопровождавший иностранных гостей, когда те совершали круиз мира по Днепру. Херсонские дружинники и милиционеры снова задержали группу наших гостей. Сердце радуется: не перевелись еще шибко бдительные люди на Руси.

И все-таки то было удивительное, благословенное время. История искусств знает «Золотой век Перикла». История русской словесности узнала «золотые годы Твардовского». Чины, награды и звания авторов не имели для него значения. Единственным критерием стало качество литературы. В журнал потянулись настоящие писатели. Память подсказывает: «На Иртыше», «Из жизни Федора Кузькина», «Деревянные кони», «Один день Ивана Денисовича»… Журнал читали от корки до корки. По всей стране. Ждали каждого номера. Но других редакторов это вряд ли

радовало. А тем более официальную критику.

Ошибочно думать, будто в журнале как-то особо привечали «своих». Александр Трифонович, случалось, возвращал рукописи и Тендрякову, и Паустовскому. Не нравилась ему и некрасовская «Кира Георгиевна». Но, опубликовав эту повесть, он потом изменил о ней мнение. Всякое бывало. От неудач никто не застрахован. Но это не вызывало обид.

Почему-то многие политические деятели под конец жизни начинают «вплотную» заниматься литературой и искусством. Сталин, писавший в молодости стихи, на склоне лет занялся вопросами языкознания. Мао Цзэдун, тоже несостоявшийся стихотворец, возглавил «культурную революцию» по разгрому интеллигенции. Хрущев, любимым бардом которого был безвестный сочинитель Махиня, решив все экономические проблемы так успешно, что белый хлеб стали выдавать только больным людям, переключился на вопросы литературы, живописи и скульптуры, назвав в Манеже художников «педерастами». Брежнев же стал «автором» знаменитой трилогии… Тут будет уместно сказать, что Некрасов, находясь уже за границей, лишился советского гражданства после того, как Брежнев был награжден Ленинской премией по литературе. Случилось сие в апреле. К Некрасову тут же обратился один из журналистов с вопросами, что он думает о «Малой земле» и прочих шедеврах. «К литературе это отношения не имеет», — честно ответил Некрасов. И расплата за эти слова не заставила себя ждать. Некрасова тут же лишили советского гражданства.

Но всё это произойдет через полтора десятка лет. А тогда… Бездарные рифмоплеты, драмоделы и поднаторевшие на ругани публицисты, называвшие себя «автоматчиками партии», натравили не обремененного знаниями и вкусом Хрущева на всех мало-мальски талантливых людей. Досталось по первое число и Некрасову. Особый гнев вызвали его путевые очерки «По обе стороны океана». Газета «Известия», руководимая Аджубеем, тут же поместила опус под названием «Турист с тросточкой». Автор его мне неведом. И всё же я рискну назвать его подонком.

Он мог приклеить Некрасову любой ярлык: «эстет», «трубадур», «формалист», «сноб», «нигилист», «графоман» — у подонков палитра весьма обширна. Но назвать Некрасова «туристом с тросточкой»! До этого надо было додуматься. И это человека, который за границей не интересовался фирменным ширпотребом, ресторациями, манекенщицами и стриптизом, человека, который охотнее всего встречался с простолюдинами, предпочитая их общество приемам у миллионеров и сенаторов, человека, который своей валютой

делился с товарищами по путешествиям, равнодушного к автомашинам (лишь одно лето мы были совладельцами моторной лодки, но, не чувствуя тяги к технике, тут же сбагрили ее с рук), человека, носившего клетчатые ковбойки и плисовые штаны… И это, по-вашему, турист с тросточкой? Полноте. Сами-то вы стремитесь за рубеж только для того, чтобы «отовариться» и вкусить «сладкой жизни».

— Знаешь, — сказал он мне, воротясь из какой-то поездки. — Вот мы с тобой ругаем наши порядки. А там, за рубежом, я их защищаю. В Милане меня спросил один: «Вы толкуете об отсутствии „железного занавеса“, а у меня, когда я ехал в Советский Союз, на границе отобрали все книги». Тогда я сказал: «У меня тоже на границе отобрали все мои книги, которые я вёз друзьям. Вы что думаете, в Советском Союзе уже нет дураков?» И все рассмеялись.

Так он вел себя за рубежом. Ездил ночью в нью-йоркском метро, что, говорят, не совсем безопасно, тратил доллары на стрижку-брижку (надо же удостовериться, как там работают местные Фигаро), пил дешевое вино вместе с работягами в парижских бистро, покупал игрушки детям своих друзей. «Правильный» писатель Всеволод Кочетов требовал, я был тому свидетелем, чтобы ему взяли билет на самолет только первого класса, а «неправильный» Некрасов всю жизнь курил пролетарский «Беломор».

Но «неправильные» всегда подозрительны. Их не очень-то жалуют. Будь как все. Голосуй, когда другие поднимают руки, вместе со всеми кричи «Ура!..» Что, не согласен? Ну, знаешь! Вот и сам Никита Сергеевич… А тут еще статья в газете. Как не реагировать?

Что-что, а угадывать желания начальства партийный аппарат умел. По голосу, по движению бровей… Дело было заведено, машина завертелась на полных оборотах. Собрания. Заседания парткома. Приятное знакомство с членами партийной комиссии, состоящей в основном из хмурых отставных подполковников интендантской службы. Затем бюро райкома. Обком… Мы пережили это вместе. Тогда я не подозревал, что тоже пройду через это чистилище. Сидели у меня дома (Некрасов оберегал от неприятностей мать), судили-рядили, разрабатывали планы «действий». На последнее — не помню уже какое по счету — заседание бюро райкома я пошел вместе с ним. Когда его вызвали «на ковер», я остался в приемной. Прошло минут сорок. Медленных, тяжких. Наконец он появился в дверях, обитых искусственной кожей, получив в назидание «строгач». Можно было вздохнуть с облегчением. К нам подскочил какой-то мужик,

которому грозило исключение за растрату партийных взносов. «Ну как? Что спрашивают?..» Потом попросил: «Друг, одолжи на бутылку. Может, и у меня обойдется. Скажи мне свой адрес, я деньги верну. Если простят, буду аккуратнее…»

Видимо, его все же не простили. Денег он, конечно, не вернул.

Теперь я стараюсь припомнить, каким Некрасов был в то время. Само собой, он, как говаривали в старину, был ума обширного. Честный. Совестливый. Бессребренник. Слова у него никогда не разнились с делом. Из себя он был невысок и худощав. Говорил неторопливо. Жизнь уже изрядно помяла его. И хотя он не ожесточился, не приобрел привычки втягивать голову в плечи, все же время от времени он смеялся уже каким-то дряблым, вымученным смехом. И в лице его появилось что-то старческое, хотя годами он был еще сравнительно молод.

А жить надо было. Работать. Ездить по стране.

Устраивать свои литературные дела он не умел. И не желал. С содроганием вспоминал, как в том самом кабинете на Б. Гнездниковском, в котором когда-то его уговаривали «дополнить» книгу «В окопах Сталинграда» главой о Верховном, его после XX съезда просили изменить название книги на «В окопах Волгограда», хотя за город под таким названием он не воевал. Его книги выходили только благодаря усилиям других. Том «Избранного» в Гослите «пробил» Г. Макогоненко, сборник рассказов в киевском издательстве «Дніпро» — С. Журахович, книгу в «Советской России» — Тимур Мугуев. Куда ему было до нынешних чемпионов, успевших переиздать свои романы по сто и даже по сто пятьдесят раз!..

Запомнился еще один вечер. Мы, как обычно, сбегали в ближайший гастроном за свежим батоном и резиновым голландским сыром — костромской сыр и вологодское масло уже можно было найти только в книгах «О здоровой и вкусной пище». На столе нетерпеливо ворчал электрический самовар, когда раздался звонок.

Черный телефон висел в коридоре. Хозяин снял трубку.

— Виктор Платонович? С вами говорит Кучер…

— Простите…

— Помощник первого секретаря ЦК. Вы не смогли бы к нам подъехать?

— Когда?

— Сейчас.

— Хорошо. Через десять минут буду.

Ехать не надо было. От пассажа до внушительного здания на бывшей Банковской улице (дом был до войны построен для штаба

особого Киевского военного округа) можно дойти за пять-шесть минут. Вика сказал: «Подожди, я скоро вернусь».

Однако вернулся он только через два часа. Его принял тогдашний первый секретарь ЦК П. Е. Шелест. Разговор шел на равных. Правда, помощники не удосужились сообщить секретарю ЦК, что его собеседник лауреат, что он известен за рубежом. Шелест рассказал, между прочим, что гордится своим сыном, доктором наук. И тогда Некрасов хитро осведомился: «Уже?» Поняв подтекст этого вопроса, Шелест ответил, оправдываясь, что тот настоящий ученый. Казалось бы, речь пойдет о литературе. О чем еще толковать секретарю ЦК и писателю? Но П. Е. Шелест спросил, готов ли Некрасов выступить на партийном пленуме. Нет, не в Киеве, а в самой Москве.

Из дальнейшего выяснилось, что то была идея М. А. Суслова, которого за глаза называли «серым кардиналом». Созвать пленум и на нем окончательно развенчать ранее снятого Н. С. Хрущева. Поскольку у автора книги «В окопах Сталинграда» имелось достаточно причин не жаловать бывшего члена Военного совета фронта, Суслов вспомнил об опальном писателе. Дескать, пусть сведет счеты с Хрущевым. Дескать, теперь его черед.

Партийные вожди плохо знали Некрасова. Тот отказался. Кажется, сказал даже, что лежачих обычно не бьют. У него были свои понятия о чести, достоинстве и порядочности. Он не понимал людей, способных лебезить и заискивать перед начальством, а потом, когда оно становилось бывшим, затаптывать его в грязь.

А ведь симпатии к Хрущеву он не питал. И не только потому, что по высочайшему повелению хлебнул горя. Отдавая Хрущеву должное (реабилитация многих тысяч безвинных «врагов народа», развенчивание «гениальнейшего полководца всех времен и народов»), он не мог простить Хрущеву уже одного того, что во время встречи с писателями «под шатром» глава государства, подвыпив и барственно развалясь на стуле, распекал стоявшую перед ним Маргариту Алигер. Это не только признак бескультурья. Это, если называть вещи своими именами, густопсовое хамство.

Для Некрасова Хрущев был черно-белым, таким, как памятник, поставленный на его могиле Эрнстом Неизвестным. Можно закончить хоть три академии общественных наук, обзавестись учеными степенями, быть избранным в Академию, но так и не стать интеллигентом.

Некрасова всегда отличало то, что в словаре Даля говорится о благородстве. Это поступки, поведение, понятия и чувства, согласные с истиною, честью и нравственностью. Его

благородством злоупотребляли многие. То вдруг придет человек, назовется симферопольским шофером, отставшим от поезда. В руках у него кукла, которую он везет дочери из ГДР. К «любимому писателю» он отважился зайти потому, что не на что доехать домой. Деньги он, конечно же, вернет, вот его паспорт. Не заглядывая в него, Некрасов вручает шоферу четвертной, хотя денег у него самого кот наплакал (через час мы увидели этого «читателя» в винном магазине). То вдруг заявится юноша из Новосибирска и расскажет байку о том, как убил медведя, чтобы завладеть его печенью и спасти отца, страдающего раком печени. «Понимаешь, — сказал мне Некрасов по телефону. — Вот это парень!» В ответ я спросил, давно ли Некрасов был в нашем зоопарке. «Ты о чем?» — он удивился. «О том, — ответил я, — что там уже давно, наверное, нет медведей. Столько номенклатурных товарищей страдают раком печени, что всех медведей истребили». В ответ он рассмеялся. Но это не помешало ему, однако, взять с собой этого мистификатора в поездку по Средней Азии. Он не выносил одиночества.

Этим же обстоятельством воспользовались и сотрудники одной фирмы, отнюдь не торговой, добавлю я от себя. Но об этом чуть позднее.

После поездки по Дальнему Востоку Некрасов засел за путевые очерки. Работал он у меня дома. Пообедав, мы выходили пройтись. На Дальнем он видел здоровенных мужиков, шагавших в резиновых сапогах по колено в крови. Дубинами уничтожали они выползших на берег беззащитных «братьев наших меньших», выполняя и перевыполняя производственный «план». «Я понял природу фашизма», — сказал он мне. Позднее подобную картину описал в «Плахе» Чингиз Айтматов.

Вправе ли писатель отказать в помощи обездоленным, сирым, несправедливо обиженным? Дверь квартиры № 10 по улице Крещатик, № 15 была открыта для всех. И точно так же, как Короленко когда-то заступился за обвиненного в ритуальном убийстве еврея Бейлиса, писатель Некрасов, не колеблясь, поставил свою подпись под письмом группы деятелей украинской культуры, поднявших свой голос против произвола. Закрывались украинские школы, изгонялся из учреждений украинский язык — та певучая «мова», которой восторгался Маяковский. Делалось это в угоду М. А. Суслову, одним росчерком пера решившему в стране национальный вопрос. Дескать, нет уже ни наций, ни народностей, а есть новая общность — единый советский народ.

Так русский писатель Некрасов был обвинен в… буржуазном украинском национализме.

— Ты Виктора бачыш? — спросил меня при встрече поэт

Андрей Малышко. — Скажы йому, що вин хороший хлопець.

Некрасова снова пригласили в ЦК. На этот раз его принял человек интеллигентный и умный. Указав посетителю на телефоны, он отвел его в дальний угол кабинета и, усадив на диван, тихо произнес: «Они на всё способны».

Это относилось к «фирмачам».

Некрасовым вплотную занялась «фирма». К нему приставили молодого киношника. Этот неудачник быстро втерся в доверие. К тому времени Некрасов, похоронив мать, остался один. А одиночество, повторяю, было для него невыносимо.

Начинался одна тысяча девятьсот семьдесят второй…

В те дни (с «Новым миром» уже разделались) Некрасов много думал о прошлом, словно бы уже похороненном, которое тем не менее будило столько живых воспоминаний. Это принадлежало ему одному, только ему. И его наполняло чувство одиночества и беспомощности, на которые, он знал это, обречен каждый человек. У тебя есть друзья, и все-таки ты одинок.

По вечерам он уходил из дому. В темноте Крещатика то там то здесь медленно и тихо тлели огоньки сигарет, огоньки молодых человеческих жизней, и он шел к ним, чтобы избавиться от одиночества.

В середине месяца я собрался в Москву. В день отъезда поехал в кондитерский магазин за знаменитыми «киевскими» тортами для друзей. Купив два торта, которые продавщица любезно связала вместе, я зашел в ближайший гастроном за сигаретами. Там с какими-то личностями шептался льнувший к Некрасову киношник. Увидев меня, он ретировался.

Снова я увидел его уже в подъезде. Он вынимал из ящика почту. Увидев меня, покраснел. Мы поднялись на третий этаж.

Открыл сам Некрасов. Был он темен лицом. Он уже знал, что в тот день начались аресты. Горько пошутил: «Хоть бы попасть в один лагерь». Жена Некрасова Галина вышла на кухню сварить нам кофе. Когда позвонили в дверь, мы услышали ее голос: «Ого-го!..»

Вошло семь человек. Первым по-хозяйски открыл дверь в комнату смурной крепыш лет пятидесяти с гаком, очевидно, один из тех, кто в поте лица своего служил «фирме» еще в самые лучшие ее времена. Он знал свой маневр. За его спиной стояли его молодые сотоварищи.

— Ваши документы!..

Некрасов представил меня. Киношник назвал себя. Хотя выяснить, кто я, не составляло труда, старший фирмач что-то сказал одному из своих молодцов, и тот велел: «Одевайтесь». А киношника, «лицо без определенных занятий», старший отпустил.

Еще бы, ведь он выполнил «задание» и обеспечил присутствие хозяина квартиры, который — чем черт не шутит? — мог выйти из дому.

Само собой разумеется, что в добрых молодцах я узнал тех самых ребят, которые шептались с киношником в гастрономе.

Я надел пальто. Мы с Некрасовым расцеловались — когда еще увидимся? Внизу стояла черная «Волга». Сопровождавший меня добрый молодец наклонился к шоферу: «В комитет».

Нелепо, должно быть, я выглядел со своими тортами в строгом сером доме, в котором шутить не любили.

Меня продержали там до четырех часов дня. В это время у Некрасова шел обыск. Что там было искать? Он сам выложил на стол те несколько книг, которые были изданы за рубежом. Проза Марины Цветаевой, сборник Б. Зайцева с автографом, «В круге первом» Солженицына.

— А вы эти книги читали? — спросили меня.

Пришлось ответить, что литератору следует не только писать, но и читать. И добавить: «Лет двадцать тому вы бы спросили, читал ли я Бунина и кто мне его давал».

Особое подозрение вызвало то, что я собирался в Москву. Уж не посылают ли меня сообщить о киевских арестах? Но, выяснив, что билеты куплены заранее, фирмачи успокоились.

В седьмом часу вечера мне позвонил Некрасов: «Ну как?» Я ответил: «Ничего. А у тебя?» — «Тоже ничего», — ответил Некрасов.

На возвратном пути из Москвы я с тревогой думал о том, что меня ждет в Киеве. Тревога была обоснованной. Тучи над Некрасовым сгущались.

Мы никогда не спорили, не ссорились по мелочам. За три десятка лет мы так притерлись друг к другу, что ни малейшего расстояния между нами уже не было. И мы никогда не обменивались пустыми словами. Худо нам тогда жилось. Лишь изредка, когда садились за стол, становилось утешнее.

На этот раз Некрасова из партии всё же исключили.

Он стал еще больше курить. Говорил мало. Но оставался самим собой. Был приглядчив к людям, всё замечал. Не возмущался, не роптал. Только благодушия, пожалуй, у него убавилось, хотя в человеческую подлость он всё еще отказывался верить и не отваживал от себя тех, кто только для зла людям живет. И откуда берутся такие? Молодые, пронырливые, готовые напакостить, написать донос или пустить гулять по свету слушок за твоей спиной… И всё это улыбчиво, с невинными глазами.

А денег не было. «Городские прогулки» не только «Новый мир», но и благонадежная «Москва» не смогла опубликовать.

Перед Некрасовым со всех сторон вырастала невидимая стена всесильной «фирмы».

— Ну, всё, я пошел есть картошку, — сказал он мне как-то по телефону.

А меня ждал мясной обед. Да только котлеты застревали в горле. С тех пор моя жена частенько приносила на Крещатик продукты с Бессарабского рынка. Утром, выходя из ванной, Некрасов деликатно притворялся, будто ничего не видит.

И тут пришло время объяснить, отчего я называю один из республиканских комитетов «фирмой». Я просто повторяю то, что услышал от одного из его сотрудников.

В киевском издательстве «Радянський письменник» редактировали мою книгу. Была в ней и повесть «Черные дьяволы», вышедшая затем в издательстве «Молодая гвардия» и болгарском воениздате. В ней рассказывалось о морских диверсантах. Издательство сочло нужным послать рукопись на консультацию в Комитет государственной безопасности. Я узнал об этом, когда мне позвонил товарищ из этого комитета и попросил разрешения зайти. Он пришел в назначенное время, предъявил удостоверение. Мы поговорили о рукописи. Между делом товарищ произнес: «Знаете, наша фирма…» Так я узнал, что сотрудники этого учреждения сами называют его «фирмой».

В тот раз «фирма» дала добро. Книга вышла в свет.

Зато через полтора-два года «фирма» показала зубы. Снова раздался звонок. Товарищ, назвавшийся Иваном Ивановичем (он, очевидно, не читал очерка Некрасова, который этим именем окрестил ехавшего с ним за рубеж «искусствоведа в штатском») попросил меня зайти к нему в удобное для меня время. Полагая, что речь снова идет о будущей книге, я захватил с собой рукопись, в которой была повесть «Венский вальс», и присланный из Болгарии экземпляр книги «Черные дьяволы».

Иван Иванович, будем его так называть, очевидно, знал меня в лицо. Подойдя ко мне (в приемной было много людей), он пригласил в соседнюю комнату.

— Нам известно… — начал он тихим голосом.

Ему было известно многое. Даже то, что в конце тридцатых один из наших студентов «посадил» другого.

По мутным, без блеска, глазам Ивана Ивановича не разобрать было, доволен ли он разговором. Душа его была темна. Улыбаться, он, по-видимому, не умел.

— Ваш друг распространяет разные вздоры, — произнес он, хотя и не этими словами. — Да и вы тоже…

Я промолчал. Тогда он приступил к главному.

— Вы должны отговорить своего друга от отъезда за границу.

Последние два года Некрасов находился «под колпаком». Его повсюду сопровождали «искусствоведы в штатском». Уж не думали ли они, что он собирается совершить террористический акт? Или сфотографировать (у него был любительский киноаппарат) расположенные на Крещатике военные объекты? Так жить было невозможно. И он попросил разрешения уехать в Швейцарию к дяде-пенсионеру Ульянову, которому все годы выписывал… журнал «Огонек». (Этого дядю вскоре прилюдно объявили миллионером, на наследство которого позарился племянничек. Только так писатели-миллионщики представляли себе его отъезд. Им всюду мерещились деньги, большие деньги). Разрешение он получил.

Выполнить поручение «фирмы» я отказался. Иван Иванович, с гордостью называвший себя оперативным работником, не настаивал. Из дальнейшего выяснилось, что он рассчитывает на помощь одного литературного генерала.

— А что это у вас? — спросил он.

Я показал рукопись книги. И «Черные дьяволы», изданные в Болгарин. Сказал, что меня туда пригласили. Святая простота! Нашел где откровенничать.

Расстались мы без печали. Но вскоре… Я был наказан за строптивость. В издательство «Радянський письменник» пришла официальная бумага за подписью заместителя председателя Комитета. В ней говорилось, что издание моей книги «фирма» считает «нецелесообразным».

Ну что ж, «Венский вальс» вошел в сборник, изданный «Советским писателем» через шесть лет.

Но и это было не всё. В конце августа прибыла повестка из ОВИРа. Я пришел. Комната была набита битком молодыми людьми, жаждущими вкусить сладкой заграничной жизни. И о чудо! Мне выказали уважение, вызвали первым.

Блеклая молодая девица лет двадцати, чем-то напоминавшая эсэсовку из сериала «Семнадцать мгновений весны», конфетно улыбаясь, осведомилась, куда я еду. Услышав, что в Болгарию, снова спросила: к кому? Меня приглашал член ЦК, секретарь Варненского горкома. Девица кивнула и произнесла:

— А вам отказано. Если хотите, то через шесть месяцев…

В Болгарии я уже бывал. Тяжело поднявшись со стула, я сказал:

— Вот что, девушка. Скажите ребятам, что вторично подавать документы я не буду. Не за тряпочками я собирался в Болгарию.

С тех пор я в эту контору не заглядывал.

А через неделю Некрасовы улетали. Мы не стеснялись слез. Сердце подсказывало: видимся в последний раз.

Потом были только письма. И редко — телефонные звонки. И еще фотографии. Из деревни под Парижем, из Норвегии, из Лондона… Хотя по радио он заявил, что ему осточертели киевские каштаны, — всё, что происходило в его родном городе, постоянно вызывало у него болезненный интерес. То он просил прислать ему книгу, то фотографию памятника, установленного в Бабьем Яру. Этим памятником Киев был ему во многом обязан.

Когда городские власти мудро решили засыпать Бабий Яр и разбить на этом месте парк культуры и отдыха, Некрасов выступил с протестом в «Литературной газете». Устроить танцплощадку на костях погибших? И это вы считаете нравственным?

Пришлось власть предержащим отменить свое решение и ответить газете, что в память о жертвах фашизма в Бабьем Яру будет установлен «монумент-постамент».

Случилось так, что Бабий Яр стал глубокой, зияющей раной на теле человечества. Здесь в судный день сорок первого начались расстрелы десятков тысяч киевлян. Все черные годы оккупации там не утихали выстрелы. Я увидел это страшное место, вошедшее в историю наряду с Майданеком, Треблинкой и Бухенвальдом сразу же после освобождения Киева. Всюду желтели человеческие кости и черепа.

Оттого двадцать девятого сентября киевляне, не сговариваясь, шли к Бабьему Яру, чтобы отдать последний долг погибшим. Шли молча. Плакали навзрыд. Иногда возникали стихийные митинги. Люди возмущались: откуда столько милиционеров? И что это за молодые люди, которые шепотом требуют: «Проходите, проходите…»

В один из таких дней мы пришли в Бабий Яр вместе с проезжавшим с Юга через Киев Николаем Атаровым. Когда возмущение людей грозило выйти из-под контроля, прозвучал голос Некрасова. Он говорил о памяти, о долге живых перед мертвыми, о человеческой солидарности. Говорил по-русски. Затем по-украински заговорил критик Иван Дзюба. О дружбе людей разных национальностей, о нашей общей ответственности за трагедии прошлого.

Местным властям надо бы благодарить литераторов, а они ополчились на них, обвинив чуть ли не в… сионизме. Потом одумались. И уже через год в Бабьем Яру появился представитель райкома, прочитавший по бумажке речь о… достижениях трудящихся района в борьбе за выполнение пятилетки.

И тут снова напомнил о себе Бабий Яр. В начале шестьдесят первого. После обильных ливней прорвало наспех сооруженную дамбу, и селевые потоки хлынули из яра на Куреневку. Погребены

были троллейбусы, трамваи, одно- и двухэтажные дома. А главное — люди. Десятки, сотни людей (позднее, когда молчать о случившемся уже нельзя будет, газеты сообщат, будто погибло «только» более ста двадцати человек). Ну, а тогда… Стоя возле церквушки, расписанной гениальным Врубелем, мы с Некрасовым увидели далеко внизу мутно-темную пустыню.

В те же дни в Чехословакии погибло семь шахтеров, и правительство республики объявило национальный траур. Соболезнование послал и Н. С. Хрущев. А в нашем Киеве, стыдно признаться, во время трагедии работали все театры, а в ресторанах отплясывали летку-енку, хотя повсюду, не краснея от стыда, висели плакаты о том, что «люди у нас — самый драгоценный капитал».

Вскоре после этого был объявлен конкурс на пресловутый «монумент-постамент». Поступило много проектов. Перспективы и макеты выставили в Доме архитектора. Среди конкурсных проектов было несколько отличных. А выбрали, разумеется, самый «правильный», с развернутым знаменем. В натуре его Некрасову увидеть не удалось, он был уже далеко.

Но и в эмиграции он оставался самим собою. С ярыми антисоветчиками у него ничего общего не было — это должен был признать и Владимир Максимов. Тот самый редактор «Континента» Максимов, который прислал моему другу письмо следующего содержания: «Господин Некрасов! Журнал „Континент“ в ваших услугах не нуждается. Деньги будете получать аккуратно. Главный редактор…» На что Некрасов со свойственной ему лапидарностью и простотой ответил: «Володя. Деньги можешь не посылать. Вика».

Он и там, на чужбине, оставался Викой. Прежним Викой, добавлю я от себя. Об этом свидетельствовала и телеграмма, которую он прислал в Киев, когда узнал о смерти нашего общего друга, бывшего партизанского командира Я. Богорада. «Нинка. Рыдаю. Вика», — всего три слова было в этой депеше, полученной вдовой, тоже бывшей партизанкой.

Жизнь не изменила нашего Вику.

Когда-то нас в Киеве было четверо. Первым, не дожив до шестидесяти, ушел из жизни Леонид Волынский, талантливый художник и литератор, который в конце войны спас бесценные сокровища Дрезденской галереи, за что, как водится, награждены были другие. Затем я проводил в последний путь лауреата Государственной премии Николая Дубова, железного Колю. А в сентябре восемьдесят седьмого из Парижа пришло известие, что умер Виктор Некрасов.

Ну, а я… Я даже не могу положить цветы на его могилу, хотя

он очень любил цветы и ежедневно приносил их своей матери. Если же у него не было денег, то цветочницы, торгующие в подземном переходе под площадью Октябрьской революции, давали их ему в долг.

«Опустела без тебя земля…»

Киев, 1989.

Славич Станислав
Платоныч

Вика любил дружить. Ему доставляло удовольствие проявить заботу, оказать внимание товарищу и тем более другу. Сам ходатаем и просителем по чьим-либо делам почти не выступал — в тех обстоятельствах это могло только навредить, помешать (да и от собственных забот не успевал отбиваться), но постоянно тревожился: «Сашке негде переночевать…», «У Рафы неприятности на студии…», «Гаврилу опять вызывали…», «Янчику нужны какие-то лекарства…» И практически, житейски чем мог помогал людям тоже.

Могу ли я забыть, как он, сам еле сводивший концы с концами, в дни крайнего *моего* безденежья, когда мне были отрезаны все пути, пытался сунуть в карман сотню рублей. Из тех денег, что время от времени подбрасывали ему друзья. Поистине готов был поделиться последним.

Любил дружить. Думаю, что это была одна из главнейших его черт. Она, кстати, чувствуется и во многих его вещах, стала сквозной темой — вплоть до последней «Маленькой печальной повести».

Отнюдь не претендуя на глубокомыслие, позволю себе заметить: человек одновременно существует как бы в разных измерениях. Для кого-то ты — один из многих, а для кого-то — средоточие мыслей и надежд.

Сколько капитанов Некрасовых было на фронте? Наверное, сотни. А для Зинаиды Николаевны Вика — единственный сын.

Я это к тому говорю, что при жизни Виктора Платоновича как-то сам по себе сложился кружок, где он был (вовсе к этому не стремясь) центром притяжения. Над этим можно, конечно, посмеиваться: кружок собутыльников, которые чаще всего разделяли с Викой застолье. Пусть так. А мы и не искали в нем пророка, законоучителя, «самого-самого». Он был добрый товарищ, верный друг, которым мы гордились.

Гордились его «Окопами Сталинграда».

Тем, как он, наш Вика, держится со всеми этими,

выкручивающими ему руки. Чего стоило, когда он на каком-то важном собрании, где его прорабатывали, начал путать имена секретарей ЦК, называя Шелеста (первого секретаря) Скабой (этот ведал идеологией), а Скабу — Шелестом. Сначала, кажется, по незнанию перепутал, а потом вошел во вкус…

Тем, как на парткомиссии, когда его исключали, он говорил: «Вы думаете, что только вы меня изучаете? Я тоже изучаю вас…»

Его корили за легкомыслие. Думаю, не без основания. Да, бывал легкомыслен. Но был и серьезен. И всегда был добр. Я думаю, что ему нравилось казаться легкомысленным, несерьезным, дилетантом в литературных делах. Само же качество его прозы, важнейшие его поступки говорят, что Виктор Платонович Некрасов был очень серьезный человек.

Любил знакомить людей, которые ему нравились, радовался, если они потом тоже становились друзьями, но не печалился, когда ничего из этого не получалось. Познакомил — уже хорошо. Пусть знают друг друга.

Так было, когда вдруг пришла открытка: в Ялте, в такой-то гостинице живет Вася Шукшин. Зайди, передай привет, и выпейте за мое здоровье.

Не пошел и до сих пор жалею.

Так было, когда написал, что в Симеизе, в тубсанатории, находится Ваня Д. Мёрзнет — нет теплых вещей. Привезите, если есть что. Поехали с Я. К. Вассерманом.

Так было, когда в Ялте появился на взятом напрокат «Москвиче» Володя Войнович и возникла идея съездить всей компанией (включая Зинаиду Николаевну) в Керчь, к Володиным родителям. Что за удивительная поездка через весь Крым получилась!

Так было, когда он однажды затащил меня в дом к Лунгиным, которые стали с тех пор мне людьми близкими и родными.

Так было с Анной Самойловной Берзер, «нашей Асей», как называл ее Вика. Вклад этой женщины, заведовавшей отделом прозы в «Новом мире», в нашу словесность по-настоящему еще не оценен. Она первой в журнале прочла «Один день Ивана Денисовича» и не просто сразу же оценила непреходящее значение этого великого произведения, но и сделала всё, что могла, для скорейшего его напечатания. Она была одной из тех, кто делал всё, что мог, чтобы облегчить последние страдания умирающего Гроссмана. Она всегда делает всё, что может.

Я был знаком с нею и раньше, но только благодаря Некрасову Анна Самойловна стала и для меня «нашей Асей».

Так было… Господи, да сколько раз так было!.. И последний

раз, когда уже я, сам того не зная, познакомил его с милыми и добрыми людьми. Весной 1980 года в мой почтовый ящик впорхнула вдруг открытка с симпатичным медвежонком коалой. «Пьем твое здоровье… Любим и помним. Целуем тебя, Мару и Леху. Вика, Светлана, Сева, Лиля».

Это же надо, чтобы вы, мои друзья, встретились и познакомились не в Москве, не в Киеве, не в Ялте, даже не в Париже, а Бог знает где. Или, как было сказано в обратном адресе: Мельбурн, Австралия.

Хочу на ходу поправить себя. Я вот сказал о легкомыслии. Оно имело, так сказать, место. А кто из смертных (да и бессмертных) не грешит этим! Уличить в легкомыслии нетрудно даже серьезнейших деятелей, решающих с умным видом судьбы миллионов людей. До чего же эти деятели, если вдуматься, бывают легкомысленны! Видимо, это общечеловеческая черта. Что касается Вики, то он был скорее простодушен. Как дети. Право. Ему было свойственно подмеченное еще Пушкиным и присуще самому поэту моцартовское начало. Увы, оно нечасто встречается.

Припоминается одно уже давнее ялтинское лето. Утро. Набережная. Мы встретились в центральной ее части.

— А что Леля? — спросил я.

— Работает, — не без иронии сказал Вика. — Каждое утро садится и работает…

Дальше последовал пассаж о том, что вот-де некоторые часами мозолят задницу, сидят от сих до сих, *работают*, а он, Вика, вертопрах и бездельник, однако же…

Черт дернул меня нравоучительно сказать:

— А Леля никогда не говорит о тебе плохо…

Устыдился.

Леля — Леонид Волынский — был давний друг, хороший писатель. К тому же это он, старший лейтенант Л. Рабинович, сыграл во время войны важнейшую роль в спасении Дрезденской картинной галереи. Вика всегда помнил об этом.

Не стоило злиться на него, верного и преданного товарища, потому только, что пренебрег приглашением праздно пошататься…

Случай я, наверное, привел необязательный и, может быть, даже неудачный. Привел лишь потому, что — так получилось — именно он запомнился. Сказать же этим хотел, что было в Вике нечто от птиц небесных из Нагорной проповеди.

Однако в той же проповеди есть совет: входите тесными вратами. И он ему неуклонно следовал.

При жизни Сталина доброхоты-редакторы советовали Некрасову добавить упоминаний о великом вожде и полководце. Он ответил: «Пусть будет, как есть». После смерти «отца народов» и особенно после переименования Сталинграда те же доброхоты требовали вообще убрать имя Сталина из романа. И опять Некрасов отвечал: «Пусть будет, как есть». Ему ничего не нужно было менять, нечего было стыдиться.

Это был тот редкий случай, когда появилась в нашей печати и даже была отмечена Сталинской премией абсолютно честная, внутренне свободная, нелживая вещь.

«Подумаешь, великое дело — говорить правду!» — могут сказать (и говорят иной раз) сегодня.

Великое. В. П. Некрасов был одним из тех, кто в самое лютое, глухое время спасал честь отечественной словесности.

Не берусь судить, кто именно из киевских друзей полушутя-полусерьезно стал его за глаза называть «классиком». Но шутки шутками, а «Окопы» Некрасова и впрямь классика. Популярность романа была необыкновенной. Добавьте к этому демократизм, общительность автора, его открытость, готовность тут же перейти на «ты»…

Могло показаться, что он неразборчив в своих дружбах и знакомствах. Особенно с точки зрения тех его знакомых и друзей, которые посолиднели, остепенились, стали респектабельными и благополучными. Сам лауреат определенно не стремился казаться человеком солидным, респектабельным: можно сказать, что его большей частью не заботило, как он выглядит, и это было еще одной чертой. При всем этом даже в ковбойке с расстегнутым воротником, в потертых джинсах и в кедах он выглядел изящным и легким.

Я об этом потому заговорил, что как-то мелькнуло в воспоминаниях: каким-де несчастным показался бедный Вика в Париже — даже шарфа на нем не было, пришлось мемуаристу свой отдать. Подумалось: а в Москве и Киеве он что — в енотовых шубах ходил? В таком же подбитом ветром пальто и тоже с открытой грудью. Это был, если хотите, его стиль.

Охотно верю, что взял этот шарф и даже расчувствовался, потому что брал у хорошего парня, усмотрел в этом некий жест и откликнулся на него. Сам любил дарить, делать сюрпризы.

Кстати, в Париж-то не за сытой жизнью, не к полным прилавкам поехал. Применительно к себе его это не занимало. Любил выпить и закусить, но вполне довольствовался водочкой и плавлеными сырками. Поехал потому, что не мог больше мириться с несвободой, с ложью, с диктатом дураков, которые указывали, что, о чём и как надо писать.

Ведь всё, что мог позволить себе здесь, — подписи под письмами в защиту других людей да эскапады в адрес власть имущих, которые его травили, но всё яснее становилось, что до добра это не доведет. Невыносимым оказалось положение, когда тебя бьют кирпичом по голове, а ты вынужден отбиваться свернутой в трубочку газеткой.

Правильно сделал, что уехал. Иначе не было бы тех вещей, что написаны в последние годы.

Но вернусь все же к неразборчивости в знакомствах. Понимаю, как она могла раздражать и действительно раздражала, особенно когда сопровождалась бражничеством, опасными разговорами, риском влипнуть в историю. А всё это было. Было, однако, и другое.

Помню, с какой вежливой непреклонностью этот безалаберный, казалось бы, в своих привязанностях и знакомствах человек отстранял попытки одной московской критикессы установить более теплые отношения. Дама была вполне свой, милый человек. Более того — за ней числилось несколько несомненно добрых дел. Я, дружа с обоими, ничего не мог понять. Вика отмалчивался. Прояснила всё в конце концов сама дама:

— Я однажды сделала гадость. Вскоре после выхода первой вещи Виктора Платоновича «В окопах Сталинграда» написала статью. Не только о романе, но и вообще «о так называемой окопной правде». Тогда можно было за это ругать. Абстрактный гуманизм… А где истинный героизм? Стыдно вспомнить. К счастью, она не была опубликована. Но не потому, что я не захотела. Были уже гранки. Помешало присуждение роману премии. Но он о статье знает. И не может забыть…

Оглядываясь в прошлое, во времена шельмования и травли, когда одним литераторам доставляло, казалось, особое удовольствие попинать ногами других, а то и вытереть с благословения начальства о них ноги, поражаешься абсурдности происходившего. Почему гуманизм, если он «абстрактный», а правда, если она «окопная», это непременно плохо? Почему нельзя усомниться ни в одной строчке Шолохова, скажем?

Сегодня сами вопросы кажутся наивными. Но Бог с ними!

Применительно к Некрасову складывалось впечатление, что выхода каждой его новой вещи ждут, чтобы тут же на нее обрушиться. Это касалось не только его, но он был из тех, кому доставалось особенно. Каждый жест, каждый поступок истолковывался предвзято и непременно отрицательно.

Однако происходило это на глазах миллионов и подспудно вызывало порой прямо противоположную реакцию. Рождалось

отвращение к осточертевшей всем наглой и бесстыдной лжи. Не только у московской дамы, устыдившейся своей давней рецензии, и вообще не только в кругах интеллигенции. Лучшие писательские публикации ломали сложившиеся стереотипы, будили мысль, рыхлили почву, сеяли семена для нынешних перемен.

Ведь что такое, скажем, некрасовские очерки о Франции, Италии, Америке, за которые его ругали «туристом с тросточкой»? Разрушение образа врага, как мы говорим сегодня. Но мы-то призываем к такому разрушению сейчас, а он написал свои вещи в конце пятидесятых — начале шестидесятых годов.

Некрасов был много и многих повидавшим, образованным, знающим человеком. Однако не помню, чтобы он когда-либо демонстрировал, выказывал это, что, увы, нередко у нас бывает. Назидательность была ему просто чужда.

Среди людей, с которыми он встречался, были светлые умы, выдающиеся ученые, крупнейшие писатели, художники. Никогда не говорил об этом специально: ко мне-де в Киев приезжал такой-то. Несомненно, такие общения были для него интересны и важны. Однако — заметим — и для его собеседников встречи с ним были важны и интересны.

Общение с ним обогащало. Его суждения были остры, парадоксальны и тонки. Свежая мысль, неожиданное наблюдение возникали как бы между прочим. А может, и впрямь между прочим. Он говорил, что думал, вот и всё. При этом не навязывал своих оценок и взглядов, был терпим к чужому мнению. Весьма терпим. За одним, как мне кажется, исключением. Русский интеллигент, дворянин по происхождению, он был абсолютно чужд национальных предрассудков, и особенно — национальной спеси. Это было для него неприемлемым и даже враждебным.

Он всегда был на стороне гонимых и преследуемых, но особенно — если человека преследовали только потому, что он еврей или, к примеру, крымский татарин.

Удивительное дело — Некрасов разрушал образ врага, утверждал общечеловеческие ценности, а из него самого хоть и топорно, но настойчиво пытались *сделать* врага, «антипатриота». До чего же это было гадко, особенно если вспомнить фронт, ранения, боевые награды! Не сказать, чтобы он нестерпимо страдал. И все же страдал. И выход это находило во хмелю.

Как-то после очередной его филиппики по поводу происходящего у нас в стране я спросил, а как он там, «за бугром», говорит на эти темы. Усмехнулся:

— Как мог, пытался защищать этих мудаков…

Но к тому времени его уже давно не выпускали за границу. Уж не потому ли, что понимали: защищать их стало невозможно?

Кстати, зная его, понимаешь, что защищал он не из желания кому-то потрафить или продемонстрировать лояльность. Предпочитал говорить всё, что думал, здесь, дома, прямо в глаза.

Оказавшись уже навсегда за рубежом, лишенный советского гражданства, он тоже ведь не отличался по части высказываний. Говорил о происходящем на родине с горечью и болью. Как мы сейчас сами говорим.

Оскорбительно было то, *как* его не выпускали.

Ко времени выхода в свет этих воспоминаний у нас, я надеюсь, уже будет опубликована еще одна «маленькая печальная повесть» Вики, написанная в Париже. Называется она замысловато. Вначале какое-то безобидное французское проклятие в сочетании с русским — «…или Если бы да кабы».

Читая ее, я вдруг подумал о Некрасове: а ведь он был не так уж и открыт, как казалось, не так уж и распахнут. Никогда почти не вспоминал о своем погибшем старшем брате, например… Здесь он рассказывает и о нем, и о своей тогда еще молодой и полной энергии маме, работавшей госпитальным врачом в Париже в годы первой мировой воины, о тете Соне — удивительном, судя по всему, человеке. Вы узнаете о мальчике Вике, гулявшем в Люксембургском саду, о его семье, знакомой с Ульяновыми, Луначарским, с радостью встретившей революцию в России и поспешившей из Франции, где было, между прочим, и сытнее, и спокойнее, на родину, чтобы помочь ей, чем только можно. Интересы родины — так без громких слов было заведено в этой семье — превыше всего!

И вот этого исколесившего полсвета Вику, ставшего героем войны и знаменитым писателем, не пускают теперь проститься со стариком дядей, доживающим свой век в Швейцарии. Не пускают, явно глумясь, издеваясь, демонстрируя человеку его полное бесправие и незащищенность.

Преподавались Некрасову и другие уроки такого же рода. Вызывали они, как мне кажется, не только чувство бессилия, но и ярость, гнев. Как раз в то время, помнится, он начал писать «в стол». Раньше, случалось, простодушно огорчался, что вот-де у него, в отличие от некоторых других писателей, ничего не лежит под запретом в столе — с большими или меньшими потерями, но написанное, хоть и с трудом, все же публикуется.

«Сюрреалистические» рассказы о Корнейчуке и о Сталине удивили и восхитили. Особенно первый. Ничего подобного у него прежде я не знал. Однако дальнейшее, и в частности появление повести «Случай на Мамаевом кургане», показало неслучайность

этих вещей.

Когда человек уходит, мы вспоминаем огорчения, которые причиняли ему. Не обойтись без этого и мне.

Шли как-то по Приморскому парку в Ялте. Направлялись в сторону Желтышевского, тогда еще почти дикого, не тронутого застройкой, пляжа. Нас ждала теплая компания. Предстояло милое, вполне бестолковое мероприятие с ушицей, ставридкой, поджаренной на шкаре, и прочим. О чем-то говорили. Неожиданно Вика спросил:

— Как тебе памятник?

— Не очень, — ответил я.

— Почему?

Чехов на памятнике в ялтинском Приморском парке изображен сидящим с записной книжкой в руке. Мне что-то не нравилась записная книжка. Почудилось в этом нарочитость. Однако еще больше смущал… башмак.

Чехов сидел, закинув ногу на ногу, и нависавший над пьедесталом левый башмак бросался в глаза прежде всего, отвлекал на себя внимание, казался огромным. Всё дело, видимо, в ракурсе. Допущен, на мой взгляд, просчет…

Я сказал об этом и увидел: Вика огорчился. Но почему?

— Этот памятник сделал мой родственник, — сказал он.

Мы подошли поближе, и я прочел: скульптор Мотовилов.

Мотовилова — девичья фамилия его мамы.

Но не это, пожалуй, было главным. Огорчило его, по-видимому, то, как решительно, с зубоскальством я говорил и об этой книжечке, и о башмаке, а в сущности — о чужой работе. Посмотрел даже, помнится, на меня удивленно: откуда, мол, ребята, в вас эта злость? Сам он так и не стал злым человеком.

Вика вообще нередко спрашивал: как тебе нравится то или другое, и бывал рад, когда вкусы совпадали.

«Как тебе Крещатик?»

«Как тебе Дом творчества в Ялте — само здание?»

«Почему? А мне нравится…»

С ним интересно было гулять по Киеву, по Москве. Своя прелесть была в прогулках по Киеву в компании еще кого-нибудь из старых киевлян (Рафы Нахмановича, скажем), а по Москве — с Семеном Лунгиным. Тут уж начинались споры, дружеские подковырки, уточнения — было мило и весело.

В наше смутное, ненадежное время он был устойчив в своих симпатиях и антипатиях. Но особенно — в первом. Настроить его против кого-либо понравившегося ему было делом безнадежным. Это приводило к забавному положению. Среди близких его

знакомых были люди, принадлежавшие, так сказать, к интеллектуальной элите общества, и были те, кого это общество не без оснований относило к люмпенам. Для тех у Вики находилось одно, для этих — другое. Сам он ни к кому не приспосабливался, не менялся.

Как искренно он радовался удачам, успехам друзей! Об этом могли бы рассказать многие.

Вспоминается мимолетный вроде бы разговор. На меня произвела сильное впечатление только что опубликованная повесть Тендрякова «Кончина», и я сказал об этом. Вика как-то обостренно заинтересовался, начал расспрашивать, выяснять подробности. Это при том, что вообще читал выборочно и не очень-то жаловал сугубо литературные разговоры. А тут вдруг такой интерес. Слушал, будто самого хвалили, и получил явное удовольствие.

Но вернусь к причиненным ему мною огорчениям.

Другой случай произошел в Киеве, у Некрасова дома. Говорили о несчастном, униженном положении литератора в нашей стране, о давней традиции в этом отношении. Говорил главным образом я, потому, наверное, что как раз накануне из журналов вернули несколько вещей, а в издательстве намертво забодали сборник рассказов — и всё это сочувственными, извиняющимися письмами или словами. Вика молча слушал. Ему ли всего этого не знать! Каждая его публикация превращалась в сражение.

Но речь шла все-таки не о нем, не обо мне, не о наших общих знакомых, а **вообще**, о традиции, о ставшем в нашей стране нормой отношении власти к пишущему человеку. Ведь даже Пушкин, сам Пушкин бывал не раз унижен…

— Что ты имеешь в виду?

— Да хотя бы его обращения к этому сукину сыну Бенкендорфу.

В прихожей стоял стеллаж, набитый книгами, и я взял 10-й том Пушкина — письма. Без труда, поскольку листал этот том раньше, нашел, что хотел. Начал читать: «Милостивый государь Александр Христофорович, по приказанию Вашего превосходительства, являлся я сегодня к Вам, (…) но меня не хотели пустить и позволить мне дожидаться…» То есть Пушкина выгнали, по сути!

— Не надо, — попросил Вика.

Я, однако, не мог остановиться. «…С благоговением приемлю решение государя императора и приношу сердечную благодарность Вашему превосходительству за снисходительное

Ваше обо мне ходатайство…»

Следующий абзац, как мне казалось, просто невозможно было не процитировать — настолько он оказался злободневным: «Так как шесть или семь месяцев остаюсь я, вероятно, в бездействии, то желал бы я провести сие время в Париже, что, может быть, впоследствии мне уже не удастся. Если, Ваше превосходительство, соизволите мне испросить от государя сие драгоценное дозволение, то Вы мне сделаете новое, истинное благодеяние…»

— Не надо, — опять попросил Вика, но мог ли я не дочитать до конца!

> «…Пользуясь сим последним случаем, дабы испросить от Вашего превосходительства подтверждения, данного мне Вами на словах позволения: вновь издать раз уже напечатанные стихотворения мои…»

Вика протянул руку и взял у меня книгу. Это при его деликатности было равносильно тому, что он ее у меня вырвал. Он страдал. Ей-богу. Ему доставляла страдания эта история.

При том, что его проза большей частью точна, стройна, взвешена, что сам он был ироничный человек, в моей памяти Виктор Платонович остается мечтателем и романтиком. Так в д'Артаньяне (а Вика всегда казался мне похожим на него) удаль и готовность обнажить, черт возьми, шпагу сочеталась с житейским практицизмом. Он был вольный стрелок, франтирер, оружием которого стало слово.

Все ли рады его возвращению? Голосов «против» покамест не слышал. Но само возвращение идет медленно и усеченно. Значительнейшие его вещи пока остаются неизвестными нынешнему молодому читателю. Об иных этот читатель и не слышал. Надеюсь, ко времени выхода этих воспоминаний всё переменится, а сейчас мы больше слышим и читаем о *нём*, чем его самого. При этом некоторые высказывания вызывают странное чувство. Люди вполне вроде бы доброжелательные предпочитают писать или говорить о Некрасове то как о славном малом (кажется, и сам я отчасти сбился на этот тон), то как о неком enfant terrible, шокирующем чрезмерной непосредственностью.

Однако всем нам он интересен прежде всего как писатель. Именно в этом качестве он реализовал себя с наибольшей полнотой. Но странность в том и заключается, что писательская ипостась Некрасова остается как бы за кадром.

Бывает и хуже, когда после дежурных слов о добром малом Вике читаешь: «Там, где он начинал писать *художественно*,

выдумывать психологию, он сразу терял». Да понимает ли написавший это доброжелатель, что он тем самым пытается перечеркнуть писателя? Особенно в условиях, когда читатель не имеет доступа к первоисточникам, к текстам.

Можно — и надо бы — не заметить этой фразы, но не могу и не хочу. Тем более, что вижу в ней рецидив давней хронической болезни, имя которой — снобизм, вызванный узостью, зашоренностью мышления. Ею иной раз страдали даже люди поистине замечательные.

Вспоминается давний эпизод. При желании можно бы вспомнить поточнее, когда это было. Году, видимо, в шестьдесят пятом или около того. Скорее всего — летом, потому что шли мы от Лунгиных по Садовому кольцу пешком, и я заранее оговорил, что в редакцию заходить не буду, покурю на скамейке в сквере, что за спиною Пушкина.

Некрасов шел на заседание редколлегии, где должны были обсуждать его новую вещь.

Ждать пришлось довольно долго. Наконец он вышел, и мы поплелись назад, петляя переулками, в которых я до сих пор толком не могу разобраться.

Я ни о чем не расспрашивал: захочет, сам всё скажет. Однако отметил, что Вика невесел.

Оп предложил зайти в «Олень», заведение возле планетария, где в те времена еще «подавали».

— Знаешь, как начал Твардовский редколлегию? — сказал вдруг Вика.

Я промолчал — откуда мне знать?

— «Нам предстоит трудная задача: рассмотреть очередное слабое произведение Виктора Некрасова…»

Я даю здесь эти слова как прямую речь, что, конечно же, неправильно: невозможно четверть века спустя дословно по памяти воспроизвести сказанное человеком. Однако за точность именно этих услышанных тогда слов готов поручиться: они меня поразили своей несправедливостью. «Очередным слабым произведением» была повесть «Случай на Мамаевом кургане» — вещь глубокая и тонкая, полная силы и изящества, печали и иронии. Одна из самых дорогих для меня некрасовских вещей.

Тут необходимо отступление. За какое-то время до этого я виделся с «нашей Асей» и — так случилось — произнес чуть ли не речь о Вике. Она спросила: «А ему самому вы это говорили?» Я удивился: зачем? Разве ему это нужно? Анна Самойловна сказала: нужно. И вот теперь я сам наконец это увидел.

Держался Некрасов, как всегда, хорошо, но был замордован, задерган. Публикации проходили тяжело. Да и в целом

обстановка была скверной. Не знаю, что и сказать: то ли шабаш ведьм, то ли охота за ведьмами. И это — «от Москвы до самых до окраин». Мы явно катились к новому средневековью.

Но тот удар, о котором сейчас речь, был из тех, что наносятся дружеской рукой и с полным чувством собственной правоты. Потому и был особенно тяжел. Впрочем, такое в истории нашей словесности не раз бывало.

Я даже думал одно время: не в самом ли Вике причина? Не в его ли манере держаться, в неумении и нежелании корчить из себя мэтра? Нет. Ей-богу, нет. Просто вещь, как видно, тогда «не показалась».

— Вика, — сказал я ему, — наплюй! «Новый мир» — замечательный журнал, и Твардовский замечательный человек, но ты должен знать себе цену и свое место в литературе…

(Конечно же, говорил я не совсем так, и выражения употреблялись куда более энергичные, но не в том суть. Я говорил, что думал, и сейчас вспоминаю об этом потому, что думаю так же).

— …Твои «Окопы» — первая (и долгое время бывшая единственной) по-настоящему честная книга о войне. Когда-то говорили: все мы вышли из гоголевской шинели. Многие пишущие о войне могли бы сказать, что они вышли из некрасовских «Окопов».

Ты написал первую честную книгу о послевоенной жизни — «В родном городе». Своей «Кирой Георгиевной» ты открыл тему «великого реабилитанса». Твои заграничные очерки открыли нам мир нормальных, человечных людей, которые не догоняют, не перегоняют, не перевыполняют, а просто живут по-людски. И всё это не потому, что ты специально спешил выполнять чей-то «социальный заказ», — такой у тебя склад таланта. Тургенев тоже не заигрывал со злободневностью — он просто писал романы, которые волновали людей своей остротой.

И нынешняя твоя повесть есть нечто принципиально важное и новое: она — первая за долгие десятилетия «странная» вещь в нашей литературе…

Позже, после опубликования повести в журнале (она была всё же напечатана — кажется, вместе с камчатскими рассказами Некрасова), мы как-то вернулись к этому.

— Нет, она не была первой в этом роде, — сказал Некрасов. — Еще раньше в «Новый мир» Катаев отдал «Святой колодец»…

— Но первой опубликована все-таки твоя вещь…

Он пожал плечами. Ему это, видимо, не казалось существенным и важным. Теперь и я с ним согласен. Существенно и важно было другое — то, что после смерти Твардовского он

написал полный искреннего и доброго чувства очерк о нём. И в этом — весь Вика.

Ялта, 1989.

Утевская Паола
Мозаика

О Викторе Платоновиче Некрасове вспоминают сейчас и еще долго будут вспоминать — и как о писателе, и как о человеке. Пишут о серьезных, подчас трагических событиях его жизни, о многом. Мне же хочется рассказать о каких-то внешне, быть может, незначительных эпизодах, свидетельницей которых я была, эпизодах, в которых проявлялись маленькие штришки того большого портрета, который я нарисовать не берусь.

Давно, когда Виктор Платонович жил еще в Киеве и подчас совершал поступки, не сулившие ему ничего хорошего, меня часто преследовала мысль: читая биографию Пушкина, мы удивляемся его друзьям, не сумевшим предостеречь, уберечь его; ведь так когда-нибудь будут судить и Викиных друзей. И судить несправедливо. Окружение у него было более чем разношерстное. Были и настоящие друзья, честные, смелые, правдивые люди, искренне его любившие. Часто появлялись у Вики и новые друзья, которыми он увлекался, находя в них несуществовавшие в действительности достоинства, а потом то ли разочаровывался в них, то ли просто они ему надоедали, перестали быть интересными. Незыблемой была только дружба с Леонидом Волынским, Раисой Линцер, Игорем Сац, Исааком и Евой Пятигорскими, Анной Берзер, Владимиром Александровым, Михаилом Пархомовым, Иваном Дзюбой, Николаем Дубовым, Яней Богорад. Но сколько же было вокруг него и лживых, мелких душонок. Как мухи на мед, липли они к его имени, к его славе. Поощряли слабости, подчас губительные…

Вика был не больно управляемым человеком. Волынского отличали холодноватый ум и железная логика. Вика любил и уважал своего друга, но часто ли прислушивался к его умным речам? А разве недостаточно считался он с Николаем Ивановичем Дубовым? Но присущий Дубову скепсис, сочетавшийся с внешней сдержанностью, при всей честности и абсолютной порядочности Николая Ивановича уж больно не совпадали с характером увлекающегося, ироничного, не раз бросавшегося очертя голову навстречу случайным людям Некрасова… Пожалуй, смелее других был Михаил Пархомов. Он не боялся «испортить отношения» с Викой и решался говорить ему горькую правду, на

что не решались другие. Ну и что? Мы почти все были немного влюблены в Некрасова. Все бы мы, как говорится, подложили под него руки, да разве под такого подложишь? И пусть в будущем молодые поколения не упрекают друзей Некрасова в том, что они его не защитили, не спасли…

Вика всегда прислушивался к литературным советам Игоря Александровича Саца и Владимира Борисовича Александрова. Это они обратили когда-то внимание на рукопись никому тогда не известного киевского автора Виктора Некрасова, на повесть «В окопах Сталинграда». Но, относясь к Сацу и Александрову с неизменным уважением, Вика во многих серьезных вопросах оставался при своем мнении.

Вспоминаю эпизод, связанный с одним из приездов Владимира Борисовича в Киев, уж очень характерный для Вики.

Среди киевской интеллигенции издавна принято угощать приезжих гостей… Киевом. В тот раз приехал из Москвы наш общий друг, Владимир Борисович Александров. Вика, загадочно улыбаясь, сказал, что едем на Аскольдову могилу. От Аскольдовой ротонды на следующую террасу ведет небольшая лестница. Вика торжественно сообщает:

— А эта лестница — мой дипломный проект. Да, да — мой дипломный проект! За этим я вас сюда и привел, чтобы похвастать…

Излияния наших восторгов прервал дождь. Спрятались в небольшом кафе «Чайка», а когда дождь прекратился, двинулись дальше.

Перед нами большая клумба. На траве и листьях еще поблескивают капельки только что прошедшего дождя.

— Правда, красотища неописуемая? — с гордым видом хозяина произносит Вика.

Соглашаемся. Я похвалила большую пунцовую розу, распустившуюся посреди клумбы. Вика быстро нагибается, закатывает холщевые брюки и большими прыжками устремляется к кусту, возится, срывая розу. Владимир Борисович обращается ко мне:

— Если бы поблизости оказался милиционер и захотел бы призвать Виктора Платоновича к порядку, нам вряд ли удалось бы доказать ему, что «нарушитель» — писатель с мировым именем.

Писатель «с мировым именем» торжественно преподносит мне цветок, с победоносным видом оправляет брюки, и мы отправляемся дальше вдоль Петровской аллеи.

Владимир Борисович хохочет, а у Вики сосредоточенно важное лицо, и только в глазах искринки смеха.

Серьезное лицо и смеющиеся глаза. Впервые я это заметила при нашей первой встрече, для меня нелегкой. И вот почему. Когда в журнале впервые были напечатаны «В окопах Сталинграда», особенно восхищались повестью бывшие «сталинградцы». Службу в армии я начала в Сталинграде. И, когда читала повесть Некрасова, была потрясена ее правдивостью. В те времена наша литература этим не отличалась. Я написала рецензию на повесть и подала ее в журнал «Дніпро». Не буду называть имен людей, отредактировавших мой опус, их уже нет в живых. Господь им судья, но отредактировали они ее с пристрастием, выбросив все положительные оценки и добавив немалую толику дегтя к немногим критическим замечаниям. К счастью, один абзац они так неудачно сократили, что каждому было ясно: выше была явно положительная оценка, тщательно вычеркнутая.

Я была начинающим литератором и просто не знала, что нужно прочесть верстку, даже, кажется, не знала, что такое верстка. Когда журнал вышел, пришла, мало сказать, — в отчаяние. И вот случайно в редакции газеты «Радянське мистецтво», кажется, так называлась сегодняшняя «Культура і життя», в коридоре сталкиваюсь лицом к лицу с Некрасовым. Не очень задумываясь над тем, что делаю, я подошла к нему и, немного заикаясь, проговорила:

— Вы — Виктор Некрасов? А я — автор рецензии в «Дніпрі»…

Сказала и осеклась. Некрасов делает ужасно грозное лицо, а в глазах — смех.

— Что же это они вас, уважаемый автор, так плохо отредактировали?

Я пытаюсь что-то объяснить, сбиваюсь, а он, добродушно улыбаясь, говорит:

— Да что вы оправдываетесь? Каждому всё ясно… В будущем не будьте лопухом…

С этого дня началась наша дружба. Долголетняя. Чего греха таить, бывало, что он загонял меня в угол, добродушно подтрунивал надо мной, и кончались подобные диалоги ставшим уже привычным: «Да что вы оправдываетесь!»

* * *

Всем, знавшим Некрасова, хорошо известна его привязанность к матери. Думаю, что секрет нашей с ним долголетней дружбы в том, что подружились наши мамы. Не могу похвастать тем, что ему всегда было интересно со мной. Не

обольщаюсь. Но я была чем-то связана с Зинаидой Николаевной, и, по-своему, он в течение многих лет относился ко мне с исключительной теплотой. Теплыми были и полученные мной от него, уже из Парижа, из эмиграции, письма.

Не помню, в каком году это было. Я не в ладах с датами. Вика с Зинаидой Николаевной только что вернулись из Ленинграда, где должны были снимать по его сценарию фильм. И ничего из этого не получилось, только было очень много обидного и горького.

За столом собрались друзья. Зинаида Николаевна наивно рассказывает нам, как хорошо провели они в Ленинграде время:

— Нас с Викочкой все очень хорошо принимали, и мы так веселились…

Кто-то из присутствующих недоуменно хмыкнул. Вика, боясь, что при матери могут проболтаться о том, что было в Ленинграде в действительности, резко, раздраженно говорит:

— Да, да! Нам было очень хорошо, мы очень веселились!

Мы надеваем на лица улыбки и согласно киваем головами, продолжая слушать рассказы Зинаиды Николаевны.

* * *

Едем отдыхать в Ялту: Вика, Зинаида Николаевна и я. Путевку мне достает через Москву Вика. Позвонил моей маме и объяснил ей, сколь необходим мне отдых, послал телеграмму в Литфонд в Москву. Прекрасно понимаю, что нужна ему на подмогу. Но Зинаиду Николаевну я искренне любила. Это был исключительно порядочный человек. Слушать ее рассказы было очень интересно, особенно если они начинались словами:

— У нас в Швейцарии…

И вставали из ее рассказов картины жизни дореволюционной интеллигентской эмиграции, жизни людей, по нынешним нашим понятиям, быть может, очень наивных, но, бесспорно, благородных. Конечно, были там и другие, но ведь Зинаида Николаевна рассказывала о своих друзьях, а в семье Некрасовых был принцип: дружить только с хорошими людьми, хотя, увы, иногда они очень в людях ошибались.

Рассказы о политических спорах того далекого, дореволюционного времени Зинаида Николаевна пересыпала отдельными, вроде бы незначительными деталями, а в результате перед слушателями возникала красочная, богатая интересными характеристиками картина.

Жили Некрасовы и в Швейцарии, и в Париже. У Зинаиды

Николаевны менялся, теплел голос, когда она вспоминала свои прогулки с маленьким Викой по Булонскому лесу, рассказывала даже, во что он был одет, и сокрушалась: «Викочка совсем, ну, совсем забыл французский язык!»

Не поверила бы она, о Господи, если бы кто-нибудь сказал ей, что вскоре придет страшное время, что ее Викочка станет эмигрантом и будет похоронен не на киевском Байковом кладбище рядом с ней, а в далеком Париже. А его киевские друзья по телевизору увидят надгробия, показанные одно за другим, — Бунину, Галичу, Тарковскому, а на одном прочтут: «Виктор Платонович Некрасов».

* * *

Однако вернемся почти на три десятилетия назад.

Перспектива отдыха в Ялтинском доме творчества была более чем заманчивой, и я с удовольствием еду.

Самолет прибывает в Симферополь уже в сумерки. Это 1960-й год, такси еще в диковинку, и достать машину — проблема. Вика отправляется на поиски машины. Обращается ко мне:

— Мать ни на шаг не отпускайте от себя…

Я поняла: Зинаида Николаевна до конца жизни не потеряла любопытства к окружающим, и Вика боялся, что она может заблудиться, а главное:

— У нас уважение к старикам больше в песне. Мать обратится к какому-нибудь подонку с самыми лучшими чувствами, а он ей нагрубит.

И в течение месяца в Ялте, всё время общаясь с людьми, он ни разу, ни на миг не упускал мать из поля зрения. Было у него тогда два основных занятия.

Незадолго до своего отъезда в Ялту Вике попалась повесть Александра Ильченко «Франческа и Роман». Я ее не дочитала, но помню, там фигурировала история о встрече и, кажется, любви между советским матросом Романом и итальянкой Франческой. Позже, если я не ошибаюсь, был снят фильм по этой повести. Вика дал почитать ее Леониду Волынскому, и они решили снять фильм-пародию под названием «Паола и роман».

Сценарий создавали на ходу. И так он был не похож на всё написанное Волынским, и особенно Некрасовым, что позволю себе коротко передать содержание нашего фильма.

Советская туристка Паола попадает с группой соотечественников в Италию. Дальше — Паола «оторвалась от коллектива», в восторге от западной «красивой» жизни. Разиня по

природе, она не замечает, как вор Тото крадет у нее чемоданчик. Главная ценность находившегося в чемоданчике имущества — толстенный роман (мы для реквизита использовали том Большой Советской энциклопедии, сделав суперобложку с фамилией автора — С. Писательский). Книга переходит из рук в руки, и каждый читающий неизменно засыпает. Паола обращается к частному детективу, прося найти украденное. Большое количество пленки ушло на эпизоды погони детектива за вором. Роль Тото исполнял Некрасов (внешне он действительно был похож на известного итальянского комика Тото), роль детектива — Волынский, роль Паолы — ваша покорная слуга. А в массовках участвовали живущие в Доме творчества писатели. Американского миллионера играл Всеволод Иванов, светскую львицу — красавица Тамара Владимировна Иванова, патера, венчающего в конце фильма Паолу и Тото, — физик Шальников и т. д.

Многие сцены были придуманы специально для Зинаиды Николаевны. Операторами были Вика, Волынский и я. Пленки было мало. И когда я вначале испугалась, что испорчу по неопытности, Вика меня успокоил:

— Не бойтесь, этот аппарат рассчитан не на мудрецов. Вы, безусловно, справитесь…

Один смешной трюк сменял другой. Чего там только не было! И хотя соавторы Некрасов и Волынский работали дружно вместе, их поведение было разным, как и характеры. Леонид Наумович привносил в фильм изящество, отточенность отдельных сцен, а Вика — неуемную, подчас детскую веселость, неистощимую изобретательность комичного и страстную увлеченность.

Позже, когда фильм был закончен, он вызывал у зрителей, собиравшихся на домашние сеансы, приступы гомерического хохота, а когда через несколько лет я впервые пришла в гости к Эренбургам, произошла сцена, поначалу меня сильно сконфузившая. Еще в передней, снимая с меня пальто, Илья Григорьевич вдруг неудержимо расхохотался, еще громче смеялась Любовь Михайловна, а я стояла смутившись и ничего не понимая. Поняла лишь тогда, когда Любовь Михайловна буквально сквозь слезы проговорила:

— Простите, но, глядя на вас, нельзя не вспомнить ваш фильм…

Второе занятие в Ялте у Некрасова — писал «Киру Георгиевну». Увы, без того энтузиазма, с которым снимал фильм. А чтобы освободить себе время для работы, отправлял Зинаиду Николаевну со мной на прогулки, каждый раз напутствуя меня:

— Если увидите, что мать устала, ни слова ей об этом. Мать

этого не любит. Притворитесь, что устали вы и вам необходимо посидеть и отдохнуть.

Однажды я собралась поехать во Фрунзенское. Это селение у подножия Аю-Дага еще недавно именовалось Партенит. Какому-то идиоту захотелось заменить название, корни которого уходят в глубь тысячелетий, а впрочем, после 1944-го года почти все названия в Крыму были изменены… Здесь, если верить мифу, был храм Артемиды, куда богиня перенесла Ифигению. Здесь происходило действие трагедии Еврипида «Ифигения в Тавриде».

Об этом поселке и об этом месте писал Мыкола Зеров:

На скелях, де ламають діоріт,
За темною грядою Аю-Дага,
Розташувала давня грецька сага
Храм Артеміди,
Перший Партеніт…

Вот туда-то я и хотела поехать. Поехать не с шумной компанией, а в одиночестве, ибо следы античности, вызывавшие у меня умиление, могли бы вызвать у других моих спутников чувство элементарной скуки.

Спускаюсь от Дома творчества к пристани. Меня окликает Вика. С ним Зинаида Николаевна и Марк Поляков. Вика спрашивает, куда я еду, и решает:

— Партенит отставить! Нечего быть занудой и щеголять эрудицией. Без этих фантазий! Едем вместе на Золотой пляж. Нам без вас будет скучно. Мы с Марком будем развлекать вас обеих…

Каюсь, кажется, хорошо знала Вику, но «клюнула». Едем на Золотой пляж, Вика устраивает Зинаиду Николаевну и меня в одном месте, а сам с Поляковым отправляется на несколько часов достаточно далеко от нас, явно чтобы мы не мешали их беседе.

На обратном пути назидательно говорит мне:

— Ведь правда было интереснее, чем в Партените? Мы вас хорошо развлекали? Нужно слушаться старших…

Мне остается в ответ только расхохотаться…

* * *

До войны в Киевском строительном институте учились три друга-товарища: Виктор Некрасов, Леонид Серпилин и Сергей Даманский. Незадолго до войны Сергей женился на их общей приятельнице Евгении Александровне Гридневой. У них родилась дочь Ирочка. Сергей не вернулся с фронта — погиб в одном из

последних боев Отечественной войны. А Женя всю оккупацию прокормила свою мать, Ирочку, Зинаиду Николаевну с ее сестрой Софьей Николаевной и их мать, Викину бабушку. Женя ходила в соседние деревни, как тогда говорили, «на менку», всё, что могла, выменивала на продукты. Некрасов и Серпилин называли ее «Святая Женевьева».

После войны жилось «Святой Женевьеве» нелегко. У матери — грошовая пенсия, у Жени — маленький оклад сотрудника отдела писем в одной из украинских центральных газет. Однажды Вика приходит к нам и усаживается на диван, поближе к моей маме. Они вообще дружили. Мой покойный отец был скульптор-авангардист, и родители были очень близки с братьями Бурлюками, с Кандинским, с Куприным. Вика любил слушать мамины рассказы об этих людях, живших в начале века в Одессе. Но на этот раз темой беседы были отнюдь не воспоминания о далеком прошлом, а день сегодняшний.

Вика спрашивает:

— Сколько стоит на рынке курица?

Точно не помню тогдашних цен, но, допустим, «пятьдесят рублей». Вика сосредоточенно задумался. Снова вопрос:

— Ваша домработница связана с деревней?

— Связана…

— Так нельзя ли, чтобы Паола хоть раз в неделю заносила Жене купленную на рынке курицу и говорила, что это привезли родственники вашей домработницы из села?

И тут же выкладывает на стол деньги на будущие покупки «дешевой птицы».

Несколько месяцев дурачили мы Женю. Пишу об этом свободно — ни Жени, ни ее дочери уже нет в живых…

* * *

Воспоминания — как мозаика. Вот еще одно.

Женя собирается с Ирочкой в Ленинград, в отпуск к родителям покойного Сережи. Ее свекор — известный ученый, Борис Иосифович Даманский. Он помогал Жене, но самолюбивая Женевьева как-то пожаловалась, что ей неприятно без копейки денег ехать к богатым родственникам. Накануне Жениного отъезда ко мне приходит Вика, сует мне пачку денег и заговорщицки говорит:

— Завтра вы тоже приедете на вокзал, я уведу Женю из купе, а вы в сумку или в чемодан сунете ей эти деньги…

Было время, когда Некрасов получал большие гонорары.

«Окопы Сталинграда» издавались и переиздавались. И с какой же щедростью он и Зинаида Николаевна помогали всем нуждавшимся друзьям! А их было немало.

* * *

Когда в течение нескольких лет моя мать тяжело болела и я почти не выходила из дому, Вика часто приходил к нам. Однажды принес мне денег. Я растерялась: они действительно были мне нужны, но вернуть долг в обозреваемом будущем было неоткуда. Я сказала ему о этом. Он вспылил и вдруг произнес нечто совершенно на него не похожее:

— А если бы вы были моей сестрой, вы тоже наговорили бы мне этих глупостей? Так вот: считайте себя моей сестрой…

* * *

У Зинаиды Николаевны было много чудачеств, пожалуй, возрастных. Но как часто поражала она нас трезвостью и здравостью своих суждений!

Среди Викиных друзей она явно выделяла Ивана Дзюбу. Когда Вика с ним уходил куда-нибудь, Зинаида Николаевна была спокойна — знала, что ничего нежелательного с ними не произойдет.

Вспоминаю первое появление Дзюбы в доме Виктора Платоновича…

Столовая в квартире Некрасовых. Идет традиционное чаепитие. Когда я пришла, «аншлага» еще не было, но друзья, как обычно, появлялись один за другим.

Во главе стола — Некрасов, а рядом с ним — Иван Дзюба. Кто бы ни вошел, Вика неизменно повторяет одну и ту же фразу:

— Смотрите, вы знаете, кто это сидит рядом со мной? Это Ваня Дзюба! Тот самый Ваня Дзюба, который смелее и порядочнее всех нас! Тот самый Ваня Дзюба, который в кинотеатре «Украина» призывал людей протестовать против начавшихся арестов…

Это было в 60-х годах. В кинотеатре «Украина» был устроен просмотр фильма Параджанова «Тени забытых предков». Перед началом сеанса на сцене за столом собрались авторы фильма: режиссер Параджанов, художник Якутович, оператор Ильенко, исполнитель главной роли Иван Миколайчук и другие. Их поздравляют, преподносят цветы, говорят хорошие слова. Говорят искренне, взволнованно, ведь фильм действительно

замечательный. Одна из художниц осталась без цветов. Поднявшийся на сцену Дзюба преподносит ей небольшой букет, а потом обращается к залу и говорит о том, что в стране снова начались репрессии, что честные люди не должны молчать… В зале шум. Кто-то предлагает всем, кому не безразлично происходящее, кто протестует, подняться с места. Поднимается большая часть публики. Администрация перепугана: откуда-то взялись мегафоны, которыми стараются заглушить голос Дзюбы, голоса и выкрики из зала…

Начиная с 30-х годов, со времен страшных сталинских репрессий, люди выучились молчать, и выступление Дзюбы было подобно разорвавшейся бомбе. Но это выступление не вызвало в народе широкого резонанса. О нем говорила интеллигенция, говорила с глубоким уважением, но больше шепотом и оглядываясь.

Еще до происшедшего в кинотеатре «Украина» Дзюба стал в литературных кругах заметной фигурой благодаря ряду блистательных и смелых литературных статей. Прочтя первую из них, Некрасов захотел поскорее познакомиться с Иваном Михайловичем, искал его в Крыму, где тот лечился, но они как-то разминулись. Знакомство в конце концов состоялось уже в Киеве, и зародившаяся взаимная симпатия вскоре перешла в дружбу, продолжавшуюся в течение многих лет.

У Некрасова она была похожа на страстную влюбленность, и вот тогда-то и состоялось чаепитие, с которого я начала свой рассказ.

Надо сказать, что если все мы радостно пялили на Дзюбу глаза, то у него самого вид был далеко не восторженный. По своему характеру человек очень скромный, он выглядел растерянным, казалось, ему хочется провалиться сквозь землю. Общий энтузиазм, шум вокруг его персоны вызывал у него буквально физические страдания.

Некрасов и Дзюба остались верны своей дружбе до самой эмиграции Вики в Париж, хотя во многом они были тогда не согласны друг с другом — в частности, как я слышала, Дзюба считал Викин отъезд необдуманным поступком.

Пишу об этой дружбе хотя бы потому, что в ней особенно ярко проявился характер Виктора Платоновича. Он сам рассказывал мне, рассказывал мне это и один из присутствовавших на заседании парткома, на котором Некрасов был исключен из партии, что, когда к Виктору Платоновичу обратились с вопросом, порвал ли он наконец со своим бывшим другом Дзюбой, Вика ответил: «Почему „бывшим“? Дзюба арестован, но ведь следствие еще не закончено. Никто не доказал

мне его вины. Я продолжаю гордиться нашей дружбой».

Когда Дзюба был освобожден из тюрьмы, Некрасов первым из друзей в тот же день пришел к нему домой.

Существует, кажется, французская пословица: чтобы сочувствовать другому в горе, нужно быть человеком, но чтобы сорадоваться в радости — нужно быть ангелом. Конечно, определение «ангел» никак не подходит к Виктору Некрасову, но сорадоваться он умел. Когда вернулись из своей первой северной поездки художники Ада Рыбачук и Владимир Мельниченко и привезли замечательные работы, официальная «общественность» Киева приняла их более чем холодно (хотя поездка на Север как-то не укладывалась в понятие «творческой командировки», ибо это был подвиг). Но как же восторженно восприняли их творчество, их жизнестойкость Некрасов и Волынский! Кстати, как художников их оценили не только они — их работами восхищался и Рокуэлл Кент.

Аду и Володю, как скоро запросто стали мы все их называть, Некрасов и Волынский называли не иначе как «наши дети», говорили о них, писали, гордились ими и просто очень их полюбили. Только люди сами очень талантливые так могут радоваться таланту других, как радовался Некрасов каждой новой работе Рыбачук и Мельниченко.

* * *

А сейчас другое приходит на память. Другой рисунок в мозаике памяти.

Пасмурный день. В комнате темновато, или мне это только кажется — при взгляде на потемневшее лицо Некрасова. Он только что прочел мне письмо маршала Еременко о фильме «Солдаты» — экранизации повести «В окопах Сталинграда». Фильм был замечательный. Вика, сам в прошлом актер и театральный художник, принимал самое активное участие в постановке. Даже снимался в массовке в качестве одного из пленных фрицев. В этом фильме сыграл одну из своих первых ролей в кино Иннокентий Смоктуновский. Успех у фильма был большой. Правда, показывали его не часто. Последний, седьмой, раз я его видела в каком-то маленьком кинотеатре на Подоле. И вот оценка Еременко. Не помню, куда было адресовано его письмо, кажется, в газету «Красная звезда», а быть может, я ошибаюсь. Письмо резкое, холодное и злое. Еременко пишет, что если в дальнейшем у нас будут такие же пацифистские фильмы, то будущую войну мы наверняка проиграем.

У Вики потемнело лицо, черными кажутся тонкие губы и холодные злые глаза. Он с раздражением и горечью говорит:

— Маршал уверен, что самый замечательный офицер тот, кто слепо выполняет приказы любого вышестоящего командира. Знал бы он, что я как офицер считаю воинской доблестью умение командира, которому доверены жизни многих людей, умненько обойти глупый приказ. Выполнить воинский долг — это не значит погубить сотни жизней. Солдаты ведь, между прочим, тоже живые люди. Знал бы он мое мнение, не то еще написал…

* * *

Человеколюбие… Любовь к ближнему… Понятия эти давно стали истёртыми пятаками. Сейчас модно говорить о милосердии. А Некрасов просто любил людей, верил в них.

Прототипом разведчика Чумака в «Окопах Сталинграда» был Иван Фищенко, Ванька Фищенко, как мы его называли. После войны Некрасов не поленился отыскать фронтового друга, с которого списал своего Чумака. Не только отыскал, но поселил у себя, потом с помощью Исаака Пятигорского пристроил Ивана в техникум — геологоразведывательный, если не ошибаюсь.

Когда Иван переселился в общежитие, всё своё свободное время проводил у Некрасова. Как-то Вика — у Ивана были каникулы — повез друга с собой в Москву. Нас, Некрасова, Владимира Борисовича Александрова и меня, пригласила Елена Усиевич. Она была переводчицей и другом Ванды Василевской. У Ванды Львовны гостила какая-то польская писательница, и ради них Усиевич устроила небольшой прием. За мной зашли Вика, Владимир Борисович и Иван, приодетый, приглаженный. И как же тактично, с каким достоинством, с каким, пусть скрытым, внутренним чувством гордости за своего приятеля представил Вика высокопоставленным дамам нашего Ивана! Быть может, этот эпизод — мелочь, а мне кажется, что нет. У Вики любовь к людям была активной альтернативой снобизму, высокомерию.

Подобных эпизодов, свидетельницей которых я была, можно было бы привести еще очень много. Некрасов, с которым я познакомилась в 1947 году, и Некрасов в канун вынужденной эмиграции — во многом разные люди. Нельзя забывать, какой могучий и мутный вал официального порицания в течение многих лет наступал на него, что в конце концов перешло в прямое преследование и привело к катастрофе. Но об этом, вероятно, другие напишут лучше, чем я.

Последние два года жизни Некрасова в Киеве.

Я редко бывала у них вечерами. У Вики появились какие-то новые друзья, среди которых я чувствовала себя неуютно. Уже не было в живых ни Волынского, ни Пятигорского. Я больше заходила к ним днем, когда дома была только его жена. Мы говорили с Галей о каких-то пустяках, но глаза ее при этом были встревоженные, испуганные…

А Вика зачастил ко мне тоже днем. Приходил мрачный, к сожалению, не всегда трезвый. Как-то просидел больше часа, не проронив ни слова, молча поднялся и ушел. Однажды я попробовала его «развлечь», но он так посмотрел на меня, что я замолчала на полуфразе. В другой раз сказал:

— Пойдем…

Я не знала, куда он зовет меня, но пошла. Он повел меня на Байково кладбище, к нашим мамам. Так было еще дважды. И всё больше молча.

Когда он уезжал из Киева, уезжал навсегда, я прилетела из Ленинграда с глупым, случайным опозданием всего на сутки. Женя Гриднева передала мне от него привет. Я пошла на кладбище. На могиле у моей мамы лежал роскошный букет уже увядших цветов. От мамы я пошла к Зинаиде Николаевне. На ее могиле лежал точно такой же букет. И я поняла, что он попрощался.

А вот я никогда не положу цветов на его могилу. До Парижа далеко…

Киев, 1989.

Виктор Некрасов
Маленькие портреты

Твардовский

Трудно писать о человеке, с которым так недавно расстался, которого любил, знал больше двух десятков лет, с которым даже дружил, хотя дружба с ним была далеко не легка.

Да, Твардовский не относился к людям, с которыми легко и просто. И хотя, очевидно, с такими людьми общаться всегда приятнее, сама необходимость этого общения не всегда обязательна. С Твардовским же общение, в каком бы настроении он ни был — а бывал он в разных, — всегда было интересным. Нет, тут надо какое-то другое слово, быть может, «значительным» — не подберу сейчас, но так или иначе это всегда было общение с человеком умным, на редкость неодносложным, очень ранимым и всегда неудовлетворённым, самим собой в том числе, хотя цену себе знал. Он никогда не старался казаться умнее, чем он есть, но почему-то почти всегда чувствовалось его превосходство, даже когда в споре оказывалось, что прав именно ты, а не он. Побеждённым, как и большинство людей, признавать себя не любил, но если уж приходилось, то делал всегда это так по-рыцарски, с таким открытым забралом, что хотелось тут же отдать ему свою шпагу. Да, в нём было рыцарство, в этом сыне смоленских лесов, светлоглазом, косая сажень в плечах, умение отстаивать свою правоту, глядя прямо в глаза, не отрекаться от сказанного и не изменять в бою. Это навсегда привлекло меня к нему.

Мы познакомились с ним почти сразу после войны, в конце сорок пятого или начале сорок шестого года. Обоим было тогда лет по тридцать пять. Но он уже ходил в знаменитых писателях, «Тёркина» все знали наизусть, а я пришёл к нему в кирзовых сапогах, в гимнастёрке с заплатанными локтями и робко сел на краешек стула в кабинете. Некоторое время он внимательно и доброжелательно меня разглядывал, а это всегда смущает, потом огорошил вопросом: «Это что же, вы безопасной бритвой так ловко пробриваете усы или опасной?» Я растерялся, но вынужден был признаться, что да, безопасной. Он потом возвращался к этим злосчастным усам: «И вот так каждое утро, перед зеркалом, железной рукой? И вот здесь, посерёдке, тоже? Ну-ну, очень неплохо надо к себе относиться, чтобы этим заниматься». И пожимал плечами…

Вообще Трифоныч не прочь был иной раз смутить человека каким-нибудь неожиданным суждением или вопросом. Но в тот раз не думаю, чтоб он хотел как-нибудь задеть меня — весь вечер он был удивительно внимателен и заботлив. Просто он очень не любил, и не всегда мог это скрыть, людей, слишком много уделяющих себе внимания. Какие-нибудь красные носки или излишне пёстрый галстук могли сразу же его настроить против человека. Так же, как и ходкие жаргонные выражения: «Железно!», «Будь спок!», «Ваши координаты?», «Маяковка». Вообще пошлость, в любых её проявлениях, даже самых утончённых, — а это тоже встречается как высшая форма обинтеллигентившегося мещанства, — была ему противопоказана. Я видел, как на глазах терялся у него интерес к человеку, который мог при нём сказать: «Вы знаете, я часами могу стоять перед Мадонной Рафаэля», или что «прекрасное остаётся прекрасным даже в руинах. Парфенон, например…». «Ты понимаешь, — оправдывался он потом, — мне с ним просто неинтересно. Мне не о чем с ним говорить. Ну, не о чем. И заметь, эти люди всегда стоят часами, не просто долго, а именно часами. От двух до шести, что ли? По часам смотрел?»

Я говорю сейчас обо всех этих мелочах, вернее, якобы мелочах, не только потому, что из мелочей складывается целое, а потому что сейчас, именно сейчас, через каких-нибудь два месяца после того, как я его хоронил, Твардовский близок и дорог мне именно этими его чёрточками, его взглядом, иногда суровым, редакторским, а иногда таким добрым, даже детским, его улыбкой, замечанием, жестом, когда он вдруг хватал тебя за локоть, переходя улицу, — он не любил потока автомобилей.

Он был очень разным. Меньше всего располагал он к себе за редакторским столом. Сидя в кресле перед этим столом, я всегда чувствовал некий невидимый ров между нами, ров с поднятыми мостами. Но, когда эти мосты, случалось, опускались, он весьма ловко, по-мальчишески, по ним пробегал, никогда не теряя при этом, правда, некоторой присущей ему сановности. Не думаю, что сам он очень любил этот стол, но всю необходимость своего пребывания за ним сознавал. С юмором, хотя и не без горечи, часто говорил: «Увы, за рубежом меня куда меньше знают как поэта, чем как редактора некоего прогрессивного журнала».

К призванию своему относился весьма серьёзно. Никогда об этом не говорил, но достаточно было на него посмотреть, когда он читал вслух свои стихи, чтобы сразу увидеть его неподдельную радость на верную реакцию его слушателей. А читать он любил. И умел. Читал очень просто, без поэтических излишеств, не теряя внутреннего ритма, но главное — умел доносить мысль, чем многие поэты, увы, пренебрегают, считая, что это убивает

поэтичность. Ещё больше, чем читать, он умел и любил петь. Признаться, я обычно побаиваюсь застольного пения, — мне всегда кажется, что оно заменяет отсутствие темы для разговора, — но у Трифоныча оно ничего собой не заменяло, он просто любил песню. И знал их много — старых, русских, неведомых мне. Особенно хорошо получалось у них это с Казакевичем. У обоих были не очень сильные, — да это и не нужно было, — чистые голоса и удивительно верный, тонкий слух. Как-то ночью, в гостинице, кажется, во Флоренции, они оба чуть не до рассвета пели какие-то ямщицкие песни, и только ранний, утренний колокольный звон, донёсшийся из открытого окна, заставил их умолкнуть. Звон был очень не русский, католический, и вместе мелодии жить не могли. Они умолкли.

Любя, и не стесняясь этого, всё русское, он любил и понимал всё нерусское. Мне нравилось, как он ходил по картинным галереям в Италии. Не торопясь и не пытаясь охватить всё, он медленно ходил по залам, задерживался у той или иной картины, внимательно разглядывая её и не боясь задать вопрос, обнаруживающий его некомпетентность. Именно с ним мы обнаружили в галерее Уффици неведомого нам до той поры художника Паоло Учелло и оба пытались вникнуть в плоскостно-перспективную загадку этого художника. Твардовский никогда не писал об искусстве, считая себя, очевидно, недостаточно сведущим. Но если бы писал, то, не сомневаюсь, лишён был бы тех положенных шор приличия и условности, которые заставляют человека восторгаться тем, чем положено, и осуждать осуждённое. Возможно, он даже позволил бы себе сказать, что Рафаэль ему меньше нравится, чем Учелло, и далее объяснил бы почему.

Он любил всё красивое. И понимал толк в этом. Красивую песню, стихи, какой-нибудь северный лубяной туесок, красивых людей. И умных. У нас был общий с ним друг, критик, немолодой уже, широкообразованный человек, со своими, правда, странностями, над которыми Трифоныч любил иногда подтрунивать. Но как-то, говоря именно о нём, он сказал: «Ты знаешь, почему я многое прощаю умным людям — кроме подлости, конечно, — это потому, что они многого не знают и никогда этого не скрывают. А дурак — ты заметил это? — всегда всё знает. Всегда и всё…»

Дураков он не любил. Физически не переносил. И особенно за то, что всегда поучают. Это первый признак дураков. «Остерегайся советов, — говорил. — Почти всегда дают их дураки. Они очень это любят. И людей, которые ссылаются на здравый смысл, тоже остерегайся. Знай — дураки. Это их главный

довод. Ведь они самые положительные, самые серьёзные в мире люди. Серьёзнее всех, да-да! Запомни это на всю жизнь».

Я никогда не назвал бы Твардовского ласковым. Многие слыхали от него суровые слова. Но это в глаза. За глаза же он умел так хорошо говорить о людях, как немногие. И радоваться чужому успеху тоже умел. Искренно, неподдельно. Появление талантливой рукописи выбивало его из колеи. Об одной из них, помню, он без умолку говорил целый день, увлечённо читал из неё отдельные места, сияя глазами. Такими рукописями он заболевал и отстаивал их потом во всех инстанциях с присущим только ему умением и упорством. Злые языки говорили, что он не любил поэтов, особенно молодых, не растил их, мол. Абсурд! Он просто не любил плохие стихи, ни молодые, ни старые. И прозу тоже. Он не любил посредственности и дорогу ей не давал. К содержанию, к уровню редактируемого им журнала относился так же требовательно, как к своим собственным стихам.

Многие считали, что Твардовский важен, что к нему трудно подступиться. Нет, важен он был только в ресторане. На официантов это действовало безотказно, что и требовалось. Тут были и взгляд, и походка, и неторопливое, обстоятельное чтение меню, и разящее наповал «Быстрота обслуживания будет учтена особо». Да, тут он был важен. Но вряд ли можно назвать важным человека, который умудрялся кататься по полу в одних трусах, стараясь уложить на обе лопатки Ваню Фищенко, лихого разведчика моего полка.

Нет, важным он не был. Важность — удел людей глупых. Просто он не очень любил фамильярность, не с каждым был запанибрата и не считал нужным заключать в объятия всякого, кто бросался к нему через весь зал с криком: «Саша!» А таких было великое множество. «А помнишь, Саша, как мы с тобой вместе…» Нет, не помнил. И не уверен, что это было. Отсюда и важность.

К делам литературным относился со всей серьёзностью. Мучительно переживал перегибы на литературном фронте, несправедливости по отношению к кому-либо. Незаслуженную обиду, нанесённую собрату, считал обидой, нанесённой ему. Ходил тогда сам не свой, не находил себе места. «Понимаю, умом всё понимаю. И что нисколько это его не унизило, не умалило его значения, что ни в твоих, ни в моих глазах он не стал другим, что время всё покажет, поставит на своё место. Но ведь годы идут. И надо работать… А каково ему сейчас? У меня вот карандаш из рук валится, а у него…» В эти дни он был мрачен, песен не пел, застолья избегал. Эти дни укорачивали ему жизнь. Как-то он сказал мне: «Если мне когда-нибудь будет плохо, не утешай меня,

не жалей. Этим делу не поможешь. Выпей за моё здоровье рюмочку, и я почувствую. Мы же всё чувствуем, всё понимаем…»

В последний раз я видел его осенью прошлого года. Его трудно было узнать. Он сидел в кресле — маленький, в свитере, курил. Куда делась его могучая фигура, его плечи косая сажень? Поседел. Говорить было трудно. Говорили только глаза. Какие-то удивительно добрые, что-то спрашивавшие, тянущиеся к тебе. И улыбка. Приветливая, может быть, даже робкая… Разговор как-то не клеился. Неловко было чувствовать себя здоровым, говорили неестественно, излишне оживлённо, о каких-то пустяках. А он так не любил говорить о пустяках… Мы вскоре ушли.

Может, не надо было заходить? Из эгоистических соображений, чтоб сберечь его в памяти не маленьким, седым, сидящим в кресле с пледом на коленях. Впрочем, для меня он остался и таким, уходящим, прощающимся, и другим — строгим, с очками на лбу, с твоей рукописью в руках: «Парень ты тёртый, трудностями тебя не запугаешь, вот потрудись ещё недельку-другую, я там на полях пометки сделал…» И ещё — весёлым, шумным, входящим в комнату, отчего она сразу делалась меньше, и хитрым глазом поглядывающим на тебя, и руки в боковой карман: «Ну, как, ноги у тебя порезвее, и дорогу знаешь, моложе всё же…» И другим помню — подперевшим рукой голову в далёкой Флоренции, с полузакрытыми глазами, тихо-тихо выводящим высокую ноту той песни, которая и стихам его, может быть, когда-то помогла, а потом задумчивым, молчаливым, прислушивающимся к мерным, однотонным, совсем не ростовским, совсем не перезвонам итальянского колокола, и, конечно же, помню молодым, лоснящимся от пота, в трусах, переводящего дыхание после схватки с Ваней Фищенко, — «Да, не хотел бы я ему языком в руки попасться», — и…

Разным я его видел. И в разное время. И в разном настроении. И поэтом. И гражданином. И другом. И всегда — человеком. Вот потому так больно, потому чувствуешь себя таким осиротевшим, когда такие люди уходят. Может быть, с ним не всегда было легко дружить, но от одного сознания, что он есть, всегда становилось легче.

Памяти Анны Ахматовой

Я не был с ней знаком. В первый и последний раз увидел её в гробу в Никольском соборе, в Ленинграде. Она лежала величественная, красивая… Кругом было несметное количество людей. И в самом соборе и вокруг него. И тишина. Неестественная, неправдоподобная тишина. Я никогда не видел

такой тихой, печальной, говорящей шёпотом, горестной толпы. Где-то за оградой мелькали синие шинели милиции, но ей нечего было делать.

Я был с матерью и боялся с ней заходить внутрь собора, ожидал выноса тела. Но мать настояла, чтобы мы зашли. И мы зашли. Трудно в это поверить, но от самого входа до гроба мы прошли за несколько минут. Нас никто не толкнул, не задел. Мы шли меж молчаливых людей, по узкому человеческому коридору, и только за несколько шагов до гроба я услышал негромкое: «Не задерживайтесь, пожалуйста».

Мы попрощались с Анной Андреевной и так же тихо, никем не задетые, вышли на мороз, в другую толпу.

Вечером её хоронили на тихом, утопающем в сугробах кладбище Комарово.

За день до этого ко мне зашёл несколько растерянный директор комаровского Дома творчества.

— Завтра будут хоронить Анну Андреевну. Она завещала похоронить её здесь, в Комарово. Но из Союза писателей пока ещё никто не приехал. Может, вы поможете мне подыскать место…

Мы поехали на кладбище. Директор был взволнован, говорил, что земля как камень — в ту зиму стояли сильные морозы, больше 30 градусов, — нет хороших заступов и людей нет, одним словом…

Но люди всё-таки нашлись, и заступы тоже. Могила была вырыта, дорожки разметены. Директор успокоился.

Я хорошо знал это кладбище в лесу, не заброшенное, даже вроде ухоженное, часто проходил мимо него на лыжах, но за ограду не заходил. И всегда здесь было пустынно.

В этот ясный морозный мартовский вечер оно было многолюдно. В большинстве — ленинградцы, но были и москвичи. Вдоль дороги непривычно теснились машины. Автобус с телом Анны Андреевны ещё не пришёл. Ждали, притоптывали ногами.

В маленьком домотдыховском автобусике, тесно прижавшись друг к другу, уселись те, кто постарше, и женщины.

И вдруг в этой тишине, нарушаемой негромким разговором, среди искрящихся сугробов и заснеженных елей появился высокий, улыбающийся, сияющий представитель московской писательской организации. Согнувшись пополам, он с трудом втиснулся в набитый людьми автобусик и, потирая руки, весело оглядел всех сидящих.

— А ну, кто тут помоложе? Кто согреет своим теплом иногороднего товарища?

Хотя мест не было, он умудрился всё-таки вдавиться между

кем-то. Посмотрел на часы.

— Опаздываем, опаздываем. Нехорошо…

Всем было неловко. Молчали. Автобуса с телом всё не было. Когда он появился, неуклюже переваливаясь по рытвинам, неунывающий москвич оживился.

— Ну вот и гробик прибыл. Начнём, пожалуй, — и, сложившись опять вдвое, стал протискиваться к выходу.

Я не помню почему-то, говорил ли он что-нибудь над могилой. Помню, как выступали со словами прощания Арсений Тарковский и Макогоненко, хотя почти ничего не было слышно. Помню лица выступавших и слушавших — сосредоточенные, устремлённые в себя, — много, много лиц.

Потом стали расходиться, рассаживаться по машинам, автобусам. Над маленьким могильным холмиком образовалась гора венков и цветов. А через несколько дней появился и крест — Анна Андреевна была религиозна. Крестов погребальные конторы не делают. Его сделал Алексей Баталов, большой друг Анны Андреевны, знавшей его ещё мальчишкой, сделал в столярных мастерских «Ленфильма», где ставил тогда олешинский фильм «Три толстяка».

Вечером собрались в одной из комнат Дома творчества. Знавшие Анну Андреевну вспоминали о своих встречах с ней, беседах, нелёгком её жизненном пути, неиссякаемом и неиссякшем до последнего дня таланте её, человеческом обаянии, о свойственном только ей одной умении сочетать в себе царственную величественность с удивительной простотой. Всем было грустно, очень грустно.

Москвича не было. Он, очевидно, уже грелся в мягком купе международного вагона московской «стрелы».

Вас. Гроссман

В Сталинграде не часто, но появлялись всё же журналисты и писатели. Об одном из них, широкому читателю мало известном, я написал небольшой рассказ «Новичок». Но это был, так сказать, случай экстраординарный, обычно же «люди пера» появлялись ненадолго и не всегда спускались ниже штаба армии.

Василий Семёнович Гроссман бывал не только в дивизии, но и в полках, на передовой.

Был он и в нашем полку. Когда точно — не помню, во всяком случае, после начала нашего наступления, так как ко времени его посещения мы уже читали и «Глазами Чехова», и «Направление главного удара».

К нам он попал не только потому, что мы сидели вплотную к

знаменитым «бакам» на Мамаевом кургане, самом «западном» участке Сталинградского фронта, но ещё и потому, что его племянник, киевлянин Беньяш, стройный, чёрно-кудрявый, отчаянно-весёлый и весело-отчаянный парень, любимец всего полка, был командиром нашего первого батальона. Но встретиться с ним Гроссману не удалось — Беньяш погиб ещё до начала наступления, погиб по-глупому, то ли от шальной пули, то ли от случайного осколка в тот редкий час, когда на фронте была тишина.

Мне в день, вернее, ночь приезда Гроссмана не повезло, не удалось встретиться с ним, хотя очень хотелось — газеты с его, как и Эренбурга, корреспонденциями зачитывались у нас до дыр. Именно в эту ночь меня направили поверяющим на передовую, и когда я вернулся, его уже не было — ушёл в соседний полк.

Встретился я с Василием Семёновичем уже после войны в тихом, ещё не популярном, не всесоюзном Коктебеле, когда в Доме писателей жило не 200–300 человек, как теперь, а 30–40, не больше.

Сначала мы просто здоровались, как отдыхающие в одном доме, — всем своим угрюмо-молчаливым обликом он не располагал к близкому общению. Гулял один, купался на самом краю широкого и длинного тогда ещё (теперь его почти целиком смыло морем), знаменитого своими сердоликами коктебельского пляжа. Был нелюдим и одинок. Я смотрел на него издали, с уважением, но подойти не решался.

Но как-то ночью, когда весь Коктебель затих и только отчаянно звенели цикады, я возвращался откуда-то домой и на нижней веранде большого серого дома, где мы тогда жили, увидел тихо покуривающего в кожаном кресле человека.

Проходя мимо, — я узнал в человеке Гроссмана, — я сказал что-то вроде «не спится?» или «покуриваем?». Он что-то ответил, то ли про звёзды, то ли про цикад, и тут завязался вдруг разговор. Просидели мы так час-полтора. Ну, конечно, война, Сталинград, Треблинка. С этого ночного разговора и началась дружба, если можно назвать так отношения людей, живущих в разных городах и встречавшихся не очень-то часто.

Но в то коктебельское лето мы встречались ежедневно и говорили уже не только о Сталинграде и немецких концлагерях. Ничего угрюмого в Василии Семёновиче не оказалось, только глаза за увеличивающими стёклами очков бывали часто грустными и задумчивыми. Но они умели и улыбаться, мягко и иронически. Он любил и понимал юмор — качество, без которого трудно и невесело жить.

Как-то кем-то затеяна была экскурсия в Судак на знаменитый

завод шампанских вин «Новый свет». Там, мол, эвакуированные в своё время испанские дети, ставшие теперь взрослыми, делают шампанское по известному только им «секрету». Как и откуда они в свои пять-семь лет, когда их вывезли из Испании, умудрились узнать этот «секрет» — никому ведомо не было, тем не менее все охотники до шампанского сели в автобус и покатили в Судак. Поехали и мы.

Приехали. Завод как завод. Под землёй подвалы. В подвалах бочки. В бочках шампанское. Насчёт испанцев ничего сказать не могу, что-то не приметил. Насчёт шампанского тоже… По дороге к подвалам, проходя мимо какой-то «забегаловки», Василий Семёнович замедлил шаги и, слегка улыбнувшись глазами, сказал негромко:

— А что, если мы до этого самого шампанского…

До подвалов мы так и не дошли. Потом нам говорили, что там было очень интересно.

— Между прочим, шампанское — отнюдь не мой напиток, — признался Василий Семёнович.

— И не мой, — согласился я, и мы заговорили о непревзойдённых качествах польского самогона «бимбера».

Василий Семёнович, как всякий застенчивый человек (а он был застенчив, то есть боялся казаться навязчивым, назойливым), после рюмочки несколько развязывался и не боялся уже «заговорить» собеседника — боязнь, кстати, более чем необоснованная.

Говорил он всегда негромко, не любил фраз и превосходных степеней, как ни странно, но не очень любил вспоминать прошлое — удел большинства людей среднего возраста и много повидавших на своём веку (только в первую ночь мы вспоминали о Сталинграде), — в вопросах к собеседнику был сдержан и деликатен. Не любил сановников и, говоря о них, не был ни сдержан, ни деликатен. Лютой ненавистью ненавидел ложь, фальшь, лицемерие. На собственном горбу познав силу критики и все её последствия, он никогда не жаловался, хотя и негодовал, и продолжал верить в то, во что верил.

Я уже говорил, что встречались мы с ним не часто — после того лета отдыхать вместе нам не пришлось, во время моих поездок в Москву встретимся раз-другой, не больше, поговорим по душам, и всё. В Киев он не приезжал. Потом заболел, лёг в больницу, и больше я его не видел.

Я часто задаю себе вопрос: что нас сблизило с Василием Семёновичем и что даёт мне право называть его своим другом?

Как-то мы с ним заговорили о «писательстве» — кстати, ни он, ни я этой темой особенно не злоупотребляли. Но тут,

заговорив о какой-то книге, написанной человеком бесталанным, но занимающим посты, изданной стотысячным тиражом, Василий Семёнович сказал вдруг:

— Вот говорят — талант, талант… А что это такое? Кто-то, кажется, Матисс, сказал, что талант — это труд. Так ли это? Ведь то, что мы с вами только что прочли, — это, безусловно, «труд». Написать двадцать четыре печатных листа, а он написал, я это знаю, другой вопрос, как над ними мучился редактор, но это труд, на это всё-таки надо время потратить. Потом сверять перепечатанное, читать вёрстку. О содержании не говорю, это другой вопрос, а говорю, так сказать, о внешней стороне, о технике, о том, что даёт возможность таким людям… Впрочем, я, кажется, начинаю говорить банальности, пошлости…

— Давайте и поговорим о пошлости. Ведь этот N, написавший книгу, и есть пошляк!

— Стопроцентный притом… От слова «пошл***о***». И пошло, и пошло, и пошло. И от него кругами — пойдёт, пойдёт, пойдёт… А он на этом набивает руку, становится профессионалом, ну и т. д.

Профессионал? Я насторожился. А что такое профессионал, профессионализм? Необходим ли он в искусстве? В писательском, во всяком случае. Не мешает ли, не рождается ли от графомании, обогащающейся потом техникой, знанием приёмов, вкусов, требований?

Всё это я сказал Василию Семёновичу и как пример привёл высказывания одного очень хорошего человека и писателя, которого я тоже осмеливаюсь считать своим другом, несмотря на ещё большую разницу в летах, чем с Василием Семёновичем.

Так вот, этот убелённый сединами и опытом человек, написавший много хороших книг, сказал мне как-то:

— А знаете, почему нам не скучно друг с другом? Не потому, что мы оба — вы мне, а я вам — можем поведать то, чего другой не знал или не видел. Нет, не поэтому. Просто, — только никому не говорите о сказанном вам одним видавшим виды стариком, — просто потому, что мы с вами в литературе не профессионалы, а любители. Да, да, хотя и живём как профессионалы, гонорарием интересуемся.

И мой собеседник заговорил о профессионализме. Это, может быть, и неплохо, даже нужно, возможно даже, он и сам хотел бы быть профессионалом… Хотя бывает и так, что писатель пишет, каждый день пишет, но всё кровавым потом. Не чернилами, не карандашом, не кровью сердца, а именно кровавым потом!.. Не могу я так. «Ни дня без строчки» — не мой, не наш с вами девиз. Всё сказанное, конечно, ересь, но что поделаешь, оба мы с вами еретики.

Василий Семёнович рассмеялся, а я поспешил добавить, что разделяю точку зрения своего друга-еретика. Не отваживаюсь, мол, осуждать ни то, ни другое — ни «профессионализм», ни «дилетантизм», — просто второе мне, по-видимому, ближе. «Ни дня без строчки» — это, возможно, гимнастика, тренаж, если хотите, утренняя зарядка, но я всё же за то, чтоб писать, когда хочется или когда об этом нельзя не написать.

— Со вторым согласен, — сказал серьёзно Василий Семёнович, — а вот первое — «хочется» — тут меня одолевает некое сомнение. А если «не хочется», а надо, нельзя не написать? Тут-то и приходит, очевидно, на выручку профессионализм, или, если это слово вас отпугивает, потребность писать. Я — за потребность и за то, чтоб она была всегда.

— А если она мешает другой потребности? Вот у меня сейчас потребность заплыть подальше в море, а не писать. Или забраться на Сюрю-Кая? Может, я первоклассный альпинист и покорю когда-нибудь Эверест? Что такое профессия, и нужно ли иметь обязательно одну? Мешала ли Чехову-писателю его другая профессия — врача? Или помогала? И какое из этих призваний он, Чехов, считал более важным? А кем был Гарин — в первую очередь инженером-строителем или писателем? А Бородин? Крупнейшим химиком или автором «Князя Игоря»?

— Я, между прочим, — перебил меня, понизив почему-то голос, Василий Семёнович, — тоже вот химик по образованию. Правда, не слишком крупный. А вы архитектор и в театре, если не ошибаюсь, лицедействовали…

— Было такое. И не начнись война, строил бы сейчас дома или изображал бы негодяев на сцене — мне почему-то всегда они доставались. Но война помешала…

— А может, помогла?

— В чём? Стать сапёром-профессионалом?

— Ай-ай-ай, не к лицу вам кокетничать, — Василий Семёнович похлопал меня по плечу. — Кстати, нескромный вопрос, не люблю, когда мне его задают, — вы над чем-нибудь работаете сейчас?

— Да, работаю, — я корпел тогда над «Родным городом».

— Ну вот и работайте. А потом в море или на Эверест… И поменьше думайте о Бородине и Гарине.

На этой, столь несвойственной Василию Семёновичу, поучительной фразе и закончился наш запомнившийся мне разговор о «профессионализме», из которого я понял, что он определённо «за»…

И вот возник у меня теперь, когда Василия Семёновича уже нет в живых, вопрос: почему же нам с ним — повторяю слова

«видавшего виды еретика» — не было скучно друг с другом при столь разном отношении к своей работе? Как ответил бы на это Василий Семёнович, не знаю и никогда не узнаю. Я же, со своей стороны, могу сказать: мне с Василием Семёновичем было «не скучно» просто потому, что не может быть скучно с человеком, в котором покоряли прежде всего не только ум его и талант, не только умение работать и по собственному желанию вызывать «хотение», но и его невероятно серьёзное отношение к своему, — ну, как бы это сказать, — к своему, назовём, поведению в литературе, к каждому сказанному им слову. И в этом не было ни грана высокомерия, ни грана зазнайства — писать он считал своим долгом и долг этот выполнил до конца.

Когда я беру в руки карандаш и начинаю водить им по бумаге, я часто задаю себе вопрос: «А как отнёсся бы к этому месту Василий Семёнович?» И если, на мой взгляд, неодобрительно — вычёркиваю безжалостно.

Чтоб закончить о «профессионализме». Со дня нашей беседы прошло лет пятнадцать, если не больше. Многое за это время переосмыслилось. И на «профессионализм» я смотрю чуть-чуть иначе. Он, безусловно, необходим, но, если можно так выразиться, не надо им увлекаться. К знаменитому «ни дня без строчки» я добавил бы: «Но не делай ни из дня, ни из строчки культа». Культ — вещь опасная.

Паустовский

Получилось так, что наши с Паустовским пути до определенного времени нигде и никогда не пересекались. В московской суете, для провинциала особенно утомительной и бестолковой, никак не выкраивалось время познакомиться (да и как это сделать, позвонить и, как в Киеве говорят: «Здрасьте, я ваша тетя»?), а когда выкраивалось (ну, вот сегодня позвоню и скажу) — оказывалось, он в Тарусе или в Ялте. Когда же мы с матерью приезжали в Ялту (обычно в середине мая), выяснялось, что Константин Георгиевич всю зиму прожил в этой вот комнате и только неделю как уехал. Не везло.

И вот в один прекрасный вечер затрезвонил по-междугородному телефон. Москва. Говорит Паустовский. Слегка балдею… Спрашивает, не собираюсь ли в Москву. Нет, а что? Да ничего, просто захотелось вдруг позвонить и сказать, что если буду в Москве, чтоб обязательно зашел к нему, Паустовскому. Надо же в конце концов познакомиться.

Надо. Я просто-напросто взял билет и полетел в Москву. Знакомиться с Паустовским.

Я как огня боюсь искусственных знакомств. Мы с моим другом детства Яковом Михайловичем Светом любим вспоминать, как бездарно происходило наше знакомство. Его папа — интеллигент в пенсне, с бородкой — пришел как-то к нам. Дверь открыл ему я.

— Здесь живет доктор Некрасова?

— Да, но её нет дома.

— А вы ее сын?

— Да.

— Тогда я, собственно, к вам.

— ?

— Мы недавно только приехали в Киев. Я с женой и наш сын Яся, ваш ровесник. Вам ведь пятнадцать?

— Пятнадцать.

— Ну вот и прекрасно. У Ясика пока еще нет здесь знакомых, и он очень скучает. Я обратился к швейцару Герасиму за советом, с кем из детей какой-нибудь интеллигентной семьи в этом доме я мог бы познакомить своего Ясика. Герасим направил меня к вам.

Этого еще недоставало… Дитя из интеллигентной семьи…

Через несколько минут мы с Ясей — два «интеллигентных» мальчика в коротких еще штанишках — стояли на нашем балконе и вяло задавали друг другу вымученные вопросы. «Где вы учитесь? В какой группе? Нравится ли вам Киев? А в Крыму бывали, я как раз сейчас из Крыма… Плаваете ли вы?»

Оба мы друг другу не понравились. Беседа продолжалась не более пяти-семи минут. Больше он не приходил, и я о нем забыл, пока как-то недели через три он не прибежал ко мне за угольником (его куда-то провалился, весь дом обшарил…), и с этого-то угольника и началась наша дружба — не разлей водой. С ним-то мы издавали газету «Радио» 1979 года (уже не за горами!), воевали с англо-амами (англо-американской коалицией) в Аляске, находили неразложившиеся тела доисторического человека в раскопках киевского Макарьевского спуска, писали детективные подвалы с продолжением, высаживались на Марс и, несмотря на посредничество папы и Герасима, дружим до сих пор.

Сидя в самолете и мысленно представляя себе свое появление у Паустовского, я невольно вспомнил свое знакомство с Ясей. «Над чем вы сейчас работаете, Константин Георгиевич?» — «А вы?» — «А почему вы не приезжаете в Киев, ведь Киев для вас…» — «Да вот всё собираюсь…»

Но этого не произошло. Произошло другое. Стол, вино, люди, много людей, тосты, литературные разговоры, сбивчивые споры. Константин Георгиевич, несколько ошарашенный, сидел на краю

стола и, приветливо, утомленно улыбаясь всем, пил чай. Я, несколько выпив, громко и упрямо доказывал что-то кому-то из молодых, тоже подвыпившему и тоже громко и упрямо не соглашавшемуся. И так до часу ночи. Шум, гам и ни одного толкового слова друг другу. Так и произошло наше знакомство, захиревшее, не успев распуститься. «Будете в Москве, обязательно заходите… Вот тогда и поговорим…» — «А вы к нам, в Киев…» — «Конечно, конечно, теперь есть предлог…»

Но больше я к Паустовскому не заходил, и в Киев, несмотря на предлог, Константин Георгиевич тоже не приезжал.

«Угольником» оказалась Франция.

До поездки туда — было это в конце 1962 года — Паустовский перенес инфаркт, и все мы несколько тревожились за него. Поехали с ним его жена с дочерью Галей.

Во Франции Паустовский был впервые, языка не знал, поэтому я, во Франции всё же бывший и по-французски немного лопотавший, мог быть ему в чем-нибудь где-нибудь полезен. В многолюдном, шумном Париже встречались мы, правда, преимущественно на всяких «мероприятиях» (встречах, приемах, коктейлях) или вечером, в номере, уже без задних ног. Сблизились, поговорили без суеты, тостов и гостей и, как мне кажется, полюбили мы друг друга (я во всяком случае) во время путешествия по Провансу.

По складу своего характера Константин Георгиевич был человеком, для которого места, связанные с чьим-нибудь близким ему именем, имели определенное значение. Поэтому ему очень хотелось побывать в Нормандии, в родных местах Флобера. Но мы, в частности я и Галя, упоенные, но еще не отравленные «ядом» Парижа, не хотели с ним расставаться и подговорили нашего шофера расписать в самых мрачных красках всю сложность и даже опасность езды зимой по обледеневшим нормандским дорогам. Коварный план удался: Нормандия была отставлена, Париж продолжен, а вместо севера мы поехали на юг — Авиньон, Арль, восточная часть Средиземноморья (рыбацкие поселки Сент-Мари-де-ла-Мар и Гро-дю-Руа).

Насколько я понимаю, Константин Георгиевич огорчен этим маршрутом не был.

Несмотря на преклонный возраст и перенесенную болезнь, Паустовский был неутомим. Часами бродил среди тесно прижавшихся друг к другу средневековых домов «папского» Авиньона, карабкался по извилистым, в древних булыжниках, крутым подъемам «кардинального» Вильнёв-лез-Авиньон, скользил, но не сдавался на мокрых ступеньках полуразрушенных крепостных башен. Всё хотел видеть, ничего не пропускал и ни от

кого не отставал. Никогда ничего не записывал, не фотографировал (присяжным фотографом был я), не заглядывал в путеводитель — просто наслаждался. Красотой, древностью, тишиной.

Как настоящий художник, он воспринимал красоту как красоту, ему дороже было непосредственное восприятие увиденного, чем знание того, кто, когда и по чьему велению поставил этот замок или какой король и с кем изменял королеве на этой кровати с балдахином и вечными амурчиками.

Вдоволь находившись и насмотревшись, утомленные и переполненные увиденным, к тому же голодные, устраивались в какой-нибудь таверне из наименее шикарных.

И вот тут-то Константин Георгиевич и начинал рассказывать. Рассказывать он умел. И вспоминать тоже умел. А о чем вспоминать — хватало. О литературе как таковой, о том, как надо писать и как плохо, мол, пишут сейчас, в противоположность людям его положения и возраста, не говорил никогда. А вот о дореволюционном или первых дней революции Киеве или Москве рассказывал с увлечением, с обилием очаровательных деталей, которые мне всегда очень дороги. Он хорошо помнил то, что и я еще немного захватил. Памятник Николаю I против университета, который я помню уже поверженным, — импозантная фигура царя долго лежала у подножия пьедестала, и мы, мальчишки, до блеска отполировали его бока своими штанами. И бронзового Столыпина перед городской думой «от благодарного Юго-Западного края» — перебазировавшись с Крещатика на Кузнечную, прославленный министр долго еще, несколько лет, выглядывал из-за забора маленького домика с садом, где жили наши знакомые. Помнил гипсовую княгиню Ольгу, графа Бобринского в римской тоге, где высится сейчас памятник Щорсу, и многое-многое другое. Улицы все он называл по-старому, начала века. Столыпинскую улицу называл Мало-Владимирской (потом она стала Гершуни, Ладо Кецховели, теперь Чкалова), Большую Подвальную — Ярославовым Валом (чудесное это название так и не вернулось после многократных переименований — Ворошилова, Полупанова, теперь Большая Подвальная[2]).

В нынешнем, послевоенном Киеве, с новым, переполненным «излишествами» Крещатиком, Паустовский не был. Многое его бы обрадовало — парки и сады буйно разрослись, позеленел, обретя бульвар, и сам Крещатик, стройными (заменившими старые, еще при Николае I посаженные и от старости потерявшие форму) пирамидальными тополями омолодился бывший Бибиковский бульвар, ныне Тараса Шевченко. Новые массивы, когда-то

деревушки за пределами города, новые дома, мосты через Днепр, озаренные вечером таинственным светом, далеко видные из заднепровья, сияющие золотыми куполами Лавра, Выдубецкий монастырь, Андреевская церковь… Но кое-что и огорчило бы. Не порадовала бы двенадцатиэтажная громадина, в самом центре города, против Оперного театра, задавившая собою всю Владимирскую улицу — центральную, красивую, зеленую, четырех-, пятиэтажную, очень киевскую, чудом сохранившуюся после немцев. (Не знаю, как москвичей, но меня Новый Арбат, Калининский проспект, просто пугает — он раздавил окрестные уютные старомосковские переулочки, лавиной обрушился на Спасопесковский «Кружок», поленовский «Московский дворик», проглотил Собачью площадку; пугает и гостиница «Россия», ставшая теперь фоном Василию Блаженному вместо необозримого неба, особенно незабываемого в часы заката; пугает и новый «Националь» на улице Горького… Вот так же происходит и с Владимирской.) Но в общем-то Киев стал, конечно, лучше и красивее довоенного, хотя людей и машин стало слишком много, особенно летом, особенно на Крещатике. Но, приехал бы в Киев Константин Георгиевич, мы гуляли бы с ним не по Крещатику, и в пассаж (торговый пуп Киева «Детский мир», толпы, очереди, лотки, «выбросили кофточки») мы заходили бы только, чтоб пройти ко мне на вечерний чай с самоваром, правда, современным, электрическим…

Но самое интересное в рассказах Паустовского — это, безусловно, были люди. Видал он их, знаменитых и не знаменитых, за свою долгую жизнь великое множество и в каждом умел найти что-то свое, особенное. Может быть, кое-что он даже и придумывал, присочинял, но придумывал это художник, человек талантливый, поэтому получалось хорошо и интересно.

К слову сказать, я недавно познакомился и даже сдружился с одним очень молодым поэтом. Талантливым. И не только в поэзии. В силу семейных обстоятельств он в свои двадцать лет побывал и в Сибири, и на Дальнем Востоке, и в Монголии, и в Средней Азии (где научился арабскому), и в Москве, теперь в Киеве. И обо всём — охоте на медведей, старообрядцах, золотоискателях, студенческой жизни в новосибирском Академгородке — рассказывает так увлекательно, что хочется всё бросить, купить билет и двинуть куда-нибудь в Душанбе или на монгольскую границу. Кроме того, он перевел на русский Омара Хайяма и получил даже премию на каком-то конкурсе. В бумагах кого-то из декабристов в Иркутске раскопал тексты неизвестного французского поэта шестнадцатого века Поля де Нека, не

упоминаемого ни в одном из французских словарей. Раскопал и перевел. Превосходнейшие стихи (и перевод тоже).

Ах, какой поэт, какой поэт! И ведь шестнадцатый век! И почему никто не знает? И вот как-то выяснилось почему. Да потому, что мой юный друг всю эту историю от начала до конца сочинил. И стихи сочинил. И то и другое — и стихи, и рассказ о них — были талантливы. И я простил ему его милую мистификацию.

Многие знавшие Паустовского вспоминают о нем как об интересном собеседнике — «до глубокой ночи сидели и слушали его рассказы…». По чести признаться, я таких собеседников, мастеров рассказа (обычно сработанного заранее), боюсь смертельно. Боюсь монологов, особенно в устах людей заслуженных, уважаемых, которых не перебьешь… Константин Георгиевич не был врагом монологов (кстати, не только своих, но и чужих), но не перебивал я его не только из уважения, а просто потому, что было интересно. Меня огорчало другое, что иногда случалось. Начнет он, например, рассказывать, как всегда, не торопясь, с милыми своими деталями:

— Как сейчас помню. Было это в Одессе. В тысяча девятьсот… девятьсот… девятьсот семнадцатом… нет, девятьсот восемнадцатом году, уже советская власть была… Сидим мы на Приморском бульваре, тогда его называли еще по-старому Николаевским, а потом он стал Фельдмана… Сидим у памятника Пушкину — я, Бабель, Катаев…

И тут вдруг (где-нибудь в Арле, в симпатичном ресторанчике, недалеко от римской арены) жена Паустовского Татьяна Алексеевна, человек бесконечно и по-настоящему преданный и любящий Константина Георгиевича, но, очевидно, слышавшая эту историю не один раз (а я ни разу), к тому же основательно проголодавшаяся (мы с Константином Георгиевичем, кстати, тоже), перебивает:

— Костя, Костя! Да подзови же ты ее, она там уже с каким-то красавчиком флиртует… Я тебе говорю, Костя…

«Костя» или я подзываем «ее» (флиртовала она не более сорока секунд), на столе появляется нечто дымящееся и сверхъестественно вкусное, но нить рассказа прервана, Константин Георгиевич никнет, и я так и не узнаю, чем занимались у памятника Пушкину Бабель, Паустовский и Катаев. В этих случаях я всегда очень ему сочувствовал — со мной часто случается такое же. Начнешь что-нибудь рассказывать «к слову», так сказать, тебя перебьют, а потом уже и не получается «к слову».

Но, когда мы бывали вдвоем, я его не перебивал — мне было

интереснее слушать, чем говорить.

И еще мне нравилось в Константине Георгиевиче какое-то его мальчишество.

— Давайте, давайте снимемся на фоне этих рогов! — говорил он в пустующем зимой тореадорском трактирчике, от пола до потолка увешанном «рогами и копытами».

— Дайте Ольге Леонидовне ваш аппарат, и пускай она нас снимет, — и с детской радостью принимал позу под видавшими виды и матадорские зады рогами.

В нем не было той ложной скромности — «ах, пожалуйста, уберите эту штуку, ненавижу, когда меня снимают». Поэтому у меня сохранилось много фотографий Константина Георгиевича — авиньонских, арльских, в замке Монмажур, заглядывающим в колодец, среди раскопок древнеримского Гланума. И среди них особенно мне дорогая, где мы сидим с ним вдвоем на каком-то каменном парапете форта Сент-Андрэ, а за нашей спиной раскинулся древний Авиньон с папским дворцом и колючими колокольнями соборов.

В Марселе я малость повздорил с Татьяной Алексеевной (виноват был я), и весь обратный путь в Париж мы провели в молчании, очень всех нас тяготившем.

С тех пор прошли уже годы. О нелепой этой «ссоре» вскоре, конечно, забыли, и в последующие годы в Ялте (теперь мы уже начали «совпадать») наши «контакты» успешно развивались. Мучавшая его астма и прочие хвори не позволяли ему гулять, но как приятно было заглянуть к нему, в его всегда заставленную цветами и фруктами комнатку, или посидеть в плетеных креслах на большой террасе, увитой виноградом.

В последнее лето, когда мы отдыхали вместе (в 1966 году), группа ленинградских киношников снимала фильм о Паустовском. Промелькнул там и я, в день его рождения, среди поздравлявших его друзей и поклонников. Фильма этого я не видал, зато однажды «услышал». Сидел как-то на балконе и что-то писал. Тишина, солнце, вдали море, птички чирикают. В другом кресле мама под зонтиком читает французский роман. И вдруг тишину нарушает голос Паустовского. Громкий, очень даже громкий и невероятно назойливый, что совсем несвойственно было его манере разговора. Длилось это довольно долго, потом в беседу вступил кто-то другой, с голосом еще более противным. Я не выдержал и спустился вниз посмотреть, что там, в саду, происходит. Оказывается, это киношники пробовали свою фонограмму, примостившись на скамеечке, в парке, а второй, особенно противный и мешавший мне работать, голос оказался ни больше ни меньше, как моим собственным, поздравляющим…

После того лета я больше Константина Георгиевича не видел. Как память остались книги, болгарская иконка, подаренная им маме ко дню ее рождения, и фотография — громадный букет роз, он и я на террасе в день его 74-летия — с трогательной надписью, заканчивающейся словами: «До встречи в Толедо. На корриде!!»

Но ни в Толедо, ни в другом каком-либо месте нам встретиться уже не довелось.

Вишневский

Молодой человек всю свою молодость хотел писать. Занимался другим — учился, актерствовал, делал декорации — и в то же время непрестанно писал. Иногда в этом писании что-то проскальзывало, но в общем-то молодому человеку писать было не о чем — окружающее, знакомое казалось не заслуживающим внимания, поэтому выдумывались какие-то замысловатые сюжеты, действие происходило то в Париже, то в Индийском океане, то — это уже в сороковом году — на «линии Маннергейма». К тому же автор явно пытался подражать… Кнуту Гамсуну, в которого был без памяти влюблен.

Аккуратно переписанные рукописи регулярно возвращались редакциями. Не помогали даже прилагаемые к рассказам собственные иллюстрации, которые, кстати, были значительно лучше, чем сами рассказы… Одним словом, рос и взрослел заурядный графоман. И был им я.

И вот случилось так, что писать вдруг, оказалось, есть о чём. И время свободное появилось, и место — госпиталь, вернее, заросшие зеленью откосы киевского стадиона, где вечно шлялись и валялись ходячие «ранбольные».

Так началось. Потом написанное в ученических тетрадях было продиктовано знакомой машинистке и отправлено с другом в Москву — покажи там кому-нибудь. Сам тем временем — так уж неожиданно счастливо сложились обстоятельства — осенью сорок пятого года укатил за границу — в Польшу, Австрию, Чехословакию.

Вернулся — из Москвы сообщение от друга: «Кое-кто твоим опусом заинтересовался». Не буду описывать зигзаги и петли, которые проделала рукопись, пока не попала она в «Знамя», переданная туда А. Твардовским. В результате в начале февраля 1946 года я в шинели и сапогах, с папкой под мышкой и бьющимся сердцем остановился перед более чем скромной дверью на улице Станиславского, 24. На не менее скромной табличке написано — «Знамя»…

До этого я совался со своей рукописью в киевские

издательства, даже в «Новый мир» (редактором тогда был В. Щербина), везде со мной были вежливы, но не более. Говорили какие-то слова, но в общем-то разводили руками, и рукопись возвращалась. В одном из киевских издательств рукопись вернули, даже не распечатав, — я хорошо запомнил, как была завернута и перевязана моя толстая пачка.

В редакции «Знамени» в первую очередь меня поразило помещение (потом я привык и полюбил его) — тесные, давно не знавшие ремонта пять комнат, кладовка и рядом с ней вахтерша с обязательным чайником на электрической плитке — для киевлянина тех лет признак небывалой роскоши, мы все больше пользовались примусами и керогазами.

В единственной не заставленной шкафами, стеллажами и полками комнате за большим столом (вернее, на нем, болтая ногами) сидел Анатолий Кузьмич Тарасенков — веселый, весьма активный, как потом я увидел, и очень моложавый, почему и назывался просто Толей. Вишневский отсутствовал — был в Нюрнберге, где шел процесс военных преступников.

Встретился я с ним, очевидно, уже летом. Пишу «очевидно», так как помню хорошо, что в тот февраль я с ним не виделся, — всем руководил Толя Тарасенков, — а в ноябре того же года, когда мы «отмечали» выход десятого номера «Знамени» с окончанием «Сталинграда» (так тогда называлась моя повесть, за что мне крепко досталось от газет), с Вишневским я был уже хорошо знаком. А то, что в промежутке я был в Москве (по-видимому, на несколько дней, так как всё остальное в памяти стерлось), сужу по сохранившейся «исторической» телеграмме с датой 20.6.46 следующего содержания: «Подписал договор Знаменем на сорок две тысячи пойдет восьмом девятом номерах».

Вторая деталь, говорящая о знакомстве именно летом, это то, что Вишневский, несмотря на палящую жару, сидел за столом в пиджаке, что меня очень поразило, так же, кстати, как и несметное количество орденских планок на груди. Прием был самый теплый, чтоб не сказать — горячий. Было сказано много хорошего по моему адресу, я таял от счастья, Вишневский и Тарасенков улыбались; одним словом, я влюбился в обоих по уши.

Люди они по складу характера были разные. С легкой руки Тарасенкова — в основном он вел работу с авторами — атмосфера в редакции была на редкость неофициальная, приходило много народу, все смеялись, хохотали. Толя принимал, как всегда, сидя на столе, — в общем, было весело. В те дни, когда приходил Всеволод Витальевич, все немного подбирались, пытались сосредоточиться, листали рукописи. И не

то чтоб Вишневский был строг или как-нибудь по-особенному требователен, просто он был главным редактором и приходил не ежедневно, на два-три часа, не больше, и это создавало другую атмосферу — более деловую, во всяком случае внешне.

Потом, когда мы познакомились с Всеволодом Витальевичем ближе — я бывал у него дома и в Союзе писателей, и вместе выступали на каких-то литературных вечерах (он — «старый, опытный еще с гражданской» — представлял «молодого, талантливого, в нашем полку прибыло»), я понял, что он совсем не такой уж «деловой», зато напористый, увлекающийся, в редакторской деятельности более чем смелый. Мной он «увлекся», и здесь его прямота и смелость, небоязнь «инстанций» очень мне помогли — «Сталинград» вышел в том виде, как мы хотели.

Были и правки, и доработка, и сокращения, но всё это шло без споров, душа в душу, и мне всё это доставляло неизъяснимое наслаждение. Позже, в 1947 году, после обсуждения повести в Союзе писателей, он писал мне:

> «Ряд выступающих отмечали, что редакция „спровоцировала“ автора на название „Сталинград“ и подзаголовок „роман“. Так как я лежу в больнице, я не мог пока ответить всем этим людям. Для меня нет сомнения в том, что и редакция, и Вы дали верное название. Это на данное время наиболее ценная и наиболее точная вещь о событиях в Сталинграде. Мы, конечно, могли бы при нашем умении и искусстве здорово Вас выстирать, пропустить через синьку, подкрахмалить и отутюжить. К этому склоняются все наши критические „недоросли“. А я решил оставить вещь такой, какой она вышла из-под пера окопника».

А до этого, когда только подписан был к печати № 8—9, он писал мне:

> «Нам пытались доказать, что в романе „война изображена с точки зрения обывательской“, „с точки зрения рядового“. Эти замечания совершенно несостоятельны. Мы сказали, что мнение и взгляды **простого**, рядового человека имеют для нас, для литературы **большое значение**. Мы убедили своих собеседников».

После выхода романа, как он упорно называл «Окопы», в свет он продолжал отстаивать и драться за него, где только было

возможно.

Я хорошо помню, как он рассвирепел, даже покраснел, передавая мне в руки письмо от одного читателя, хотя было это уже года через полтора после опубликования «Окопов».

Не могу не привести несколько строк из письма некоего Виктора Шиянова из Горького, по профессии следователя:

«Почему так непомерно велик авторитет Керженцева? **Не мог** Керженцев иметь такой авторитет. Его просто искусственно раздул Некрасов. Керженцев хотя и замещает комбата, но командир из него получается плохой. Он воспитывался не в семье трудящегося, а в семье какого-то мелкого аристократа. Керженцев барин с его противным отношением к Валеге. Так и хочется подойти к Некрасову — Керженцеву, отвернуть у него полу шинели и посмотреть: не на белой ли и шелковой подкладке у него шинель…

Некрасов заставляет Валегу говорить Керженцеву только во множественном числе: „они спят“, „они любят то-то и то-то“ и т. д. Как это противно, Некрасов — Керженцев! Так и хочется влепить тебе пощечину за такую барскую слюнявость… Мне, как следователю, так и хочется вежливо пригласить Керженцева в землянку к следователю и прочистить ему душу. Таким Керженцевым нельзя доверять командовать в Советской Армии!» И т. д.

— Ни в коем случае ему не отвечай! — кипятился Вишневский, тыкая пальцем в написанное аккуратным, ровным, привыкшим к следовательским протоколам почерком письмо. — Ни в коем случае! Я ему сам отвечу. И ему, и его начальству! Да, да, и начальству тоже. Пусть начальство, если оно не лишено еще признаков ума, поговорит с ним в следовательской землянке по душам…

И еще несколько раз возвращался он к этому письму в течение дня и отпускал всякого рода эпитеты по адресу его автора.

Я не читал, но думаю, что ответ Вишневского был достаточно резок, весом и на кого надо подействовал. А то, что он ответил, — не сомневаюсь: Всеволод Витальевич любил писать письма. Кстати, это была его слабость. Он, например, писал длинные, обстоятельные письма, которые тут же перепечатывались на редакционном бланке и отправлялись, вернее, передавались… Тарасенкову, сидевшему в соседней комнате.

В наш век, когда техника в виде телефона почти начисто заменила собой эпистолярное искусство, эта, на первый взгляд, забавная черта Вишневского оказалась вполне уместной — его мысли и высказывания (связанные в основном с литературой)

остались зафиксированными, а не канули в Лету.

Сохранилось у меня еще одно письмо Вишневского. Оно связано уже с пьесой, которую я принес в журнал. Называлась она «Испытание» (позднее, когда она увидела свет рампы Театра имени Станиславского, называлась она уже «Опасный путь»). Путь этой пьесы был если не опасным, то во всяком случае не легким. Речь в ней шла о двух отвоевавшихся друзьях-офицерах (в первом акте была и война), пошедших разными путями: один (Кирилл Ладыженский) — честным, другой (Борис Севастьянов) — несколько менее честным. Дал я эту пьесу на всесоюзный конкурс, премии она не получила, но я зато получил предложения сразу от пяти театров — Малого, Художественного, имени Вахтангова, Ленинградского имени Пушкина и несколько позднее (не без участия Вишневского) Камерного. Остановился я в конце концов на МХАТе (о МХАТ, мой идеал, в который я когда-то безуспешно поступал актером…), но одновременно дал пьесу Вишневскому. Летом 1947 года он писал мне по поводу пьесы:

> «10 июня 1947 года.
>
> Привет, товарищ Некрасов! Пьесу Вашу прочел. По сути, это литературный, первый вариант.
>
> Пьеса самобытная, талантливая, „ключевая“, психологического плана… Диалог развивается свободно, естественно. Люди живые… Жаль, что мальчишка увядает где-то около середины пьесы, а он мог бы прекрасно нести тему молодости, **упорства**! Развейте, **обязательнейше**!
>
> „Единство времени, места, действия“ дано смело, своеобразно. Пьеса не похожа на большинство сегодняшних пьес.
>
> Есть настоящие раздумья, боль, сочувствие настоящим людям, подлинная актуальность. (Да, **мировой** спор идет между коллективистами и индивидуалистами, волками…) И есть философские „срывы“ (как были в первом варианте „Сталинграда“, помните?).
>
> У нас нет „окопного братства“, **особой военной** „дружбы“, корпорации с **особым** духом, правилами и пр. У нас нет землячеств, культа окопных страданий, жертв и т. п. И не опирайтесь на это!
>
> У нас ясные коммунистические идеалы, провозглашенные впервые век назад, а для России, для народа выработанные партией Ленина. Военная тема у нас понимается как часть единого **народного** дела…

Ваши герои подчеркивают **окопность**, а нужно подчеркнуть суть **мирового** дела советского народа, его **миссию**…

Раздвиньте **философские, политические** рамки, — во всяком случае, у героя Вашего, Ладыженского. Это должен быть зрелый коммунист…

Часто текст засорен грубостями, штампованным жаргоном. Уберите это… Пишите чисто во всех смыслах… У вас семья дана чистая, благородная, рядовая и вместе с тем советская, выдающаяся, творческая. Милые люди, сотворившие победу…

Придумывайте сокращения… (Тут Вам поможет опытный режиссер. С кем работаете? Я предлагал Вам уже дать пьесу Таирову.)

Пьеса настоящих чувств, настроений… Есть очень тонкие нюансы. За бытом — чувствуется бытие, жизнь…

Борису и его окружению вы отвели места **больше, чем надо**. На сцене — по её законам — получится некоторая схватка двух равновеликих лагерей, типов. В советской же жизни диктуют, творят, создают Ладыженские… (и, конечно, народ, простой, но в пьесе он не затронут).

Вы сами придете к нужным ужатиям… Думаю, что вокруг Ладыженского должно быть **больше** людей. Это естественно: он тянет к себе, и, кроме того, у него общественные функции. Он защищает, пишет, выручает, отстаивает…

Пьесу я включаю в план „Знамени“. Хотелось бы поговорить о пьесе лично… Узнать театральные отзывы, мнения и т.д. Будьте в выборе театра органически точны.

Жму руку.

Вс. Вишневский»

Я привожу текст письма полностью потому, что мнение его автора мне очень дорого, хотя к самой пьесе я отношусь (да и относился) значительно сдержаннее, чем Вишневский.

В «Знамени» пьеса так и не была напечатана. И по той простой причине, что, связавшись с театрами, я начал ее переделывать, дописывать и переписывать и, запутавшись окончательно в вариантах, прозевал все сроки сдачи рукописи в редакцию.

Сценическая судьба пьесы была несколько более счастливая — зритель ее увидел, но не во МХАТе, а на сцене Театра имени Станиславского (как и почему это произошло, это отдельный

рассказ), но просуществовала она на этой сцене недолго — всесильный Репертком после 20—25 спектаклей (было это в 1949 году) признал ее «клеветнической, искажающей образ советского офицера» и из репертуара изъял. Трудно оспаривать мнение столь авторитетной инстанции, как Репертком, но думаю, что приведенная выше оценка пьесы Вишневского не менее авторитетна, и это меня тогда успокоило.

Больше я с Всеволодом Витальевичем не встречался — ни лично, ни письменно. Когда моя новая повесть («В родном городе») была закончена, Вишневского уже не было в живых.

Многое (особенно в творчестве) нас разделяло, но для меня он остался первым, кто дал мне «путевку в жизнь», дал от души, искренне. Такое не забывается.

Чуковский

В студенческие годы, кроме своих прямых обязанностей — сдавать с грехом пополам сопроматы и проектировать какие-то там театры и вокзалы — я выполнял еще обязанности «эмиссара» своей тетки Софьи Николаевны Мотовиловой.

В каждую свою поездку в Москву я получал от нее «спецзадание». То отвезти В. Бонч-Бруевичу — редактору сборников «Звенья» — ее мемуары (несколько лет по поводу них между теткой и редактором шла обширнейшая переписка, но мемуары появились в «Новом мире» только через тридцать лет), то передать в Институт Ленина сохранившуюся почему-то у тетки переписку Ленина с Мартовым, то зайти к Н. К. Крупской, с которой она работала в свое время в Наркомпросе, и передать ей письмо с просьбой разобраться в какой-то вопиющей несправедливости (об этом визите есть несколько строк в «Минувшем», где я называюсь «мой племянник»), то посетить вдову В. П. Ногина или разыскать в Москве дореволюционного теткиного друга С. В. Андропова, к которому она ездила в ссылку в Усть-Сысольск, и т. д., и т. д. …

Году в тридцатом или тридцать первом получил я очередное задание — повидать Корнея Ивановича Чуковского и что-то, не помню уже что, передать ему.

Открывшая мне дверь немолодая женщина спросила, как доложить. Я сказал:

— Доложите, что пришел Некрасов.

Из комнаты рядом с прихожей раздался веселый молодой хохот:

— Неправда, неправда… Некрасов давно умер. Это я знаю точно. — И опять хохот. — А ну-ка, введите этого самозванца.

Я не без робости, а потому несколько развязно вошел в комнату. Корней Иванович был нездоров, лежал на кушетке, прикрытый одеялом, заваленный книгами, очень похожий на карикатуры, которые я знал с детства. Запомнились, конечно, нос, веселый рот и еще более веселые, как любят у нас теперь говорить, озорные глаза.

— Ну, так что вас ко мне привело, юный мистификатор?

Я передал письмо.

Он быстро пробежал его глазами, улыбнулся и сказал:

— Узнаю коней ретивых… — и отложил письмо в сторону.

Они с Софьей Николаевной переписывались уже давно, и он прекрасно знал ее прямой и язвительный характер. Не сомневаюсь, что в переданном мною письме, в котором она, очевидно, о чем-то просила, было несколько шпилек по его адресу.

Отложив письмо в сторону, предварительно аккуратно вложив его в конверт, Чуковский посмотрел на меня своими веселыми глазами.

— Ну, а вы чем занимаетесь, племянник своей тетки?

— Архитектурой…

— О-ля-ля… Архитектор, значит?

— В недалеком будущем.

— А где же птичница?

Я не понял:

— Какая птичница?

Корней Иванович в свою очередь удивился:

— Как какая? — И продекламировал своим неожиданно высоким голосом — теперь он благодаря радио и записям всем знаком:

Раз архитектор с птичницей спознался,
И что ж? — в их детище смешались две натуры:
Сын архитектора — он строить покушался,
Потомок птичницы — он строил только куры.

Значительно позднее я узнал, что эпиграмма эта принадлежит Козьме Пруткову, тогда же спросить постеснялся и в общем-то не понял, остроумно это или нет.

На этом наша беседа кончилась. Чуковский сказал, что обязательно ответит, но по почте, велел передать привет, и я откланялся.

Ощущение было странное. «Хохмач» какой-то… Слова этого, правда, тогда еще не существовало, но было какое-то другое, не помню уже какое, означавшее приблизительно то же самое.

Прошли годы… Десять, двадцать, тридцать. Чуковский стал для меня автором не только «Крокодила» и «Мухи-Цокотухи», но познакомиться с ним по-настоящему как-то не удавалось. С теткой он по-прежнему переписывался, присылал ей веселые, остроумные письма и очень мило поздравлял ее с «Минувшим». Не могу не похвастаться его отзывом:

> «Дорогая одногодка Софья Николаевна! Здорово! В Москве только и разговора, что о Вашем „Минувшем“. Я-то знаю все эти шедевры с давнего времени. Знаю и про Брюсова, и про Черткова, и про Толстого, и про то, как Вы целовались в кустах в Purleigh с Альбиным, и про Хавкину, и про Танеева, но в печати (да еще какой!), в „Новом мире“, все это зазвучало по-новому молодо и свежо.
>
> Я очень обрадовался этим таким славным очеркам и спешу поздравить Вас с их напечатанием.
>
> Ваш К. Чуковский.
>
> 25 янв. 1964.
>
> Жаль, что не напечатали о Сергееве-Ценском. Картинная фигура».

Тетя Соня была, конечно, польщена и переписала письмо в дневник, что делала со всеми интересными письмами, но бурно негодовала по поводу поцелуев в кустах с Альбиным (С. В. Андроповым): «Никогда, никогда этого не было! Откуда он взял? И еще писать мне об этом…» Я понял, что это очередная «шпилька» Корнея Ивановича в ответ на какую-нибудь Сонину.

Потом уже, при встрече, он говорил мне, что вместе с Софьей Николаевной ушел какой-то, оказавшийся очень существенным, кусок его жизни (кстати, виделись они только раз, и то мельком, на I съезде Писателей), что такие люди, как она, встречаются теперь, увы, очень редко, весьма высоко оценил ее писательский дар, умение видеть, находить интересных людей, всё близко принимать к сердцу, по-настоящему глубоко задумываться.

Я спросил его, между прочим, о столь возмутившем тетю Соню месте его поздравительного письма. Он, хитро взглянув на меня, сказал:

— Неужели я такое написал? Ай-ай-ай… Нехорошо получилось.

Я окончательно понял, что это был обмен «шпильками».

Встреча, о которой я говорю, произошла почти через сорок лет после первой.

Было это летом 1969 года, в Переделкино.

Мы с приятельницей зашли к нему на дачу. Он сидел на

веранде второго этажа в уютном, завешанном от солнца и ветра закуточке. Так же, как и сорок лет назад, завален был книгами и что-то писал. Нашему приходу неподдельно обрадовался, отложил книги — «ничего, подождут» — и тут же очень оживленно и молодо стал о чем-то рассказывать.

Я говорю «о чем-то», не уточняя, не потому, что не хочу об этом рассказывать, а потому, что в эти полтора-два часа, которые я у него пробыл, воспринимал я его главным образом как человека пусть знаменитого, лауреата и доктора Оксфордского университета, но как человека. И за этот крохотный промежуток времени человек этот меня покорил.

Есть разряд этаких молодящихся старичков. Они и на лыжах в ярких цветных свитерах, и на пляже, подтягивая животы, и с рюкзаком, отставая от всех, куда-нибудь на Валдай, и шарады ставят где-нибудь в Коктебеле, и «я не пропускаю ни одного концерта», «вы не были вчера на Огдоне, побойтесь Бога», ну и т. д. Среди писателей эта категория лиц окружает себя юными талантами, подающими надежды поэтами и прозаиками, пропускает с ними по стаканчику доброго старого «бургундского» и больше всего мечтает, чтобы говорили о них: «Посмотрите, шестьдесят (семьдесят, семьдесят пять…) лет, а как молод душой. Всё его интересует, всё читает, на всех литературных вечерах бывает, даже выступает…»

Чуковскому, когда я с ним встретился, было 87 лет. На лыжах, по-моему, он не ходил, на пляже не загорал, насчет вина не знаю как, — он просто сидел на диванчике в своем закутке и говорил. И говорил со мной молодой человек, не молодящийся, а именно молодой. Он тоже всем интересовался, и всё читал, и рассказывал интересное, не злоупотребляя воспоминаниями («Как сейчас помню, мы сидели с NN»), и всё это было не фальшивым, подделывающимся, а настоящим. Настоящим и веселым. По-настоящему веселым. Ему весело было показывать собственные книги, вышедшие Бог знает на скольких языках мира, так же, как какого-нибудь надувного крокодила, или Бармалея, или Айболита, присланного то ли из Японии, то ли с Цейлона, или заводить гудящий, свистящий, пускающий дым игрушечный паровоз.

И мне было в это время так же весело и интересно (может быть, потому, что я тоже люблю заводные паровозики), как когда я слушал его рассказы о проделках Куприна или последней поездке в Англию.

Теперь модно жаловаться на склероз. Все всё забывают — «простите, склероз». Нет, Чуковский пожаловаться на это никак не мог. Он всё помнил — и прошлое, далекое и близкое, и

сегодняшнее, вчерашнее. И с юношеским увлечением, с юмором (в какой раз убеждался я, как нужен, необходим он, особенно тому, кто прожил столько лет и навидался всякого) рассказывал о людях, книгах, событиях, забавных и незабавных встречах. Он жестикулировал, размахивал длинными, опять-таки «карикатурными» руками, и глаза его, о чем бы он ни рассказывал, все улыбались, смеялись.

Мы вспомнили (вернее, я вспомнил, а он сделал вид, что тоже) мой первый визит к нему. И вот тут-то он заговорил о тете Соне.

— Да, — сказал он, и на секунду исчезла улыбка из его глаз, — уходят зубры, уходят зубрихи… Кстати, есть такое слово — «зубриха»? А ну, спросим Даля.

Даль ответил, что есть. «Зубр — вид дикого быка с лохматой шеей. Зубриха — корова этого же вида. Зубря — зубриный теленок».

И вдруг, не отрываясь от словаря, расхохотался.

— А как вы думаете, что такое «зуб»? Ну, быстро отвечайте. Не знаете? А я вот теперь знаю. «Зуб — косточка, вырастающая из ячейки челюсти для укуса и размола пищи». Прелестно… Кстати, не пойти ли нам чего-нибудь укусить и перемолоть? Как вы на это смотрите?

Увы, мы торопились к поезду. Прощаясь, тряся его большую, с длинными пальцами руку, я предвкушал радость последующих встреч. Но им не суждено было осуществиться. Через два месяца случилось невероятное, неожиданное, потрясшее всех давно и недавно знавших его — он умер. В голове это не укладывалось. Не верилось. При чем тут возраст, 87 лет, вероятные болезни — нет, казалось нам, он всех нас переживет…

На память от него осталось у меня только коротенькое письмецо, написанное после появления в «Новом мире» моего рассказа «Дедушка и внучек», в котором упоминается моя тетка и рассказывается о некоей глупой ленинградке Нинели, которая из псевдопатриотических побуждений несла всякую околесицу.

Письмо так и начинается:

«Да здравствует Софья Николаевна, воскрешенная Вами, и да сгинет гнусная Нинель!» Дальше несколько теплых строчек по поводу самого рассказа и последний абзац: «Эту бумагу я берег для новогодних приветов, но пусть она приветствует Вас в ноябре».

Приветственный этот листок — желтоватый, плотный, с изящной виньеткой вверху (made in Italy) — спровоцировал меня на ответный, не менее красивый листок (и даже конверт), если не ошибаюсь, взятый в брюссельском отеле «Metropole».

Вот так — всего две встречи с разрывом в сорок лет и одно письмо, но в дружбу нашу, чуть-чуть наметившуюся только пунктиром, я верю до сих пор, верю, что она закрепилась бы. Бог ты мой, почему я раньше не приехал к нему в Переделкино? И вообще, почему я не ездил в Переделкино? Ведь там не только отдыхающие и творящие в Доме творчества писатели, с которыми можно встретиться и в Москве, не только летняя резиденция патриарха всея Руси, с которым, правда, нигде не встретишься, — там жили и работали, по-разному, каждый по-своему, Чуковский и Борис Пастернак. С Пастернаком меня судьба не свела, с Чуковским свела, но почему так поздно?

Игнатьев

Я не могу сказать, что на моем жизненном пути так уж часто попадались коронованные или хотя бы титулованные особы. Правда, в пятилетнем возрасте, сидя на чьих-то плечах, я видал Николая II, приезжавшего в Киев, но с Фридрихом-Августом-Вильгельмом Саксонским, каюсь, никогда не встречался, писал о нем со слов своего друга. Из титулованных же особ знал одну баронессу — фон Менгден, сиделку в железнодорожной больнице, где лежала моя мать в тифу, очень милую и внимательную маленькую старушку, двух маркизов — летчика эскадрильи Нормандия — Неман, с которым лежал в бакинском госпитале, звали его Марсель, а фамилию с приставкой «де» забыл, и парижского художника Мишеля де Сервиля, отдавшего все свои поместья под детдома, и трех графов — австрийского, обладателя роскошного герба, вытисненного на его почтовой бумаге, и разъезжающего по всему миру с лекциями «о красоте и любви», итальянского известного писателя, и русского, с которым встречался только дважды, но о котором хочу написать эти несколько страничек.

Человеком этим был граф Алексей Алексеевич Игнатьев, сын киевского генерал-губернатора, адъютант генерала Куропаткина в русско-японскую войну, затем военный агент Российской империи при правительствах Скандинавских стран, а в первую мировую войну — во Франции. Кроме того, он был автором нашумевшей в свое время книги «50 лет в строю» и первого полученного мною «читательского письма».

Письмо это пришло буквально через несколько дней после выхода в свет журнала «Знамя», где опубликовано было начало повести «В окопах Сталинграда».

«Я сам ведь так недавно записался в писатели, — говорилось в нём, — сам пережил волнения и мучения с первой частью „50

лет в строю“ и потому почитаю себя вправе быть по отношению к Вам вполне искренним». Дальше, после положенных в таких случаях комплиментов, несколько «штрихов критики», сопутствуемых словами о том, что «это только для Вас, не для читателя, это ведь секрет нашего с Вами нового для нас искусства». Кончается письмо: «Люблю, как и Вы, родной Киев. Привет ему от старого киевского кадета».

Еще через несколько дней пришла и книжка, четвертая часть его воспоминаний. В самом ее начале фотография — вальяжный русский полковник с пышными усами, орденами и аксельбантами переводит какой-то русский документ французскому главнокомандующему генералу Жоффру — тоже с усами и звездами, весьма благодушному на вид старику в расшитом золотом генеральском кепи. Я прочел книгу Игнатьева залпом (Жоффр, Марна, Верден, Сомма — всё это было мне с детства знакомо по «Ниве» и «Природа и люди») и решил при первой же возможности нанести визит генерал-лейтенанту Игнатьеву, в 1937 году переселившемуся из Парижа в Москву. Вскоре я это желание осуществил.

Дверь открыл сам граф. Высокий, статный, с идеальной, несмотря на свои семьдесят лет, выправкой, он галантно приветствовал меня, собственноручно раздел («не сопротивляйтесь, так положено, за лакея и повара в этом доме я») и пригласил в свой кабинет. Нет, не в кабинет — в музей… Много, конечно, книг, но еще больше фотографий — отец, командир кавалергардского полка, он сам с друзьями по Пажескому корпусу и Академии генштаба, он с генералом Куропаткиным где-то под Лаояном и, конечно же, Франция — Париж, фронт, окопы, генералы, атташе, французские «пуалю» в голубых шинелях и рязанские, вологодские, костромские наши ребята из экспедиционного корпуса. И тут же на почетном месте кавалерийское седло, мирно доживавшее свой век в углу кабинета-музея. Но самым примечательным в этом музее была громадная, во всю стену, карта Европы. Алексей Алексеевич не без гордости обратил на нее мое внимание.

— Могу похвастаться, — сказал он, — думаю, что ни в Академии наук, ни в Ленинской библиотеке нет такой подробной карты. Сужу по тому, что ее специально затребовали в Кремль, когда проводилась демаркационная линия между Германией и СССР…

Я с уважением посмотрел на карту и, только чтоб не показаться нескромным, не осведомился о ее происхождении и деталях путешествия в Кремль.

Когда осмотр реликвий был закончен, — кроме седла, были

тут и шашки, и пистолеты — французские, русские и еще какие-то, — я препровожден был в столовую и представлен супруге.

— Это моя Наташа Труханова, звезда парижских кабаре и кафешантанов в прошлом, а ныне домоправительница, которой всё разрешается, кроме одного — готовить обед для гостей, о чем я вам уже говорил.

«Наташа Труханова», любезная и приветливая, сервировала стол.

— К моменту, когда вы закончите осмотр всех имеющихся здесь достопримечательностей, — сказала она, — всё будет готово, и вы отведаете то, чем Алексей Алексеевич гордится не меньше, чем своей военно-дипломатической деятельностью.

Мы продолжали осмотр. В одной из комнат я подведен был к небольшому старинному шкафчику (новая, «модерная» мебель в этом доме не признавалась), и сквозь зеркальное стекло я увидал выставку орденов. Не помню, сколько их было, аккуратнейшим образом разложенных, что-то очень много — звезды, кресты, медали доброго десятка стран, в том числе, конечно, и русские.

— В день четырнадцатого июля, — сказал Алексей Алексеевич, — в день взятия Бастилии, национального праздника Франции, мне разрешается носить орден Почетного легиона. Вот он.

И он бережно вынул пятиконечный белый крест на пунцовой ленте и тут же рассказал историю этого, учрежденного Наполеоном еще при консульстве, ордена. Оказывается, он претерпел множество трансформаций, не теряя своего значения ни при империях, ни при Бурбонах, ни при Второй, ни при последующих трех республиках. Менялись только изображения в центре креста (то Наполеон, то Бурбонские лилии, то голова «Марианны» — Франции), девиз вокруг изображения и форма маленькой коронки, к которой прикреплялась лента. При республиканских режимах корона эта уступала место зеленому веночку.

Обо всем этом, об истории других орденов Алексей Алексеевич рассказывал весьма подробно, со знанием дела, не забыв ни одной даты, ни одной любопытной детали. От него я, например, узнал, что шитая большая звезда ордена Почетного легиона с наполеоновским, сидящим на каких-то молниях орлом и девизом «Честь и родина», принадлежавшая пасынку Наполеона, вице-королю Италии, принцу Евгению Богарнэ, хранится у нас в Эрмитаже. Узнал я и бесконечно сложную и запутанную историю борьбы между Австрией и Испанией (Габсбургами и Бурбонами) из-за ордена Золотого руна, учрежденного, оказывается, ни теми и ни другими, а вовсе неким

герцогом Бургундии и Нидерландов Филиппом Добрым еще в пятнадцатом веке. И забавные перипетии датского ордена Слона (всю жизнь думал, что это мудрое животное является эмблемой и прерогативой Сиама), первым кавалером которого в России был князь Меншиков, потом только Петр I. А орден Слона князя В. В. Долгорукова дважды возвращался в Копенгаген, когда князя разжаловали и ссылали, но в конце концов он все же вернулся к своему владельцу…

Одним словом, стоя перед заветным шкафчиком, я наслушался преинтереснейших историй, большинство которых, увы, забыл.

Совершенно неожиданно «орденскую» комнату сменила кухня, сверкающая до зеркального блеска начищенными медными тазами для варенья, аккуратно развешанными ножами всех размеров, одними из которых можно было, вероятно, освежевать быка, кастрюлями, банками и т. д. Порядок был идеальный. Что-то стоявшее на плите источало божественный аромат.

— Рабочий кабинет номер два, — серьезно сообщил Алексей Алексеевич и, прежде чем завести в ванную, приоткрыл дверь небольшого помещения, выходящего в прихожую. — Не угодно ли воспользоваться? Литература здесь на всех европейских языках.

Я больше из любопытства, чем по каким-либо другим причинам, воспользовался приглашением и обнаружил в этом третьем кабинете на двух или трех полочках небольшую библиотечку, предназначенную, очевидно, для людей, предпочитающих задумчивости легкое чтение.

Затем ванная — тот же идеальный порядок и чистота — и возвращение в столовую.

Сервировка поистине княжеская, вернее, графская — сплошной крахмал, фарфор, серебро и хрусталь. Вина, водки, коньяк, ликеры.

— Чего изволите? — любезно осведомился хозяин. — Мы с Наташей предпочитаем вино, слегка разбавленное водой, — парижская еще привычка, да и возраст к тому же.

Я предпочел водку.

Об обеде ничего говорить не буду — тут без поваренной книги не обойдешься.

Несколько удивила меня появившаяся неожиданно на столе гречневая каша, нарушившая, на мой взгляд, общий стиль.

— Ошибаетесь, — сказала Наталья Владимировна, — гречневая каша любима не только в России, но и в Бретани. Алексей Алексеевич задумал сегодняшний обед как «общефранцузский» — на столе сегодня и Марсель, и Париж, и, как видите, Бретань.

По французскому обычаю обед заканчивается сыром и фруктами, за которыми следует коньяк или водка (начинается же он с аперитива). У Игнатьевых ритуал этот был несколько нарушен — концовка перенесена в предисловие, а вместо нее Алексей Алексеевич бережно принес из кабинета № 1 толстую папку и прочитал — очень хорошо прочитал — несколько отрывков из последней, не печатавшейся еще части «50 лет в строю».

Время от времени он прерывал чтение по-детски трогательными и наивными восклицаниями: «Здорово, а? Как по-вашему?» или «Ведь не плохо, честное слово, не плохо!», запивал разбавленным вином и продолжал чтение дальше.

Нет, он не злоупотребил вниманием плотно поевшего и несколько выпившего гостя, но, захлопнув папку, сказал:

— Но это еще не всё, мой юный друг. Финальный аккорд за Наташей. — И, наклонившись ко мне, заговорщицки шепнул: — Мадам Игнатьева тоже, того самого, немного грешит…

«Грех» ее, к счастью, оказался не чеховским «Мороз крепчал…» из «Ионыча», а милыми воспоминаниями о своей кафешантанной жизни, сопровождавшимися фотографиями в стиле плакатов Тулуз-Лотрека.

Чтоб не отстать от хозяев, я (правда, спровоцированный на это) вынужден был рассказать о первом своем, напечатанном в журнале, произведении. Нет, не об «Окопах Сталинграда», а о статье, посвященной… филателии, напечатанной в журнале «Советский коллекционер» за 1932 г.

Потом мы сидели, курили, и Алексей Алексеевич рассказывал о своем отце, деде и прадеде, о невеселых событиях русско-японской войны, дипломатической своей карьере и тонкостях дипломатического этикета, о министрах и генералах, с которыми общался во Франции, среди которых были и будущие президенты (Думер) и главы правительств (Петен). Много грустного рассказывал он и о трагической судьбе русского экспедиционного корпуса во Франции.

Расстались мы поздно вечером. Прощаясь, он сказал, что обязательно приедет в милый его сердцу Киев.

— Надо все же посещать места, где проходили лучшие твои годы. Лавра, София, «родной кадетский корпус»… Кстати, интересно, что сейчас находится в доме моего родителя на Банковской?

Если не ошибаюсь, в 1946 году в особняке Игнатьевых была приемная Верховного Совета УССР, сейчас же там Союз писателей. В самой большой комнате с умопомрачительным лепным потолком, догадываюсь, принимал в свое время

посетителей генерал-губернатор Киевской, Подольской и Волынской губерний, но в какой играл в солдатики одиннадцатилетний Лёшенька, может, в нынешней приемной или бухгалтерии, — так и не знаю.

Несколько месяцев спустя я повторил свой визит, приведя в гости к Игнатьевым Александра Твардовского, с которым Алексей Алексеевич давно мечтал познакомиться. Но об этом обеде или ужине, не помню уже, рассказывать вряд ли стоит — он был точным повторением первого моего посещения — от карты, седла и ордена Почетного легиона до «финального аккорда» — милейшей Наталии Владимировны.

Платонов

Совсем недавно, случайно, листая «Литературную энциклопедию», я впервые в жизни увидел портрет О'Генри. И был поражен полным несоответствием фотографии с мысленно созданным мною образом. Я представлял себе автора любимых мною с детства рассказов полным, круглолицым, с насмешливыми глазами и почему-то если не лысым, то лысеющим. Из энциклопедии же на меня смотрел франтоватый серьезный господин с лихо закрученными усами и густыми волосами, расчесанными на средний пробор. До того, как стать писателем, О'Генри был банковским кассиром — вот на банковского кассира в своем стоячем крахмальном воротничке он и был похож. И меньше всего на автора собственных рассказов.

Таким же, не похожим на свое собственное творчество, был и Андрей Платонов. Говорю я об этом уже сейчас, много лет спустя, к моменту же нашего знакомства (было это в конце сорок седьмого или начале сорок восьмого) я о нем только слыхал и ничего, признаюсь, до визита к нему не читал. Помнил, что что-то у него года полтора тому назад было напечатано в «Новом мире» и что В. Ермилов обвинил его в «клевете» на советскую действительность. О том же, что в свое время Платонов занимал видное место в советской литературе, я узнал от его друзей, которые и познакомили меня с ним. От них же узнал я и о том, что после появления в свет в 1931 году повести «Впрок», подвергшейся сокрушительной критике, его практически перестали печатать, и только в 1937 году вышла в свет небольшая книжечка «Река Потудань».

Когда я шел к нему, я шел не столько к автору «Фро» и «Бессмертия», единственных двух рассказов, которые успел прочитать, сколько к знаменитому и забытому писателю. До войны я вообще с писателями не встречался. Видел один раз

Чуковского и был на трех литературных вечерах — Зощенко, Вересаева и Маяковского. Первый поразил меня своими печальными глазами и тихим, тоже каким-то грустным, совсем не «зощенковским» голосом, второй абсолютно совпадал с моим представлением тех лет о «настоящем» писателе — пожилой, интеллигентный, в пенсне, с бородкой, Маяковский же оказался совсем таким, как и его стихи, во всяком случае с эстрады. Война столкнула меня только с одним писателем, и при очень странных обстоятельствах, — об этом я написал рассказ «Новичок». Сейчас, в 1947 году, я уже сам стал членом Союза писателей, но что такое писатель, «настоящий», так сказать, еще не совсем представлял. Но интересовался. Даже очень. Особенно «взаимоотношениями» между писателем и его творчеством. Совпадают они или нет — человек и его книги?

Имеет ли это какое-нибудь значение? Внешность, характер, книги? Не знаю, как для кого, — для меня имеет. И это вовсе не значит, что «совпадение» или «несовпадение» автора с его творчеством хорошо или плохо. Зощенко, каким я его видел, не «совпадал», а Франсуа Вийон, которого ни я и никто вообще не видел, кроме его друзей и врагов, — тысячу раз да!

Андрей Платонович у меня «не совпадал». Ни тогда, когда я к нему пришел в первый раз, ни в следующий, ни потом, когда навещал его в больнице.

Должен признаться, идя к нему, я испытывал известную растерянность. Мне очень хотелось познакомиться с ним, и в то же время два специально прочитанных мною рассказа, напечатанные в «Литкритике» (другое в руки не попалось), — ни «Фро», ни «Бессмертие» мне скорее не понравились. Я не мог даже точно определить, что именно, но что-то в них казалось мне искусственным. И я не знал, как себя держать. Неловко как-то, знакомясь с писателем, ни словом не обмолвиться о написанном им. Говорить о деталях (а они дошли) и не говорить о главном? Нелепо. Вообще не говорить? Нельзя. Хоть несколько слов. И я решил для себя, что нажму, так сказать, на железнодорожную сторону рассказов, — я с детства обожал и одухотворял паровозы — все эти «щуки», «овечки», пассажирские острогрудые «с», — бегал встречать своих любимцев на станцию Ворзель, где мы жили летом, узнавал их по гудкам, — одним словом, решил пойти «по линии» паровозов и машинистов, которых в детстве тоже боготворил…

Но опасения мои оказались напрасными. Именно «несовпадение» Платонова-писателя с Платоновым-человеком и спасло меня.

Постараюсь пояснить. Дело в том, что писатель и человек

соединились в Платонове воедино — его герои, взрослые и дети, мужчины и женщины, начальники станций и красноармейцы, в основном думают и поступают, как думает и поступал бы сам автор. Но в этом-то, вероятно, и есть таинство искусства: «ТО», что избрало себе форму рассказа или повести, должно оставаться именно рассказом и повестью. «ОНО» не для размена, не для разговора, не для спора, не для «я хотел этим рассказом показать…». Вы, читатели, можете и, вероятно, должны даже (для этого и пишется) и обсуждать, и спорить, а моё, писателя, дело сделано — я скромно отхожу в сторону и со стороны смотрю на вас. И слушаю. И иногда пропускаю мимо ушей.

Таким и оказался Платонов. В этом и заключалось его «несовпадение». В нем в жизни не было писателя, то есть человека с большей или меньшей степенью таланта, чему-то поучающего — словами ли, образами, поступками ли героев, — но все же поучающего, толкающего тебя в нужную ему, писателю, сторону. В жизни он был просто человеком — умным, серьезным, немного ироничным, — человеком, ничем не отличающимся от умного, серьезного и т. д. инженера, врача или капитана дальнего плавания, с которыми просто приятно и интересно общаться, приятно быть вместе.

Именно такой человек и открыл нам дверь, когда мы с приятелем к нему пришли. Если О'Генри похож скорее на банковского кассира, которым когда-то был, то Андрей Платонович — на мелиоратора, которым тоже когда-то был. Внешность не очень запоминающаяся — широкий нос, умные, иногда улыбающиеся, иногда грустные глаза, высокий лоб, короткие, немного редеющие волосы.

Увидев нас, приветливо развел руками:

— Заходите, заходите, — и тут же с места в карьер: — А может, лучше прогуляемся? И закончим прогулку у тебя, — обратился он к моему приятелю, своему старому другу. — Надеюсь, из дома нас не прогонят?

И мы пошли гулять.

Я запомнил эту прогулку (первую и последнюю с Андреем Платоновичем) в основном по настроению, по тональности ее и по самому маршруту. О литературе, мне помнится, говорили меньше всего.

Жил Андрей Платонович на Тверском бульваре, в двух комнатах небольшой пристройки дома Герцена. Памятника (или как теперь принято говорить о некоторых из них, поменьше, скульптурного портрета) самого Герцена тогда ещё не было, и деревья садовники ещё не обкорнали, как теперь. Было уютно, «старомосковско», и Пушкин стоял еще на своем месте. И начали

мы свою прогулку с того, что подошли к нему и посидели на скамейке среди детишек, нянек и стариков с газетами.

Мне трудно сейчас сказать, мог ли в то время Платонов знать «Моего Пушкина» Марины Цветаевой, но я, прочитав сейчас великолепную эту прозу, смутно вспоминаю, что тогда, сидя на скамеечке, Андрей Платонович высказывал приблизительно те же мысли, что и она. Может быть, он даже и цитировал ее, но к стыду своему должен признаться, что имя Цветаевой мне тогда ничего не говорило. Кто читал «Моего Пушкина», несомненно запомнил страницы, посвященные «Памятник — Пушкину». Это чудесные страницы детских воспоминаний, первого детского восприятия мира у подножья черного гиганта. «Чудная мысль, — пишет Цветаева, — гиганта поставить среди детей. Черного гиганта — среди белых детей. Чудная мысль белых детей на черное родство — обречь. Под памятником Пушкина росшие не будут предпочитать белой расы, а я — так явно предпочитаю — черную. Памятник Пушкина, опережая события, — памятник против расизма, за равенство всех рас, за первенство каждой — лишь бы давала гения…»

Привожу эту цитату, потому что, помнится, Андрей Платонович, глядя на копошащихся в песке и раскачивающихся на цепях ребятишек, — а он любил детей, — сказал нечто подобное: «Под памятником Пушкина росшие не будут предпочитать белой расы».

Теперь Тверской бульвар осиротел. У той же Цветаевой: «… Уходили мы или приходили, а он — всегда стоит. Под снегом, под летящими листьями, в заре, в синеве, в мутном молоке зимы — всегда стоит… Наших богов хоть редко, но переставляли. Наших богов под Рождество и под Пасху тряпкой обмахивали. Этого же мыли дожди и сушили ветра. Этот — всегда стоял». Увы, этого тоже переставили. Зачем — неизвестно.

«Из соседей это мой самый любимый писатель, — сострил, помню, тогда Платонов, — а из писателей — самый любимый сосед».

Сосед ушел, его увели уже после смерти Платонова. Он зазвучал по-другому на новом месте, на фоне кинотеатра «Россия» и редакции «Известий».

Мы поднялись. Дошли до Никитских ворот, направились к Арбату. Но не кратчайшим путем, а зигзагами, по переулочкам и закоулочкам, иногда заглядывая в «деревяшки». Теперь они прозрачные, стеклянные и называются «стекляшками», тогда они были глухими, тесными, деревянными и назывались, так во всяком случае называл их Андрей Платонович, «деревяшками». Он любил заходить в «деревяшки». Любил, потому что ему

нравилось толочься среди случайной публики, смотреть, слушать, а иногда и вступать в разговор с соседом по стойке, каким-нибудь ремонтным рабочим, прибежавшим на перерыв, или заляпанным краской маляром, дожевывавшим свою колбасу. Сам Андрей Платонович пил немного — он был уже болен…

Так, по арбатским переулкам, через Собачью площадку, которой, увы, уже и след простыл, мы не торопясь добрались до Арбата. Говорили о том о сем, о международных делах, причем больше всего наш общий друг, — Платонов больше ронял, правда, всегда к месту и точно, реплики, — заходили в «деревяшки»… О паровозах, между прочим, тоже поговорили — уже без всякой задней мысли, без задания, просто я не мог лишить себя такого удовольствия.

Остаток дня мы провели в тесной, уютной, заставленной книгами комнате, сидя за сложной комбинацией письменного стола, маленького, на легких ножках, квадратного и совсем уж низенького, детского — все ступенькой (изобретение хозяйки, которой мог бы позавидовать сам Корбюзье), о чем говорили, уже не помню, вероятно, всё о том же о сем же, но помню, что было хорошо.

Больше ходячим Андрея Платоновича я уже не видел. В следующий мой к нему визит он уже лежал. На тахте или диване, между двух окон, выходивших на Тверской бульвар. Болезнь свалила его.

И каждый раз, когда я с кем-нибудь приходил к нему, а приходил я всегда почему-то не один, о чем весьма сожалею, он мило, чуть смущенно улыбаясь, говорил:

— Вы знаете что? У меня к вам большая просьба. Тут недалеко на Тверской гастроном. Так вот… Мне-то самому нельзя, но так приятно будет посмотреть на вас. Деньги у вас есть?

Собственно говоря, эта фраза произнесена была один только раз, в первый, когда денег у нас действительно было что-то не густо, зато в последующие разы специально бегать в гастроном уже не надо было — всё было предусмотрено.

Увы, в следующий мой приезд в Москву диван был уже пуст — Андрея Платоновича уложили в больницу. Туда, в «Высокие горы», недалеко от Таганки, я заходил два или три раза, и мы даже прогуливались по небольшому, но довольно уютному парку и радовались, что Андрей Платонович хотя и бледный и худой, но опять на ногах. Но больше в тот мой приезд мне пришлось бегать по всяким министерствам и главкам. Нужен был стрептомицин — единственное средство от горловой чахотки, а был в те годы он на вес золота и без специального разрешения, а может быть, и

разрешений не выдавался.

Беготня в конце концов увенчалась успехом, но было уже поздно — стрептомицин не помог.

Последнее воспоминание об Андрее Платоновиче — он на скамейке, в больничном халате, шлепанцах, грустный, но очень спокойный, хотя всё знал, всё понимал.

На память от него у меня осталась маленькая, серенькая, очень потрепанная книжечка («увы, другой сейчас нет…») с серебряной надписью «Река Потудань», издание «Советского писателя», год издания… 1987.

— Будем надеяться, — улыбнулся, вручая мне книгу, Андрей Платонович, — что эта опечатка в некотором роде пророческая. Авось в восемьдесят седьмом году меня будут еще помнить.

Сказано было с улыбкой, но и с горечью. Писателю горько, когда его не печатают, а значит, и не читают, даже если он и здоров.

Сейчас Андрея Платоновича и печатают, и читают, и даже фильмы по его рассказам ставят. Он опять знаменит. Не заросла к нему народная тропа…

Я с гордостью говорю: «А я его знал. Лично знал. Даже книжку с надписью имею…» Книжка книжкой, — раритет, конечно, — но все-таки надо было хоть один раз прийти к нему одному, без спутников, тогда, возможно, и рассказать мне было бы больше о человеке, который «в жизни» не был писателем, но в писательском своем труде всегда оставался человеком.

Яся Свет

Началось всё с того, что кто-то постучался во входную дверь — звонков тогда и в помине не было. Стук был какой-то чужой, нерешительный. Принято было дергать дверной разболтавшейся ручкой или стучать кулаком, а тут робкий стук пальчиком. Я пошел открывать. В дверях незнакомый господин. Именно господин, из того разряда, который на языке тех лет назывался «дорежимный». Воротничок, галстук — тогда это было не в моде, ходили, в основном, во френчах и толстовках, — бородка, пенсне. Такими мы представляли себе приват-доцентов или присяжных поверенных.

— Судя по дощечке на дверях, я попал именно туда, куда надо. Вы не сын женщины-врача, фамилия которой здесь указана? — он провел пальцем по дощечке, где были написаны мамины часы приема, которого никогда не было.

Витиеватость фразы мне не понравилась.

— Да, сын, — сказал я.

— Тогда вы-то мне и нужны. Направил меня сюда Герасим, здешний швейцар.

— Слушаю вас, — как можно вежливее сказал я.

И тут, не входя даже, он сообщил, что недавно с семьей приехал в Киев, поселился в нашем доме, и так как у него есть сын приблизительно моего возраста, он поинтересовался у Герасима, у кого здесь, в доме, есть интеллигентные дети. Герасим и направил его к нам, в семнадцатую квартиру. Эта фраза мне тоже не понравилась — «интеллигент» было тогда словом ругательным.

— Так вот, можно ли моему сыну Ясе к вам придти?

Я сказал, что можно, и он в тот же день пришел.

Друг другу мы не понравились. Мне он показался излишне вежливым, воспитанным, с притворной, неестественной улыбкой. Для него же, как выяснилось потом, я оказался слишком развязен и болтлив.

Мы минут десять постояли на балконе, рассуждая о красотах Киева и его достопримечательностях. Было нам лет по пятнадцать, ходили мы в коротких штанишках и сандалиях, и бронзовый цвет моих колен определил следующую тему — Крым, откуда я только что приехал. Выяснилось, что в Крыму Яся никогда не был, а я каждое лето отдыхал в Алуште, что плавать он не умеет, — у них в Енакиеве, на Донбассе, откуда он приехал, речки нет, — стало ясно, что говорить больше не о чем. Так и не перейдя на «ты», мы расстались.

Что может быть бессмысленнее искусственных знакомств, — подумал я и вскоре об этой встрече просто забыл.

Через месяц-другой, когда все мальчики моего возраста готовились к вступительным экзаменам в профшколу — была тогда такая промежуточная трехлетняя институция между семилеткой и вузом, — ко мне забежал вдруг Яся — нет ли у меня угольника?

Пока я искал угольник, завязался разговор — сначала о профшколах (он поступал в торгово-промышленную, а я в железнодорожную, строительную), — выяснилось, что ни то, ни другое нас не интересует, а любили мы…

Как ни грустно в этом признаться, но оба мы относились не к разряду драчливых забияк, а любили Жюль Верна и Луи Буссенара, книги о приключениях и путешествиях, я к тому же собирал марки и кормил дафнией двух рыбок, живших в банке от варенья, а он увлекался географией и склонен был к литературным упражнениям.

Географией когда-то и я увлекался и, когда учился в старшем подготовительном классе гимназии Хорошиловой, добился

разрешения ходить в первый класс на уроки географии. Добытая мною тогда «Новая карта Европы» с расчлененной Австро-Венгрией и впервые появившимися Польшей и Чехословакией, сразу же привлекла внимание Яси, и, думаю, именно она послужила первым толчком к нашей последующей дружбе.

Думаю, эта дружба была самым светлым пятнышком моей жизни. В ней не было никакой корысти, просто мы не могли друг без друга, каждый из нас был составной частью другого.

Возраст… Абсолютная безмятежность. Как и на что живем — чёрт с ним! Родители где-то работают, что-то зарабатывают. С голоду не умираем. На дворе — нэп, всё дорого, но всё есть. Видимость какого-то благополучия. По сравнению с предыдущими годами — шик, блеск! На углу Крещатика и Фундуклеевской есть даже казино, — чем не Монте-Карло! — а в кино заграничные фильмы — смотрим, как на Западе разлагаются, немного завидуем, но гордимся, что у нас этого нет — мы строим новую жизнь. В истинность социализма верим, хотя не очень понимаем, что это такое, но все трудности преодолеть готовы. Мы искренние, чистые, честные, к тому же нам шестнадцать-семнадцать лет — лучший из всех возрастов.

И решили мы с Ясей издавать собственную газету. Причем не обыкновенную, а газету будущего. Называлась она «Радио», и события, описанные в ней, происходили в… 1979 году! Почему именно этот год — не помню, но разнообразие их и неожиданность были потрясающие.

Был ли это первый самиздат? Нет. Еще в школе мы с друзьями — было это в 1923 году, а нам по двенадцать лет — издавали — нет, не газету, а журнал. Назывался он почему-то «Зуав» — потом, очевидно, из патриотических побуждений переименован в «Маяк», и вышло, если не ошибаюсь, пять номеров. Один из них, спаренный (№№ 2 и 3), хранится у меня в Париже, другие — у моего живущего сейчас в Ленинграде сверстника по имени Шура.

Журнал во всех отношениях был аполитичный. В основном приключенческий. А ля «Всемирный следопыт». Состоял из начал так никогда и не законченных романов с захватывающими названиями: «В стране браминов», «Остров в огне», «Тайна бандитов», «Приключения трех моряков», «Дуэль», «Приключения Фрикэ Легира», ну и всякие — «По белу свету», «Война и техника», «Забавный уголок»…

На обложке моего спаренного номера изображен французский бородатый зуав, в феске и красных шароварах, над ним — два пересекающихся знамени — красное и трехцветное французское (общество «Дружбы», что ли?), шпага и винтовка.

Под заголовком написано: «Еженедельный журнал, 5 апреля 1923 года».

Лучшее в журнале — это, конечно, концовки, за которыми было ожидание — «Продолжение следует…». Вот некоторые из них:

«…Он выхватил кинжал и занёс его над Налиндрой со словами: „Теперь ты от меня не отделаешься!“» («В стране браминов»).

«…В один миг Фрикэ схватил и втащил в комнату индейца». («Приключения Фрикэ Легира»).

«…Один из полицейских подошел и сказал матадору: „Именем короля вы арестованы. Следуйте за мной!“» («Остров в огне»).

«…Мины все вышли, — воскликнул один из матросов весь бледный. А неприятель был на расстоянии 40 саженей». («Медуза»).

Вот такой был наш «Зуав». Редколлегия состояла из пяти человек — Вики, Вали, Бори и двух Шур. Они же и авторы, они же и читатели. Причины прекращения издания не помню — очевидно, наступившее лето…

В противоположность аполитичному «Зуаву» наша с Ясей газета «Радио» была весьма политична. Был в ней и литературный раздел — что-то загадочное под названием «Авто 257—454», но остальные события — всемирного значения.

В основном шла война — между Советским Союзом и англо-американской коалицией, именовавшейся «англо-амами». Бои шли почему-то в Аляске, а линия фронта проходила где-то возле Ситхи. Побед особенных не было, поражений тоже, война, в основном, позиционная. Сопровождавшие военные сводки фотографии вырезывались из французского журнала «Иллюстрасьон» за 1916 год, периода Вердена.

Другим не менее важным событием был полет на Марс. Как, что и на чём — не помню, но выяснилось, что на красной планете жизни нет, но каналы всё же были обнаружены.

Третьим событием были раскопки в Киеве, на Макарьевском спуске, где обнаружена была стоянка первобытного человека.

Сам Киев рисовался нам чем-то вроде Нью-Йорка, но пределом нью-йоркости было сто трамвайных линий — дальше наша фантазия не шла.

Газета состояла из четырех страниц размера «Правды». Выходила в одном экземпляре. Бумага, довольно толстая, покупалась в писчебумажном магазине Симоненко-Парфененко (бывш. Теуфель), и текст писался карандашом, печатными буквами, под линейку. Заголовок делался мной, готическим

шрифтом вроде английского «Таймса».

Номеров вышло штук пять или шесть. Затем опять же помешало, видимо, наступившее лето. В каждом номере была передовая. Одна из них называлась «Политический вопрос в Персии», но что именно тогда в стране происходило — не помню. Шел «1979 год», но о Хомейни что-то не упоминалось.

Последний номер был самым сенсационным. Посвящен он был не более и не менее как убийству Председателя Совета Народных комиссаров — Николая Вильямовича Синежукова! Вот так-то… Короли и президенты выразили свое соболезнование, а на первой странице в траурной рамке был портрет дорогого Вильямыча. Мы долго искали подходящую фотографию убитого вождя и почему-то вырезали и наклеили физиономию английского лорда Грэя из журнала «Грэфик». Скажем прямо — породистые черты английского аристократа не очень-то вязались с привычными чертами кремлевских деятелей. Как и почему пришла нам в голову такая фантазия — до сих пор ума не приложу.

Как, где и при каких обстоятельствах произошло само убийство — не помню. Имя убийцы тоже забыл, но так или иначе он пойман не был, и след его простыл.

Вот таким был последний увидевший свет номер нашей газеты будущего. Как пережил он все последующие «тридцать седьмые годы» — объяснить можно только везением. Обысков у нас в те годы почему-то не было, а такой вид самиздата вряд ли был бы одобрен.

Подшивка мирно дожила до прихода немцев и погибла в огне сожженного немцами дома № 24 по Кузнечной улице, где мы тогда жили… Думаю, что это был лучший из всех выходов, хотя мама и переживала гибель столь ценного раритета…

Дальше наши пути с Яськой Светом надолго разошлись. Он переехал в Москву, женился, переженился, увлекался геологией, географией, стал писать, и думаю, что по истории Христофора Колумба и открытия Америки — нет ему равного.

Пересеклись наши с Яськой пути уже после войны. И произошло это в связи с моими «Окопами Сталинграда».

Живя в Киеве, я послал ему один экземпляр в Москву. Для проталкивания. Он рукопись переплел в шикарный том, а в судьбе её приняла горячее участие его соседка по Сивцеву Вражку, некая, имеющая к литературе отношение, дама Мирра Соловейчик. Вот она-то и развила активную деятельность, ходила по редакциям и в конце концов столкнулась с критиком Владимиром Борисовичем Александровым, которого и можно назвать крестным отцом романа «Сталинград», превратившегося

позднее в повесть «В окопах Сталинграда».

Но это уже другая история, в которой главную роль играли А. Т. Твардовский и редактор «Знамени» — Всеволод Вишневский.

С Яськой же мы потом встречались то в Москве, то в домах творчества. Последний раз отдыхали вместе с ним в Ялте. Сохранилась у меня фотография, где мы где-то в середине 60-х годов сняты на террасе, почему-то вместе с Самуилом Маршаком.

А последний раз виделись где-то уже перед самым моим отъездом. Чего-то там выпили, по-моему, сухого вина, вспоминали прошлое, повеселились, погрустили и о будущем не говорили.

Недавно я узнал о его смерти. Смерти, может быть, самого близкого моего друга. Потому что дружба пятнадцати-семнадцатилетних — самая прочная из всех, как бы часто она потом ни прерывалась. Прерывалась, но не проходила. А это тоже важно.

Об издании

Составитель *М. Н. Пархомов*
Редактор *Е. И. Никанорова*
Художественное оформление *В. В. Кузьменко*
Художественный редактор *О. І. Яцун*
Технический редактор *В. В. Чала*
Корректор *Н. М. Овчарук*

Подписано к печати 02.12.91
335 стр.
ISBN 5-333-00666-0

Літературно-художнє видання

ПРО ВІКТОРА НЕКРАСОВА

Спогади

Упорядник ПАРХОМОВ МИХАЙЛО НОЙОВИЧ

Російською мовою

Художнє оформлення В. В. КУЗЬМЕНКО
Художній редактор О. І. ЯЦУН
Технічний редактор В. В. ЧАЛА
Коректор Н. М. ОВЧАРУК

Здано на виробництво 08.08.91. Підписано до друку 02.12.91. Формат 84×108¹/₃₂. Папір друкарський № 2. Гарнітура звичайна нова. Друк високий з ФПФ. 17,64 умовн.-друк. арк., 18,01 умовн.фарбовідб., 18,69 обл.-вид. арк. Зам. 1-313.

Видавництво «Український письменник», 252054, Київ-54, вул. Чкалова, 52. Книжкова ф-ка ім. М. В. Фрунзе, 310057, Харків-57, вул. Донець-Захаржевського, 6/8.

О-11 Про Віктора Некрасова: Спогади / Упоряд. М. Н. Пархомов.— К.: Укр. письменник, 1992.— 335 с.

ISBN 5-333-00666-0

Читачі старшого покоління пам'ятають повість Віктора Некрасова (1911—1987) «В окопах Сталінграда». Вона вийшла одразу після Великої Вітчизняної війни й була відзначена Державною премією СРСР, висунувши недавнього фронтовика в ряди найвідоміших радянських письменників. Після того ним були написані повісті «У рідному місті» (1954), «Кіра Георгіївна», нариси про Італію і Францію — «Перше знайомство» (1958), збірник оповідань «Вася Конаков» (1961) тощо.

1974 р. В. Некрасов змушений був покинути Батьківщину. Помер у Парижі.

У книжці представлені спогади про письменника його друзів і колег, а також портретні замальовки, які належать перу самого В. Некрасова.

Розрахована на широке коло читачів.

О $\frac{4603020101-079}{223-92}$ 11.91

ББК 83.3Р7

notes

Примечания

1

Некрасов выполнил обещание — побывал у Валеги на Алтае. *(Прим. автора)*.

2

В настоящее время эта улица носит первоначальное название — Ярославов Вал. *(Ред.)*.